ЛЖЕДМИТРИЙ I

Вячеслав Козляков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Этот человек имел несколько имен. В разное время его знали то как Юшку Отрепьева, то как чернеца Григория, то как царевича, а затем царя и великого князя Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана Грозного, то как «Расстригу» и «Самозванца», лишенного даже имени и изверженного из мира. Летописи как минимум трижды сообщают о его смерти, и всякий раз смерть эта влекла за собой беды и потрясения для Московского государства. Не имевший шансов даже приблизиться к вершинам власти, он занял в конце концов престол московских государей и был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех священных обрядов. То, что произошло с ним, не имеет прецедентов в русской истории. Одни видели в нем исчадие ада, другие — реформатора, едва не предвосхитившего будущие петровские преобразования. Так кем же был этот человек и что таило в себе его недолгое пребывание на троне? Об этом рассказывает в своей новой книге постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей» известный историк Вячеслав Николаевич Козляков.

- Вячеслав Козляков
  - Пролог. ЛЖЕДМИТРИЙ
    - Имя
    - Угличское дело
    - Историки о Самозванце
  - Часть первая
    - Глава первая
      -
      - Чернец Гришка
      - Знакомство на Варварском крестце
      - «Побег» в Литву
    - Глава вторая
      - Краковские смотрины
      - Возвращение в Самбор
      - Начало Московской войны
    - Глава третья
      - Ответ царя Бориса Годунова
      - Наречение царевича Федора
      - Путивльский затворник
      - Встреча сына Грозного
  - Часть вторая
    - Глава первая

- Венчание на царство
- Императорские планы
- «И всех лутче тот образец, что жаловать…»
- «…Хто с цесарем на турского в соединенье?»

- Глава вторая
  - Посольство в Речь Посполитую
  - В ожидании Марины Мнишек
  - Кровавая свадьба

- Эпилог. ПРЕВРАЩЕНИЕ В «РОСТРИГУ»
- ПРИМЕЧАНИЯ
  - Пролог. Лжедмитрий
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Эпилог. Превращение в «Ростригу»
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЛЖЕДМИТРИЯ I — «ЦАРЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА»
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Вячеслав Козляков
ЛЖЕДМИТРИЙ I

Пролог. ЛЖЕДМИТРИЙ

Имя

…Гулкое каре стен королевского дворца Сигизмунда III на Вавельском холме в Кракове разносило эхо шагов двух спутников, двигавшихся по дворцовой площади в направлении неприметной двери. Молодой человек в гусарском костюме шел рядом с сенатором Речи Посполитой Юрием Мнишком. Только немногие посвященные понимали: происходит что-то необыкновенное. В один из мартовских дней 1604 года тайным ходом в королевские покои проведут слугу и беглого чернеца, чтобы оттуда вышел московский «царевич». Несколько десятков шагов Лжедмитрия по площади перед дворцом короля Сигизмунда III изменили историю и Польши, и России. Первый триумф безвестного самозванца, тайно поддержанного королем и папским нунцием Клавдием Рангони, оказался прелюдией Смутного времени в Московском государстве…

Как можно было поверить в нелепый слух о спасении царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, после того, как весть о несчастье в царствовавшем доме Рюриковичей разошлась по всему Московскому государству? Возможно ли, чтобы царевич Дмитрий не погиб в Угличе в 1591 году, а все-таки остался жив? Спустя 13 лет невероятная история эта увлекла не одни русские умы. Она отозвалась не только в соседней «Литве», но и дальше — в Англии, Италии и Испании. Сколько бы мы ни стремились найти ответ на вопрос: был ли самозванцем «царь Дмитрий Иванович» или нет, сомнения останутся в любом случае. Исторический суд не приходит к окончательным заключениям. И хотя некоторые детали прямо или косвенно разоблачают самозванца, слишком много людей поверили и продолжают верить в злодейство Бориса Годунова, а также в предусмотрительность матери царевича Дмитрия и его родственников Нагих, спрятавших мальчика от гнева властителя в отдаленных землях под присмотром надежного человека. Именно так рассказывал «воскресший» Дмитрий. А дальше — и в этом весь секрет вовлечения в стихию лжи — начинает работать воображение тех, кто поверил в эту историю.

Пытаясь разобраться в событиях, связанных с самозваным царевичем Дмитрием, невозможно отрешиться от позднейших наслоений культурной памяти и художественных образов. Поразительно, но никакому другому сюжету русской истории не уделили столько внимания гении мировой литературы. Ссылки на современные обстоятельства в Московии можно найти даже у Шекспира, возможно, знакомого с сочинениями Джильса

Флетчера, который первым из иностранцев увидел опасность гражданской войны в России из-за возможной гибели царевича Дмитрия. Историей царевича Дмитрия интересовались Сервантес и Лопе де Вега. В XIX веке о самозваном царе на русском престоле напишут Фридрих Шиллер и Проспер Мериме[1]. А у нас? Достаточно сказать, что вся русская историческая драма вышла прежде из «Димитрия Самозванца» (1771) Александра Сумарокова, а затем из пушкинского «Бориса Годунова» (1825–1830). Самозванец — одно из главных действующих лиц этих произведений, хотя, конечно, проникновение в эпоху и прорисовка убедительных художественных образов удались только А. С. Пушкину. Благодаря великолепной музыке М. П. Мусоргского опера «Борис Годунов» (1874), имевшая основу в пушкинской драме и исторических трудах Н. М. Карамзина, сделала царя Бориса, Самозванца и Марину Мнишек любимыми героями оперной сцены.

Недаром проницательный канцлер Речи Посполитой Ян Замойский еще в 1605 году заметил сходство истории объявившегося в Литве мнимого сына Грозного с сюжетами античной литературы: «Он говорит, что вместо него задушили кого-то другого, помилуй Бог! Это комедия Плавта или Теренция, что ли?!»[2] Томас Смит — английский посланник к царю Борису Годунову, начав описывать историю «внезапного появления как бы воскресшего царевича», тоже не удержался от ремарки: «И в самом деле, все это стоило бы быть представленным на сцене»[3]. Видели ли этот вымышленный подтекст другие современники, столкнувшиеся с самозванством?

Успех самозванцев кроется в доверчивости людей, в их способности поддаваться обольщению, терять разум и верить тому, кто не достоин никакой веры. В истории Лжедмитрия все очень *правдоподобно,* но не *правдиво.* «Великий» замысел слишком хрупок, для его реализации недостаточно усилий одного, даже самого гениального, мистификатора. Такому перевоплотившемуся актеру обязательно нужна публика, делающая его героем. Однако потом происходит неизбежное — низвержение кумира. Актерские маски срываются.

В истории Лжедмитрия было много актерства, рассчитанных действий и монологов. И все же «царевич» оказался выше всех подозрений и достиг трона.

Появление его из небытия смущало (и продолжает смущать) многие умы. Люди все время искали за спиной самозванца чью-то еще более сильную волю и приписывали замысел другому, дьявольски прозорливому воображению. Иными словами, если есть актер, сыгравший пьесу, то должен быть и режиссер,

поставивший ее на исторической сцене. Вопрос о том, кто придумал и «наслал» на Московское царство это бедствие — вымышленного царя, так и остается неразрешенным. В Москве ли среди бояр, в Речи ли Посполитой среди ее сенаторов — везде одинаково (пусть и с разными основаниями) ненавидели сильного правителя Бориса Годунова. Ко всему добавляется постоянно присутствовавший интерес папского Рима, мечтавшего о католической экспансии на Восток… И вот уже в самой мысли о «воскрешении» царевича Дмитрия отчетливо проявляются очертания «измены» или «иноземного» влияния.

Подобные поиски «врагов» всегда приводят в тупик. Перед нами одиночка, но очень умный и изощренный, подчинивший все свои таланты реализации одного замысла — утвердиться на русском престоле. Смертному человеку, не связанному с московским царствующим домом узами родства, не приходилось мечтать об этом. Но оказалось, что родство можно было придумать, поверить в него самому и убедить в этом других. И это еще полдела, ведь назваться в ту эпоху чужим именем было несложно, подобные происшествия случались в разных концах Европы. Показательно, что, когда папе Клименту VIII стало известно о московском «господарчике», он сразу вспомнил о португальском авантюристе лже-Себастиане, принявшем на себя имя португальского короля, пропавшего без вести в африканском походе в 1580 году. Первый лжеСебастиан (а их оказалось несколько) тоже был странствующим монахом, и такая аналогия должна была в первую очередь обратить на себя внимание папы Климента VIII. Португальская самозваная идея ограничилась пределами одного города Пенамакора, да еще харчевнями и постоялыми дворами, где самозванцу вместе с его небольшим «двором» давали бесплатный приют. В столице Португалии того, кто принял имя короля Себастиана I, ждали суд и позор вопреки слабым оправданиям, ибо он не виноват в том, что люди принимают его за короля.

В истории спасенного русского «царевича» тоже были те, кто прекрасно понимал его самозванство, но подыграл Лжедмитрию в своих интересах. В исторической перспективе их ответственность за происшедшее даже больше, чем тех, кто наивно поверил в чудесное спасение сына Грозного от козней Бориса Годунова. С них больше спрос за то, что они все видели и молчали, дожидаясь своего часа. Однако, увлеченный самим собой, Лжедмитрий тоже не заметил, что его стали использовать другие люди, при первой же возможности свергнувшие самозваного царя с трона. Вихрь лжи закрутил всех…

Угличское дело

Хронологически история Лжедмитрия начинается в субботний день 15 мая 1591 года, в «шестом часу дни, в исходе», когда на дворе бывшего дворца угличских удельных князей произошла трагедия — смерть отпрыска царствующего дома Рюриковичей. По всполоху угличского колокола в кремль сбежалась большая толпа угличан, заставших ужасную картину. На руках у «мамки» было бездыханное тело царевича Дмитрия, которое чуть позже перенесли и положили в угличском Спасо-Преображенском соборе. Немедленно возникли подозрения, что мальчика убили. Толпа, направляемая обезумевшей от горя царицей Марией Нагой и ее братьями, начала свою расправу, жертвами которой стали дьяк Михаил Битяговский и несколько детей, игравших в тот злополучный день вместе с царевичем Дмитрием в «тычку» (в ножички).

Историков всегда тянуло на это место чужой драмы. Драмы? Или все-таки преступления? Слишком мало известно о тех событиях[4], настолько перекроивших всю историю Московского царства, что даже в атмосфере Углича осталась на века какая-то непонятая тайна, разгадать которую и пытаются до сих пор. Уже в конце XVI века Углич был наказан ссылкой многих горожан в сибирские города. Даже вестовому колоколу по-язычески «усекли» одно ухо и отправили в Тобольск за «болтливость», ибо его удары послужили сигналом к погромам на дворе правительственного дьяка Михаила Битяговского, кормилицы и других угличан, поспешно обвиненных в преступлении[5]. Несчастливая судьба оказалась у Углича.

А ведь еще в конце XV века древнему городу обещалось совсем другое. Угличским удельным княжеством владел Андрей Большой — брат великого князя Ивана III. Однако брат пошел на брата, и «златой» век Углича оказался в прошлом[6]. Осколком тех времен остался дворец удельных князей, о них напоминала особая судьба города и угличских земель, попавших в казну московских государей.

Исследователь русской архитектурной старины Юрий Шамурин писал в начале XX века о впечатлении, которое производили палаты угличского княжьего двора, построенные князем Андреем Васильевичем около 1480 года:

«Квадратный дворец состоял из двух палат, верхней и нижней, и двух темных подвалов под ними. Никакого внутреннего убранства теперь не сохранилось, но жуткое впечатление оставляют низкие своды и серые стены палат. Их

теснота и темнота говорят о жизни, такой же суровой, как своды созданных ею стен, о душе, такой же робкой и угнетенной, как свет, проскальзывающий в узкие окна. Окна-бойницы, готовые каждую минуту к защите, неприступные кованые двери, мощные стены, вечное опасение и вечная готовность к бою, кажется, вытесняли из этих жилищ все нежное, ласковое и тихое. И люди, что населяли их, „страдающие и бурные“, должны были постигать только карающего Бога, молиться только в угрюмых и „покаянных“ храмах»[7].

Потомки Ивана III еще долго сохраняли формальный удельный статус Углича, остававшийся всего лишь реликтом прежнего устройства русских земель. В середине XVI века в стенах угличского дворца, возможно, жил какое-то время князь Юрий — глухонемой брат Ивана Грозного[8]. Там же после смерти царя Ивана Васильевича оказался его последний сын от последней жены, Марии Федоровны Нагой, — царевич Дмитрий.

Высылка настоящего царевича Дмитрия на «удел» в Углич произошла 24 мая 1584 года, перед венчанием на царство Федора Ивановича, видимо, чтобы не создавать дополнительных церемониальных затруднений[9]. Кроме того, родственники последней жены царя Ивана Грозного, Нагие, фактически попали в ссылку и лишались возможных иллюзий относительно будущей роли царевича Дмитрия в делах Московского государства. Такова общепринятая версия. Однако существует памятник позднего летописания, так называемый «Угличский летописец», и он подробно рассказывает о том, как царевич Дмитрий и семья Нагих были с большими почестями отправлены «на удел» только год спустя, 21 мая 1585 года. Царевича и царицу провожал сам царь Федор Иванович «за град кремль с чинами святительскими», а в Угличе их встречал весь город во главе с ростовским архиереем[10].

Царевичу Дмитрию, конечно, отдавали должное как царскому сыну, но больше никто не думал делать из него самодержца. Царь Иван Грозный по-другому воспитывал своих сыновей — царевичей Ивана и Федора. Он следил за их окружением с самого детства (так в царский дворец в Московском Кремле, будучи еще совсем юными, попали Ирина и Борис Годуновы). Возможно, что так было бы и с Дмитрием, соименным несчастному первому сыну царя Ивана Грозного и царицы Анастасии Романовны, погибшему в младенчестве[11]. Но после смерти Ивана Грозного Нагие немедленно были лишены прежних привилегий и разосланы на воеводства в дальние города[12]. Поэтому их отношения с московскими властями и не заладились. Для вчерашних членов особого двора и фаворитов Ивана Грозного

произошедшие перемены казались незаслуженными. Теперь из далекого Углича они должны были следить за возвышением Бориса Годунова. Постепенно царица Мария Нагая и ее братья стали связывать свое «мягкое заточение» именно с новым правителем государства, вместе с которым они некогда пировали за царским «столом». В Угличе они не только не чувствовали себя свободными, но постоянно подозревали, что за ними следят или даже угрожают им чем-то. Трудно сказать, насколько такие подозрения были оправданны. Возможно, они имели под собой основание, так как при московском дворе не пускали дел «на самотек», а хотели знать, что происходит с царевичем Дмитрием, из своих собственных источников. Но между тайным сыском и посылкой убийц все-таки нельзя ставить знак равенства, как это делают те, кто обвиняет в смерти царевича Дмитрия Бориса Годунова.

Многие историки согласны в том, что дьяк Михаил Битяговский был прислан в Углич для надзора над Нагими[13]. Однако изучение карьеры Битяговского показывает, что могло быть и по-другому Первые сведения об его дьяческой службе относятся к Казани, где он служил с конца 1570-х годов. Имя казанского дьяка Михаила Битяговского писалось в разрядах и в перечнях дьяков в боярских списках, что делало его весьма заметным в приказной иерархии. Кстати, некоторые Нагие получили после 1584 года назначения на воеводства в казанские пригороды, а значит, имя казанского дьяка они должны были хорошо знать. В конце 1580-х годов Михаил Битяговский попадает на службу в Москву и участвует в Шведском походе царя Федора Ивановича 1589/90 года. 13 января 1590 года вместе с боярином Федором Ивановичем Мстиславским и казначеем Иваном Васильевичем Траханиотовым он участвовал в проведении верстания и раздаче денежного жалованья во Владимире, первом «городе» в иерархии уездного дворянства[14]. Его отправку в Углич тоже можно связать с распоряжениями из Разрядной избы в момент подготовки к отражению похода крымского царя Казы-Гирея. Дьяк Михаил Битяговский, видимо, был отправлен в Углич для сбора «посохи»[1]; логичным выглядело бы его назначение и из ведомства Казанского дворца в дворцовое же ведомство Угличского дворца. Во всяком случае, он прежде всего имел опыт в сборе разных доходов и в таком качестве и оказался нужен правителю Борису Годунову в 1591 году.

Как выяснилось в ходе следствия по делу о гибели царевича Дмитрия, Нагие не поверили в официальную причину присутствия дьяка Михаила Битяговского в Угличе. Людям

Битяговского Михаил Нагой прямо говорил, что они присланы «не для посохи», а «проведывать вестей, что у них деетца». Иными словами, разрядного дьяка обвиняли в соглядатайстве. Позднее эта версия войдет и в литературные памятники. В частности, автор «Нового летописца» прямо обвинял дьяка Михаила Битяговского в том, что он напросился на иудину службу: обрадованный Борис Годунов якобы велел ему «ведати на Углече все»[15].

Следственная комиссия боярина князя Василия Ивановича Шуйского, приехавшая в Углич для розыска о смерти царевича Дмитрия, установила, что приказ расправиться с дьяком Михаилом Битяговским был отдан Марией Нагой и ее братом Михаилом Нагим. Царица же приказала убить кормилицына сына Осипа Волохова, обвинив его в «душегубстве». В день смерти царевича расправлялись со всеми, кто пытался встать на пути царицыной мести. По приказу царицы Марии были убиты кормилицыны люди. Один из них, «Васка», пытался своим телом защитить Осипа Волохова, другой провинился лишь тем, что решил положить свою шапку на простоволосую, загнанную и избитую кормилицу Василису Волохову. Порывались убить даже тех богатых угличан, кто был вхож в дом дьяка Михаила Битяговского, но все они случайно оказались за городом и сумели спастись от расправы черни.

Что же могло так испугать Нагих? Почему они вместе с угличанами стали грабить подворье дьяка Битяговского? Разгадка кроется в предсмертных словах дьяка Михаила Битяговского, в минуту нависшей над ним опасности успевшего выкрикнуть в толпу, что его «Михайло Нагой велит убити для того, что Михайло Нагой добывает ведунов и ведуны на государя и на государыню, а хочет портить»[16]. Оставшаяся в живых после угличского бунта вдова Михаила Битяговского могла уже подробнее рассказать о тайне Нагих. В своей «сказке» (то есть показании), обращенной к царю Федору Ивановичу, она обвиняла убийц мужа и тоже говорила про какого-то ведуна Андрюшку Мочалова: «И про тебя, государя, и про царицу Михайло Нагой тому ведуну велел ворожити, сколко ты, государь, долговечен и государыня царица. То есми, государь, слыхала у мужа своего»[17].

Эти слова многое проясняют. Преступления, страшнее колдовства и наведения порчи на царя и царицу, по представлениям того века, быть не могло. Видимо, царица Мария и ее братья пытались угадать свою судьбу, для этого и надо было знать, сколько еще процарствует царь Федор Иванович. Ранее его земного срока ссылка Нагих в Углич не могла завершиться.

Косвенно подтверждают обвинения дьяка Битяговского почти

незамеченные смерти обычных людей, к своему несчастью, ставших свидетелями драмы царевича Дмитрия. Мария Нагая даже два дня спустя после случившегося не могла удержаться от ярости и отдала приказ расправиться с той, кого посчитала виновницей «порчи» царевича (или, может быть, той, которая могла стать источником слухов обо всем, что происходило у нее во дворце?)[18]: «Да была жоночка уродливая у Михаила у Битяговского и хаживала от Михаила к Ондрею Нагому; и сказали про нее царице Марье, и царица ей велела приходить для потехи, и та жоночка приходила к царице, и как царевичю смерть сталася, и царица и ту жонку после того два дни спустя велела добыть и велела ее убити ж, что будто та жонка царевича портила»[19].

Только приезд высокой московской комиссии во главе с боярином князем Василием Ивановичем Шуйским, окольничим Андреем Петровичем Клешниным и дьяком Елизаром Вылузгиным заставил Нагих опомниться и понять, что они сделали. Сначала была «наивная», по словам С. Б. Веселовского, попытка подтасовать факты, подбросить обмазанные «курячей» кровью ножи, палицы и пищали к телам убитых людей. В итоге же царица била челом «словесно» митрополиту Геласию, входившему в состав следственной комиссии (допрашивать ее не могли), и просила передать признание своей «вины» царю Федору Ивановичу[20].

Самой важной деталью в свете дальнейшего самозванства с использованием имени царевича Дмитрия становится обращение Нагих с телом царевича. Они сразу же приняли меры к его охране и перенесли тело погибшего в Спасский собор, где оно лежало в ожидании царского указа о погребении. Вокруг Углича были организованы заставы, чтобы не допустить ни побега из города угличан, ни внезапного прихода «скопом» каких-либо людей. Возможно, Нагие еще надеялись, что царевич Дмитрий, как потомок правящих Рюриковичей, будет похоронен в Архангельском соборе, а возможно, ждали приезда из Москвы самого царя Федора Ивановича. Им было важно предъявить тело царевича еще и для подтверждения того, что царевича Дмитрия убили. Однако приехавшие следователи им не поверили. Хотя своей версии об убийстве мальчика Нагие будут держаться всегда, разве что за исключением того выгодного им времени, когда самозваный «царевич Дмитрий» воссядет на московском престоле. В 1606 году, уже после смерти Лжедмитрия I, Нагие примут участие в перенесении мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву, и окажется, что царевича похоронили в том же платье, в каком он был в момент гибели, положив в гроб жемчужное «ожерельицо», бывшее у него на шее, и «орешки», которыми он

«тешился». В завещании Андрея Нагого 1617 года будет упомянуто об имуществе («животах»), взятом «в опале на государя в Угличе, *как царевича Дмитрея убили*»[21].

Большинство свидетелей видели тело царевича уже лежащим в Спасском соборе. Так, например, игумен Алексеевского монастыря Савватий, приехавший в «город» (то есть в Угличский кремль) по призыву Марии Нагой, увидел: «Ажио царевич лежит во Спасе зарезан, и царица сказала: зарезали де царевича Микита Качалов, да Михайлов сын Битяговского Данила, да Осип Волохов»[22]. Кстати, несчастный мальчик Осип Волохов в тот момент еще был жив и пытался спрятаться «во Спасе за столпом», надеясь на защиту церковных стен, где его не могли убить из опасения осквернения соборного храма. Однако никто не озаботился тем, чтобы сохранить жизнь этому свидетелю. «Прохолкали, что над зайцем» (то есть «проглотили целиком»), — плакалась его мать. Других свидетелей, «шестьдесят семей угличан», разослали в Сибирь, «и поставиша град Палым, и ими насадиша», — сообщает об их судьбе автор «Нового летописца»[23]. Из сибирского Пелыма они вернутся только в царствование Михаила Федоровича. При этом сами угличане позднее тоже поддерживали версию Нагих об убийстве царевича Дмитрия, обвиняя одного из «добрых» (то есть богатых) угличан Ивана Пашина, что по его «злому совету» с дьяком Михаилом Битяговским царевич Дмитрий был «предан на убийство и на смерть». Это естественным образом оправдывало угличан, свидетельствовало о несправедливости понесенного ими наказания[24].

Самым необычным свидетелем событий оказался английский купец и дипломат Джером Горсей, живший тогда на Английском дворе в Ярославле. В своих записках он вспоминал пережитый им страшный случай, связанный с обстоятельствами угличской трагедии. К нему на подворье ночью прискакал дядя царицы Афанасий Нагой, также живший в то время в Ярославле. Пока тот будил обитателей торгового двора Английской компании, англичанин подумал уже о самом худшем. Едва Джером Горсей понял, что в его дом прорывается хорошо известный ему человек, Нагой «огорошил» его известием: «Царевич Дмитрий мертв, сын дьяка, один из его слуг, перерезал ему горло около шести часов: [он] признался на пытке, что его послал Борис». Выяснилось, что Афанасию Нагому срочно потребовалось лечебное снадобье для царицы Марии Нагой. «Царица отравлена и при смерти, — сообщал Нагой, — у нее вылезают волосы, ногти, слезает кожа. Именем Христа заклинаю тебя: помоги мне, дай какое-нибудь средство»[25].

Отнестись к этому известию с доверием заставляет тот факт, что указания на время происшествия в показаниях свидетелей в «Угличском следственном деле» и записках Джерома Горсея совпадают. Выясняется также, что первыми, кто стал подозревать в смерти царевича Дмитрия Бориса Годунова, были сами Нагие. Для Афанасия Нагого, лишившегося статуса одного из «временщиков» последних лет царствования Ивана Грозного по воле другого правителя при его сыне царе Федоре Ивановиче, вполне логично было считать Бориса Годунова виновным и в этом преступлении. Может быть, получив первые известия из Углича, он поторопился отомстить Борису Годунову, точно рассчитав, что Джером Горсей запомнит устроенный им ночной переполох[26].

Что на самом деле случилось с царицей, неясно, так как других подтверждений ее болезни в следственном деле нет. Хотя это и могло бы объяснить некоторые мотивы ее поступков в день убийства царевича. Мария Нагая могла подумать, что доживает последние часы, и спешила мстить. Точно неизвестно, помогло ли ей английское снадобье, отданное Горсеем. Главное, что и царевич, и его предполагаемые, со слов царицы Марии Нагой, убийцы были уже мертвы.

В действительности, если не искать следов подтасовки фактов в «Угличском следственном деле» и не обелять тех, кто участвовал в расправах, погромах и грабежах вслед за известием о смерти царевича Дмитрия, картина событий выглядит ясной, а вина Нагих — доказанной[27]. Официальная версия о гибели царевича в припадке падучей болезни подтверждается документами сохранившегося белового экземпляра «Следственного дела», рассматривавшегося на церковном соборе. Более того, царевичу Дмитрию «простили» его фактическое, хотя и невольное самоубийство и разрешили погребение в соборном угличском храме. Однако выводам «Следственного дела» поверили не все исследователи. Многие предпочитают говорить о «тенденциозности» и о том, что в нем отразились не одна, а несколько версий[28].

Литературные памятники и другие свидетельства современников, напротив, в один голос говорят об убийстве царевича Дмитрия. Однако все они, как давно уже показал Сергей Федорович Платонов, составлены много позже 1591 года. Это дело снова вспомнили только после смерти самозваного царя, в начале царствования Василия Шуйского, в 1606 году. Мощи царевича Дмитрия были перенесены из Углича в Москву и перезахоронены в Архангельском соборе Кремля. Прославление убиенного царевича Дмитрия православной церковью как святого утверждало версию о вине Годунова в качестве единственно

возможной и канонической. Однако обвинения Бориса Годунова основывались на одних подозрениях в том, что ему была выгодна смерть царевича Дмитрия, да на мести царя Василия Шуйского, «забывшего», как сам он когда-то свидетельствовал о случайной гибели царевича[29].

«Новый летописец», составленный на рубеже 1620–1630-х годов, приводит целую повесть о том, как Борис Годунов искал исполнителей для убийства царевича Дмитрия, собирая для этого весь родственный круг Годуновых. Его «советницы» (за исключением отказавшегося участвовать в умыслах на жизнь царевича Григория Васильевича Годунова) нашли было исполнителей в лице Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, но те богобоязненно отказались, за что и претепели разные «беды» от Бориса Годунова. Затем уже один из известных клевретов Годунова окольничий Андрей Клешнин (тот самый, который потом входил в следственную комиссию) разыскал такого добровольца, пожелавшего выслужиться перед Борисом Годуновым. Им и оказался дьяк Михаил Битяговский, отпущенный в Углич[30]. «Пискаревский летописец» XVII века тоже говорит о повелении Бориса Годунова убить «господина своего» царевича Дмитрия, называя его «советников» в этом деле — Данилку Битяговского да Никитку Качалова. Все это выдает малое знакомство автора летописи с обстоятельствами дела. Видимо, летописец уже ничего не знал о возрасте убийц — ровесников царевича. Иначе в «Пискаревском летописце» должно было бы содержаться объяснение того, как известный своей осторожностью Борис Годунов мог доверить тайные замыслы детям. Пропущено в летописи и имя кормилицына сына Осипа Волохова, тоже обвиненного в убийстве царевича. Про дьяка же Михаила Битяговского здесь говорится, что он был «у царевича дияк на Углече», но так казалось тем, кто был убежден, что дьяк прислан специально для убийства царевича[31].

Подробнейшим образом описано дело царевича Дмитрия в «Угличском летописце» конца XVIII века. Однако заметно, что автор этой поздней летописи лишь благочестиво следовал житийным канонам и пересказывал другие летописные тексты. Хотя в нем содержатся и колоритные детали, возможно, отразившие местные легенды о царевиче Дмитрии. Летописец попытался «мотивировать» месть Бориса Годунова царевичу Дмитрию, вспоминая не только одно властолюбие правителя. Так, автор «Угличского летописца» рассказал, как царевич Дмитрий играл со сверстниками на Волге и «повеле ледяным видом наделати многия статуи» (то есть попросту снеговиков). Первую из них он назвал Борисом Годуновым и саблей (надо полагать,

игрушечной) снес ей снежную голову: «И в первых отсече саблею статую Борисову, по нем же и прочим: овому же руку, овому же ногу отсече, а иным очи изболе, а прочих батоги бити повеле»[32]. Так сын Грозного собирался расправиться со своими врагами, о чем немедленно донесли Борису Годунову, а тот уже сделал свои выводы…

Разбор летописных и других литературных произведений можно продолжать, но это ничего не изменит в общем выводе о влиянии на них политических обстоятельств эпохи. На самом деле настоящего Дмитрия стали забывать уже в первые годы после его смерти. Даже в монастырских обиходниках при записи кормов о нем сказано как об «Углецком последнем» князе, то есть об удельном владетеле, но не царевиче[33]. Тем более что спустя некоторое время в правящей царской семье родилась царевна Феодосия — дочь царя Федора Ивановича и царицы Ирины Годуновой.

Рождение царевны Феодосии снимало возможные разговоры о «царском чадородии» (что, согласно «Хронографу» редакции 1617 года, послужило причиной обращения к царю Федору Ивановичу в самом начале его правления митрополита Дионисия и князей Шуйских с тем, чтобы царь развелся с Ириной Годуновой). Права на престол других претендентов из русских родов тоже становились призрачными. Если бы царевна осталась жива, то следующим царем мог стать только ее будущий муж, скорее всего «принц крови» из другого государства. Только ранняя смерть царевны снова заставила думать о нерешенной проблеме преемственности власти в доме Рюриковичей[34]. Как заметил С. Ф. Платонов, после этих печальных событий 1594 года рядом с правителем государства Борисом Годуновым стал появляться в официальных церемониях его сын Федор. Дальновидный политик, Борис Федорович неспроста начал «являть» сына «Московскому царству и дружественным правительствам»[35]. При желании это тоже можно трактовать как подтверждение вины Бориса Годунова, освобождавшего себе и сыну дорогу к царству… Но лучше воздержаться от таких прямолинейных упреков[36].

Новое потрясение умов случилось семь лет спустя, в начале января 1598 года, когда умер царь Федор Иванович и пресекся существовавший столетиями порядок престолонаследия в московском великокняжеском доме. Фаворитами в борьбе за трон считались князья Шуйские и бояре Романовы, но они проиграли. «Достичь высшей власти», как хорошо известно, удалось Борису Годунову, чья легитимность, как и у других претендентов, тоже основывалась на родстве с угаснувшей династией Рюриковичей.

Однако Годунов был «всего лишь» братом царицы Ирины Федоровны — жены умершего царя, а родство по женской линии считалось менее значимым, чем по мужской.

Царю Борису так никогда и не простили того, что он «похитил» престол у других Рюриковичей, а заодно еще у князей Гедиминовичей и у Романовых — тоже родственников по жене, но первой жене самого Ивана Грозного. Мечта о новой династии царского рода Годуновых так никогда и не осуществилась. Даже усыпальница царя Бориса Федоровича остается пусть и на заметном месте, но в Троице-Сергиевой лавре, а не в Московском Кремле, в отличие от гробниц других московских великих князей и царей.

Могильщиком Годуновых стал безвестный Григорий Отрепьев, принявший имя царевича Дмитрия. В течение одиннадцати месяцев он управлял Московским государством. После расправы с Лжедмитрием и его гибели в мае 1606 года самозванство никуда не исчезло. При новом царе Василии Шуйском царским именем воспользовался второй Лжедмитрий, оставшийся в памяти «Тушинским вором». От противостояния царя Василия и «царя Дмитрия» современники настрадались сполна. Одного царя свели с престола, а другой поплатился головой за свое мнимое царственное происхождение, убитый в Калуге в 1610 году. Был еще и третий Лжедмитрий — некий Сидорка, на короткое время признанный казачьей частью земского ополчения в марте 1612 года. Повторение истории справедливо стали считать фарсом, и желающих снова идти старым путем нашлось тогда немного. Эпилог самозванства случился при царе Михаиле Федоровиче, когда в 1614 году в низовьях Волги захватили Марину Мнишек вместе с ее сыном, «царевичем» Иваном Дмитриевичем (сыном второго Лжедмитрия). Только она и была живой связью с не такими уж и далекими временами Лжедмитрия I. Царица Марина Мнишек закончила свои дни в заточении, а ее сын был казнен. Трагедия настоящего царевича Дмитрия в Угличе в 1591 году, сделав круг, завершилась спустя почти четверть века смертью другого несчастного ребенка.

Историки о Самозванце

Поколения историков не проходили мимо такой поучительной и опасной для всего московского самодержавия истории. Ее бы, наверное, предпочли забыть, если бы только смогли «отменить» те далекие события. Какое-то время именно так и происходило: в приказных и монастырских архивах попытались «вымарать» или «подправить» следы присутствия в источниках самого имени «царя Дмитрия Ивановича». Документы, в которых царское имя заменено на оскорбительное «Рострига», открывают до сих пор. Боязнь самого имени свергнутого царя Дмитрия была столь велика, что монастырские власти прятали жалованные грамоты, полученные некогда от самозванца. Автору этих строк случилось найти в архиве такую забытую грамоту на земли, адресованную властям ярославского Спасского монастыря в 1605 году[37]. Текст ее не был включен в монастырский сборник документов, составленный в правление Екатерины II во время секуляризации монастырских земель. Тем самым одна из жалованных грамот «царя Дмитрия Ивановича» была на несколько веков исключена из истории. Этот пример показывает, что иногда легче было просто никому не рассказывать о «ростригиных» пожалованиях…

Превратности Смутного времени, кажется, были перенесены и на его историографию. Описания царствования Лжедмитрия с самого начала испытывали воздействие общепринятых взглядов. Уже первый историк Смутного времени Герард Фридрих Миллер не избежал подобных затруднений. Его труд о «новейшем периоде» русской истории был опубликован в редком академическом издании на немецком языке, а затем начал публиковаться и по-русски[38]. Однако сложные взаимоотношения научных оппонентов Г. Ф. Миллера и М. В. Ломоносова привели к появлению записки, в которой Миллер обвинялся в стремлении показать «смутные времена Годуновы и Растригины, самую мрачную часть российской истории». Забота М. В. Ломоносова о том, чтобы «чужестранные народы» не выводили «худые следствия» о «нашей славе», на деле привела к запрету Г. Ф. Миллеру продолжать печатание своих разысканий о периоде Смуты[39].

Свободным обращение историков к этой теме нельзя было назвать по причине действия не только «патриотической», но и духовной цензуры. Любой, кто пытался поставить под сомнение самозванство Лжедмитрия I, должен был задуматься о своеобразном «переосвидетельствовании» мощей царевича

Дмитрия в Архангельском соборе в Кремле. Допустить подобное церковь, конечно, не могла. Поэтому историки XVIII–XIX веков с осторожностью высказывались о происхождении Дмитрия. Столкнувшись с запретами, Миллер отказался от прямых оценок. На подобную откровенность его вызывала сама Екатерина II. Рассказ о разговоре придворного историографа и императрицы сохранил английский путешественник Уильям Кокс, встречавшийся с Г. Ф. Миллером в 1778 году.

В его передаче разговор этот выглядит следующим образом:

«— Я слышала, — сказала она (императрица. — *В. К.*), — вы сомневаетесь в том, что Гришка был обманщик; скажите мне смело ваше мнение.

Миллер почтительно уклонился от вопроса, но, уступив настоятельному требованию императрицы, ответил:

— Вашему величеству хорошо известно, что тело истинного Димитрия покоится в Михайловском соборе; ему поклоняются, и мощи творят чудеса. Что станется с мощами, если будет доказано, что Гришка настоящий Димитрий?

— Вы правы, — ответила императрица, улыбаясь, — но я желаю знать, каково было бы ваше мнение, если бы вовсе не существовало мощей.

Однако Миллер благоразумно уклонился от прямого ответа; императрица более не допрашивала его».

В разговоре с иностранным путешественником Г. Ф. Миллер был более откровенен. Оказалось, что историограф Екатерины II был убежден, «что на московском престоле царствовал настоящий Димитрий». «Но я не могу, — сказал он, — высказать печатно мое настоящее мнение в России, так как тут замешана религия. Если вы прочтете внимательно мою статью, то, вероятно, заметите, что приведенные мною доводы в пользу обмана слабы и неубедительны». Затем он добавил, улыбаясь: «Когда вы будете писать об этом, то опровергайте меня смело, но не упоминайте о моей исповеди, пока я жив»[40].

Само имя Лжедмитрия в XVIII веке все еще продолжало быть олицетворением всех пороков. В упоминавшейся трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец» Лжедмитрий I рисовался явным злодеем. В конце сумароковской трагедии, перед гибелью, самозванец произносит монолог кровожадного убийцы, сожалеющего только о том, что не успел до конца разорить Московское царство:

В крови изменничьей, в крови рабов виновных,
В крови бы плавал я и светских и духовных,
Явил бы, каковы разгневанны цари,

И кровью б обагрил и трон, и олтари,
Наполнил бы я всю подсолнечную страхом,
Преобратил бы сей престольный град я прахом,
Зажег бы град я весь, и град бы воспылал,
И огнь во пламени до облак воссылал[41].

Интересно, что Александр Сумароков советовался с Г. Ф. Миллером, но это никак не повлияло на созданный им образ самозванца. Диктат подобных классицистических представлений, конечно, прямо не вторгался в научное изучение истории Смуты, а скорее отражал особенности ее постижения. Примерно в то же время выдающийся археограф и помощник Г. Ф. Миллера по московскому архиву Николай Николаевич Бантыш-Каменский составил полный обзор дел о дипломатических взаимоотношениях между Россией и Польшей. В него вошли и материалы о «переписке Лжедмитрия, Григория Отрепьева», ставшие, по сути, первым исследованием дипломатии его короткого царствования (к сожалению, работа Н. Н. Бантыш-Каменского была опубликована только много лет спустя)[42].

С появлением Пугачева и страшным повторением самозванства в русской истории Екатерина II, да и другие современники уже больше не смогли бы выдерживать учтивый и по-светски занимательный тон в беседе о Лжедмитрии. Князь Михаил Михайлович Щербатов в «Краткой повести о бывших ранее в России самозванцах» (1774) реализовал прямой указ императрицы, потребовавшей исторических обоснований для немедленного осуждения самой мысли о самозванстве в России. Щербатов показал, что ложный Дмитрий был не кем иным, как Гришкой Отрепьевым. Сделать это ему было тем легче, что подобный взгляд вытекал из его научных разысканий. Князь М. М. Щербатов специально обратился к теме Смутного времени и по-настоящему открыл его читающей публике. Седьмой том «Истории Российской от древнейших времен» Щербатова был посвящен «междоцарствию», наступившему после смерти царя Федора Ивановича в 1598 году. Труд князя М. М. Щербатова публиковался на волне большого интереса к отечественной истории, когда снова оказался востребованным «патриотический» заказ на ее освещение. В «Истории Российской» Щербатов определенно писал о «Разстриге», свергнувшем законного царя. Видимо, само имя «Лжедмитрий» утвердилось в исторической литературе после публикации щербатовского труда.

Следующей историографической вехой стала «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Он

успел описать «царствование Лжедмитрия» в одной из глав последнего, полностью завершенного XI тома своей «Истории». Государственный историограф начала XIX века больше всего недоумевал, как могла случиться сама история самозванца: «Нелепою дерзостию и неслыханным счастием достигнув цели — каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу — сделав, чему нет примера в Истории: из беглого Монаха, Казака-разбойника и слуги Пана Литовского в три года став Царем великой Державы, Самозванец казался хладнокровным, спокойным, неудивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства»[43].

Казалось бы, однозначный приговор? Однако со слов историка Михаила Петровича Погодина пошли гулять разговоры о том, что на самом деле Н. М. Карамзин собирался совсем по-другому представить историю царевича Дмитрия Ивановича, доверяя версии о его спасении[44]. Сам Н. М. Карамзин не давал основания для таких догадок. Более того, как явствует из переписки историка, опубликованной М. П. Погодиным, к моменту работы над XI томом в 1820-х годах Н. М. Карамзин уже не сомневался в тождестве самозванца с Отрепьевым: «Теперь пишу о Самозванце, стараясь отличить ложь от истины. Я уверен в том, что он был действительно Отрепьев-Расстрига. *Это не новое и тем лучше*»[45]. После описания убийства Самозванца историограф еще раз возвратился к тому, чтобы изложить доводы «защитников Лжедмитриевой памяти» «если не для совершенного убеждения *всех* (это слово специально выделено Н. М. Карамзиным. — *В. К.*) читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепою верою к принятому в России мнению». И сделано это сразу после того, как Карамзин написал о «зложелателях России», «умах, наклонных к *историческому вольнодумству*», «для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным»[46]. По крайней мере Н. М. Карамзин пытался спорить и разбирать аргументы тех, чьи взгляды не разделял, подвергая критике общепринятые, а для кого-то единственно возможные, верноподданнические взгляды.

О том, что Н. М. Карамзин никогда не увлекался личностью самозванца, достаточно свидетельствует его записка «О древней и новой России в политическом и гражданском отношениях» (1811). Дойдя до царствования Лжедмитрия, Н. М. Карамзин замечал, что это был «тайный католик», не знавший настоящей истории своих «мнимых предков», царь, порвавший с обычаями старины. «Россияне перестали уважать его, наконец возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами

святыню своих предков, возложили руку на самозванца», — писал Н. М. Карамзин. Он видел в этом «самовольную управу народа», разрушившую основу власти, то есть «уважение нравственное к сану властителей». В этом обсуждении моральных последствий свержения самозваного царя Н. М. Карамзин был безусловным новатором: «Сие происшествие имело ужасные следствия для России… Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!»[47]

Дальнейший интерес к фигуре Лжедмитрия был связан с появлением «Димитрия Самозванца» (1830) Фаддея Булгарина и «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. Торопливая булгаринская попытка опередить и захватить сюжет пушкинского «Бориса», которого он читал в рукописи как цензор, канула в Лету. Но она изрядно испортила настроение Пушкину, считавшему, что «главные сцены» его драмы «искажены в чужих подражаниях»[48]. Пушкин ожидал, что публика лучше разберется в его Самозванце, а вместо этого столкнулся с незаслуженными упреками в эпигонстве, в заимствовании сюжета у Карамзина и, не дай бог, у своего антагониста Булгарина. Не приняли современники и знаменитые метания Самозванца в сцене у фонтана, когда он сначала открывается Марине Мнишек:

Нет, полно мне притворствовать! скажу
Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал.

А потом, после минутной слабости, снова возвращается к своей игре в царевича Дмитрия:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.

Конечно, от А. С. Пушкина, как и от всех, кто обращается к

этой теме, хотели большей определенности в обличении «злодея», прямолинейно воспринимая образ самозванца. Первые читатели пушкинского «Бориса Годунова» еще не знали того, какое значение суждено было сыграть этой драме в историческом самосознании, как повлияет она на всех, даже будущих историков, в постижении Смуты. Ведь в хрестоматийной ремарке «народ безмолвствует» в конце «Бориса Годунова» содержится целая концепция Смуты. Современники тоже считали, что это время послано им за грех «безумного молчания всего мира»[49].

Польское восстание 1830 года по-своему сделало актуальным обращение к эпохе самозванцев начала XVII века. Тогда началось археографическое открытие темы Смуты. До этого времени все пользовались только «Собранием государственных грамот и договоров», во втором томе которого в 1819 году были опубликованы «грамоты в правление Лжедмитрия Гришки Отрепьева». Среди них договоры Лжедмитрия и его переписка с римскими папами, нунцием Рангони, воеводой Юрием Мнишком, «Чин венчания» Марины Мнишек. Немало новых документов к истории Лжедмитрия и Марины Мнишек нашел в Польше участник военной кампании «гвардии полковник Павел Муханов». В его работе «Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время самозванцев» (1834) были собраны материалы о приезде Марины Мнишек и обстоятельствах восстания москвичей против поляков 17 мая 1606 года. Историк Николай Герасимович Устрялов издал целую серию книг «Сказания современников о Димитрии Самозванце» (тома 1–5, 1831–1834). Он собрал в ней записки современников: пастора Мартина Бера, капитана Жака Маржерета, «Дневник Марины Мнишек», «Записки» Самуила Маскевича и сочинения других авторов. Переводы, подготовленные к печати Н. Г. Устряловым, имели большой успех и впоследствии неоднократно переиздавались. Фундаментальные публикации «Актов» времени Смуты осуществила Археографическая комиссия Академии наук (1836, 1841). В результате начиная с 1830-х годов была подготовлена почва для глубокого изучения эпохи самозванцев, основанная на публикации значительного круга источников.

Первую «Историю смутного времени в России» (1839) написал отставной генерал и сенатор Дмитрий Петрович Бутурлин, известный своими трудами по военной истории. Д. П. Бутурлин заново пересмотрел многие русские и иностранные источники, собрал важные материалы для изучения истории Лжедмитрия и поместил их в приложении к своему труду (в том числе впервые «Дневник» ротмистра Станислава Борши, участника похода самозванца на Москву)[50]. Заслуживает

внимания и его полемика с некоторыми взглядами Н. М. Карамзина, в частности, по вопросу о превращении Боярской думы в Сенат во время правления царя Дмитрия. В целом же Д. П. Бутурлин по-прежнему следовал традиции нравоучительного осуждения деятельности самозванца. А заодно и тех, кто дерзал сомневаться в том, что Лжедмитрий — это и есть Отрепьев. Взгляды оппонентов он с цензорской прямотой объяснял увлечением «суетным мудрованием», желанием «мыслить иначе, чем мыслили их предшественники».

Лучшим трудом о Смутном времени тогда стал «Опыт повествования о России» (1843) Николая Сергеевича Арцыбашева, заложившего академическую традицию изучения истории событий начала XVII века. Третий том работы Н. С. Арцыбашева, где рассказано о царствовании Лжедмитрия-Отрепьева, оказался забытым по недоразумению. Робкая критика, высказанная Н. С. Арцыбашевым в адрес Н. М. Карамзина, была воспринята почитателями «великого историографа» с незаслуженной обидой. Между тем Н. С. Арцыбашев возражал против некоторых неточностей в хронологии автора «Истории государства Российского». Он также считал, что историк не должен наполнять свои труды нравоучениями, и упрекал Н. М. Карамзина, что тот «ругается от себя» в адрес исторических героев. Чтобы лучше прояснить свою позицию, Арцыбашеву пришлось написать несколько томов «Опыта». История Лжедмитрия исследована им подробно, начиная с появления в Литве и кончая московским эпилогом. Каждый приведенный Н. С. Арцыбашевым факт впервые содержал отсылку в сносках на источники. Его работа хорошо показала различия в подходах историков, обязанностью которых являются доказательства, и литераторов, возмещающих отсутствие таких доказательств красотами стиля и догадками.

Новая веха в осмыслении истории самозванца связана с трудами Сергея Михайловича Соловьева. Восьмой том его «Истории России с древнейших времен», посвященный Смуте, подоспел с изданием в самую горячую пору общественных дискуссий в 1858 году. Во времена первой гласности снимались прежние цензурные ограничения, исчезали прежние барьеры в обсуждении истории России. Поэтому обобщающий труд С. М. Соловьева, рассказывавший о царствовании Лжедмитрия I, был воспринят не как обычное исследование историка. С. М. Соловьев начинал разбор «слухов и мнений о самозванце» с обсуждения того, что «человек, объявивший себя царевичем Димитрием, был истинный царевич». Но следом приводил аргументы и свидетельства источников, показывающие несостоятельность таких взглядов. Историка особенно убеждало сообщение

наемного офицера и сторонника Лжедмитрия Конрада Буссова, восходившее к Петру Басманову, ближайшему боярину самозваного царя. Если уж сторонники Лжедмитрия говорили о самозванстве, то в этом — приговор версии о спасении царевича. Далее С. М. Соловьев задавался вопросом: «В собственной ли голове родилась мысль о самозванстве или она внушена была ему другими?» И здесь, пожалуй, впервые он обратил внимание на то, мимо чего прошли все, кто интересовался Лжедмитрием. С. М. Соловьев не исключал, что самозванство могло быть внушено Григорию Отрепьеву другими людьми. При этом беглый монах вполне искренне мог считать себя царским сыном. «В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих», — писал С. М. Соловьев, отказываясь признавать Лжедмитрия «сознательным обманщиком». Историк даже намекал на «сходство» Лжедмитрия и Петра Великого, говоря, что самозванец слишком рано, «лет на сто», явился в русской истории. С. М. Соловьев решительно порывает с традицией, идущей от «Краткой церковной истории» (1805) митрополита Платона Левшина, считавшего самозванца воспитанником иезуитов (А. С. Пушкин отозвался об этих взглядах как «детских и романических»)[51]. С точки зрения С. М. Соловьева, Лжедмитрий был подготовлен боярами — врагами Бориса Годунова. «Это мнение о подстановке самозванца внутренними врагами Бориса, — писал историк, — кроме того, что правдоподобнее всех других само по себе, кроме того, что высказано современниками, близкими к делу, имеет за себя еще и то, что вполне согласно с русскими свидетельствами о похождении Григория Отрепьева, свидетельствами, которые, как мы видели, отвергнуть нет возможности»[52]. Автор «Истории России с древнейших времен» хорошо осознавал и другое — невозможность окончательно раскрыть тайну происхождения первого Лжедмитрия, ее способность «сильно тревожить людей, у которых фантазия преобладает». С. М. Соловьев тоже столкнулся с противоречием интересов «романиста», доверяющего больше своему воображению, и историка, который не должен создавать «небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями»[53]. Однако сама «История России…» кроме большого успеха русской историографии стала еще и литературным событием, вызвав споры о личности самозванца.

Следующее десятилетие в освещении темы Лжедмитрия I прошло под знаком громкого спора о происхождении самозванца, начатого Николаем Ивановичем Костомаровым в работе «Кто был первый Лжедмитрий?» (1864). Подвергнув тщательному анализу аргументацию правительственных грамот Бориса Годунова, обличавших «Ростригу», Н. И. Костомаров выявил в них немало

противоречий. В итоге он сделал вывод о том, что «в то время не было доказательств, что царь был Гришка Отрепьев, расстрига, беглец Чудова монастыря»[54]. Проанализировав дальше «Извет Варлаама» (показания Варлаама Яцкого — одного из спутников Лжедмитрия, ушедшего с ним в Литву), сочинения иностранцев, Н. И. Костомаров, по сути, приходит к тому же выводу, что и С. М. Соловьев. Костомаров признает самозванца «творением боярской партии, враждебной Борису», и вслед за Соловьевым задается вопросом о «сознательном или бессознательном» самозванстве[55]. В этом наблюдения Н. И. Костомарова почти не отличаются от его предшественника. Разве что в костомаровском исследовании справедливо поправлено неосторожное высказывание С. М. Соловьева о том, что обманщик Лжедмитрий обязательно должен быть злодеем. Н. И. Костомаров при этом напомнил о самозванце другого рода — Иване Александровиче Хлестакове… Но общие выводы двух историков совпадали: «Царствовавший у нас в Москве под именем Димитрия был не настоящий Димитрий, но лицо, обольщенное и подготовленное боярами, партиею враждебною Борису». Лжедмитрий не был «истинным царевичем», он всего лишь верил в свое «царственное происхождение»[56].

В дальнейшем, несмотря на возражения критиков, обратившихся к привычной версии о сознательном самозванстве Гришки Отрепьева[57], Н. И. Костомаров стремился подвести читателя к мысли о том, что нет никаких оснований доверять официальной пропаганде царя Бориса Годунова. История Лжедмитрия была подробно изучена им с привлечением многих новых польских и русских источников в книге «Смутное время» (1868) и в специальном биографическом очерке «Названый Димитрий» (1874)[58]. Завершая этот очерк, Н. И. Костомаров высказывал прямые возражения против отождествления царя Дмитрия и беглого монаха. Мнение о «внутренней убежденности» Дмитрия в том, что он настоящий сын Ивана Грозного, историк считал вполне заслуживающим внимания. «Подготовлен» «названый Димитрий» был не московскими боярами, как считал С. М. Соловьев, а где-то в «польских владениях». Н. И. Костомаров удержался от окончательного ответа на вопрос о характере самозванства Лжедмитрия и прозорливо заметил: «Мы, однако, не должны слишком увлекаться блеском тех светлых черт, которые проглядывают не столько в его поступках, сколько в словах»[59].

Со времени публикации работ С. М. Соловьева и Н. И. Костомарова начинается своеобразная историографическая «развилка» в изучении биографии Лжедмитрия. Все основные вопросы и заслуживающие внимания версии этими историками были сформулированы и обсуждены, а самозванец стал

восприниматься как более сложный, вовсе не однозначно отрицательный герой русской истории. Это чутко уловил Алексей Константинович Толстой, представивший еще одного Григория Отрепьева на русской сцене в завершающей части своей драматической трилогии «Царь Борис» (1870). В его пьесе все участники угличского дела, окольничий Андрей Клешнин, старица Марфа — бывшая царица Мария Нагая, знают, что Дмитрий убит, уверены в преступлении Бориса Годунова, но согласны принять того, кто назвался именем царевича Дмитрия, чтобы он отомстил Годуновым. Петр Басманов, принимая награды от царя Бориса, отдает должное храбрости Вора и даже готов сравнить его со «сражающимся львом». Однако в финальном монологе Борис Годунов обращался к боярам с обличением любой лжи, даже во имя интересов царства:

Блюдите вашу клятву!
Вам ясен долг — Господь карает ложь —
От зла лишь зло родится — все едино:
Себе ль мы им служить хотим иль царству —
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!

В этом итог жизни царя Бориса в пьесе А. К. Толстого, а также — другой финал известной исторической драмы Лжедмитрия. Пришло время и для оперы М. П. Мусоргского, снова и снова знакомившей ее слушателей с почти запретным ранее историческим сюжетом. Музыкальные образы мятущегося Бориса Годунова, упоенного своей тайной Самозванца и надменной Марины Мнишек стали господствовать над самой подлинной историей.

Тайна самозваного царя Дмитрия привлекала многих желающих в ней разобраться. Следствием стало появление все новых и новых материалов, без знакомства с которыми уже трудно представить историческое исследование о Лжедмитрии. Интересной находкой, немного приблизившей к разгадке тайны Лжедмитрия, стала запись на книге, обнаруженная профессором Волынской семинарии Амвросием Добротворским. Оказалось, что в 1602 году в Литве действительно путешествовали три монаха — Григорий (будущий московский «царевич»), Варлаам и Мисаил. Они получили в подарок от киевского воеводы князя Константина Острожского книгу святого Василия Великого «О постничестве» и сами сделали запись об этом[60]. Таким образом, историки получили надежное подтверждение подлинности «Извета Варлаама», из которого известно об обстоятельствах ухода этой троицы в Литву. Были обнаружены знаменитые парные портреты

Дмитрия и Марины Мнишек, происходившие из Вишневецкого замка; журнал «Русская старина» в 1876 году впервые опубликовал большим тиражом гравюру с портретом самозванца работы Л. Килиана.

Увидев Лжедмитрия таким, каким его видели польские современники, историки все равно продолжали спорить. Традиционный взгляд на самозванца по-прежнему находил своих сторонников. В частности, П. С. Казанский собрал доказательства о гибели настоящего царевича Дмитрия в специальном очерке, опубликованном в «Русском вестнике» в 1877 году. В новой версии событий Смуты Дмитрия Ивановича Иловайского — автора еще одного общего труда об этой эпохе (1894) — получалось, что Лжедмитрий был авантюристом и игрушкой в руках поляков, использовавших его, чтобы сеять смуту на Руси. По мнению Д. И. Иловайского, с появления самозванца собственно Смута и начиналась (как и изложение событий в его книге об этом времени): «Адский замысел против Московского государства — замысел, плодом которого явилось самозванство — возник и осуществился в среде враждебной нам польской и ополяченной западно-русской аристократии». Такой крайне консервативный взгляд заставлял быть последовательным. Для полноты своей концепции Д. И. Иловайский вынужден был отказаться даже от официальной версии тождества Лжедмитрия и Григория Отрепьева, заменив ее предположением, что Лжедмитрий был «уроженец Западной Руси и притом шляхетского происхождения»[61]. Привыкнув к стилистике гимназических учебников, одобренных Министерством просвещения, Иловайский доказательствами себя не утруждал… Однако странно было читать такую историю Смуты после появления исследований Н. Левитского и В. С. Иконникова, опровергнувших представление о Лжедмитрии как о проповеднике католичества. Скорее, как не особенно изящно, но определенно выразился Н. Левитский, в самозванце можно было видеть «либерального царя, зараженного иноземщиной». Если замысел пропаганды католичества и существовал, то Лжедмитрии был первым, кто сумел его разрушить[62].

Окончательно все легенды и версии о сознательной подготовке самозванца отцами-иезуитами были развенчаны… одним из них, о. Павлом Пирлингом, написавшим фундаментальный труд о взаимоотношениях России и папского престола, основанный на архивах Ватикана. История царевича Лжедмитрия стала одной из любимых тем о. Павла Пирлинга, впервые обратившегося к ней еще в 1870-е годы в книге на французском языке «Рим и Дмитрий»[63]. Он досконально изучил

реакцию Ватикана на появление московского «господарчика» в Речи Посполитой и опубликовал переписку с римским престолом самого «Дмитрия», нунция Клавдия Рангони, сандомирского воеводы Юрия Мнишка и его дочери Марины Мнишек. В отличие от многих русских авторов, слабо или вовсе незнакомых с внутриконфессиональными порядками католической церкви (не говоря уж об ее архивах и написанных на латыни и итальянском языке документах), о. Павлу Пирлингу удалось раскрыть мотивы двойственного поведения Лжедмитрия. Тайное принятие им католичества было вынужденным политическим шагом. И в Ватикане не питали иллюзий в отношении своего подопечного, не выполнившего никаких обещаний после того, как он стал московским царем.

Из всех находок о. Павла Пирлинга, пожалуй, самой важной оказалось собственноручное письмо Лжедмитрия папе Клименту VIII, написанное в апреле 1604 года. Факсимильная публикация текста памятника в 1898 году была всесторонне проанализирована известными лингвистами и историками И. А. Бодуэном де Куртене[64], В. А. Бильбасовым[65] и С. Л. Пташицким[66]. Исследователи пришли к однозначному выводу, что автором документа был человек, не совсем уверенно знавший польский язык. Все догадки и предположения в теме о происхождении самозванца должны были уступить место доказательствам, и специалисты приняли версию о том, что Лжедмитрий — выходец из русских земель. Еще один важный документ, впервые опубликованный на русском языке в приложении к труду о. Павла Пирлинга «Россия и папский престол», — подробная депеша об обстоятельствах появления Дмитрия, отосланная нунцием Клавдием Рангони новому папе Павлу V в Рим 2 июля 1605 года[67].

Подробное исследование источников, связанных с историей самозванца, провел Евгений Николаевич Щепкин в работе «Кто был Лжедмитрий I» (его труд был опубликован на немецком языке в редком славистическом издании в 1898–1900 годах)[68]. «Спрятать» так глубоко свои взгляды он имел все основания, так как выдвигал гипотезу о том, что Лжедмитрий мог быть незаконнорожденным сыном царя Ивана Грозного или его сына Ивана, — вряд ли бы обычная цензура пропустила такое в печать. В работе Е. Н. Щепкина Григорий Отрепьев и Лжедмитрий предстают двумя разными людьми. И самих Отрепьевых, по мнению исследователя, было двое, «№ 1» и «№ 2», причем происходили они соответственно из Галича и Углича. Александр Гиршберг, польский автор биографий Дмитрия Самозванца и Марины Мнишек, подчеркивал, что основой для появления

человека, взявшего на себя роль убитого Дмитрия, могла быть взаимная заинтересованность служилых людей Смоленской и Северской земель в сближении со шляхтой Речи Посполитой, в первую очередь с князьями Вишневецкими[69].

О самозванце немало размышлял один из основателей петербургской школы историков Константин Николаевич Бестужев-Рюмин[70]. Тексты его писем о Смутном времени были опубликованы посмертно в 1898 году. Эта необычная книга представляет собой редкий жанр эпистолярной беседы и состоит из писем графу Сергею Дмитриевичу Шереметеву, работавшему, правда по-любительски, над изучением времени царя Федора Ивановича и истории Лжедмитрия[71]. К. Н. Бестужев-Рюмин доброжелательно направлял С. Д. Шереметева, которому казалось, что самозванец был настоящим царевичем. Свои основные тезисы о Лжедмитрий С. Д. Шереметев сформулировал следующим образом: «1) Он не Отрепьев, 2) он не сознательный обманщик, 3) Годунов не виновен в Углицком деле. К этому прибавляется: 4) он — создание Поссевина и иезуитов»[72]. К. Н. Бестужев-Рюмин поощрял работу С. Д. Шереметева в этом направлении и размышлял: «Прежде всего, остается необъяснимым спасение царевича, а это вопрос существенный. Затем остается неясным Расстрига, откуда у него царственный вид и царственные приемы, он часто напоминает Петра. А почему? Потому что чувствует себя прирожденным царем. Ни Отрепьев, ни шляхтич не могли бы так поступать с Шуйским, так говорить с боярами»[73]. Все это оказало влияние и на других энтузиастов, которым было тесно в рамках официальной версии. Одним из них был драматург, журналист и издатель А. С. Суворин. Он тоже был практически уверен в том, что «Григорий Отрепьев и был царевич Димитрий». Порукой этому, по его предположению, была слишком яркая и необычная судьба самозванца[74].

Журналистские этюды А. С. Суворина в «Новом времени», распространявшиеся в 1890-х годах тысячными тиражами, мало воздействовали на историков. Среди них, напротив, возобладал здравый скептицизм по поводу дальнейших разысканий о происхождении Лжедмитрия, которые не содержали в себе ничего нового, а все больше становились поводом для высказывания сенсационных предположений. Разговор мог быть продолжен только после появления новых источников или изучения основательно подзабытых текстов. Так поступил Сергей Федорович Платонов, обратившийся в магистерской диссертации к источниковедческому изучению русских повестей XVII века о Смутном времени. Будущему автору «Очерков по истории

Смутного времени в Московском государстве» удалось впервые исследовать и опубликовать все наиболее значимые литературные памятники («Иное сказание», «Временник» дьяка Ивана Тимофеева, «Сказание Авраамия Палицына», сочинения князя Ивана Дмитриевича Хворостинина, князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, князя Семена Ивановича Шаховского и другие тексты), в которых рассказывалось об обстоятельствах воцарения Лжедмитрия и его правлении[75]. Но в своей известной книге о Смуте, вышедшей первым изданием в 1899 году, С. Ф. Платонов отказался от подробного рассмотрения литературы о самозванце, считая более важным изучить обстоятельства его восхождения на трон, кем бы ни был при этом Лжедмитрий. Понимая, что от него все равно ждут определенного ответа, С. Ф. Платонов писал: «Чтобы не оставаться перед читателем с закрытым забралом, мы не скроем нашего убеждения в том, что Самозванец был действительно самозванец, и притом московского происхождения»[76]. С этим наблюдением перекликается известный афоризм Василия Осиповича Ключевского: «Винили поляков, что они его подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве»[77].

К началу XX века накопилась большая традиция изучения истории Лжедмитрия, но его биография по-прежнему трудно поддавалась изучению и в ней оставалось еще много неизвестного. Это наглядно продемонстрировал о. Павел Пирлинг, опубликовавший сборник статей «Из Смутного времени» (1902), в котором разобрал источники, связанные с обстоятельствами появления самозваного московского царевича в Литве. Особенно важна была записка князя Адама Вишневецкого 1603 года, передававшего королю Сигизмунду III историю своего слуги, оказавшегося якобы сыном Ивана Грозного. В своих статьях о. Павел Пирлинг, образно говоря, «шел по следу» Лжедмитрия, пытался «выслушать» свидетелей. П. Пирлинг подробно выяснял, что в разное время говорили о самозванце король Сигизмунд III, канцлер Лев Сапега, воевода Юрий Мнишек и монахи-иезуиты. Как ни парадоксально, но обзор материалов «с другой стороны» приводил его к тому же выводу, которого держались русские источники: «тождество Димитрия с Гришкой Отрепьевым выдерживает хоть некоторую проверку»[78]. Итогом многолетних разысканий о. Павла Пирлинга стала его книга «Димитрий Самозванец» (1912). Оглядываясь на свой путь от исследования о взаимоотношениях России и папского престола, он признавался, что начинал работу не без увлечения проявлявшимся издали «привлекательным образом» самозваного царевича. Действительно, трудно допустить, чтобы папы Климент VIII и

Павел V вступали в переписку с каким-то безвестным авантюристом, а папский нунций в Кракове Клавдий Рангони уделял ему столько места в своих донесениях. Но дальше о. Павел Пирлинг познакомился со «святая святых» ватиканского архива — документами инквизиционного трибунала, рассматривавшего конфессиональные затруднения тайного католика Дмитрия, просившего разрешения на причастие из рук православного патриарха для себя и своей невесты Марины Мнишек. Выяснилось, что все надежды на архивы Ватикана не имели под собой никакого основания, в них не было ничего, чтобы Лжедмитрий доверил только своим новым духовным отцам. В итоге о. Павел Пирлинг возвращает «долг» тем, кто всегда считал самозванца орудием католической экспансии. Он тоже видел, что «дело самозванца явилось следствием обширного и искусно выполненного заговора», но убежден, что это был «русский» заговор. И за этим стоит целая система доказательств, основанная на полном анализе источников, впервые разысканных самим о. Павлом Пирлингом. Научное исследование привело его к выводу об обмане самозванцем папской курии: «Димитрий только в начале своей карьеры обнаруживал благочестивое рвение; впоследствии главными мотивами его политики стали личные интересы и нужды русского государства»[79].

Исследовательский путь, намеченный о. Павлом Пирлингом, был весьма плодотворным. Об этом свидетельствовали все новые и новые публикации документов из иностранных архивов. Целый комплекс материалов по Смуте опубликовал В. Н. Александренко. Сюда вошли итальянские, польские и латинские акты, письма Лжедмитрия шведскому королю Карлу IX и польскому королю Сигизмунду III, папе Павлу V, сандомирскому воеводе Юрию Мнишку и другим лицам[80]. В 1912 году впервые в полном виде была издана русская посольская документация о взаимоотношениях с Речью Посполитой во времена Бориса Годунова, Лжедмитрия и Василия Шуйского[81]. Важным вкладом в историографию стало фототипическое издание следственного дела о смерти царевича Дмитрия, осуществленное в 1913 году[82]. Выход в свет в начале 1918 года подборки документов о Лжедмитрии I из архива Посольского приказа завершил долгую историю «Чтений в Обществе истории и древностей российских при Московском университете»[83].

Заслуживают внимания еще два популярных биографических очерка о Лжедмитрии — М. А. Полиевктова в сборнике «Люди смутного времени» (1905)[84] и П. Г. Васенко в «Русском биографическом словаре» (1914)[85]. Они тоже подвели историографические итоги. Научная добросовестность не

позволяла авторам этих очерков выходить за пределы темы, обозначенные состоянием источников. Но весьма показательно, что им казались уже установленными к этому времени некоторые факты из биографии самозванца: деятельность в интересах боярской партии[86], первоначальный казачий характер движения Лжедмитрия I, приобретение «польско-католической окраски» планов самозванца только после его появления в Кракове. В этих статьях Лжедмитрия называли «незаурядным» или «умным и даровитым» человеком, но оба автора подчеркивали, что Лжедмитрии «не ставил себе широких государственных задач» и действовал как авантюрист.

Начало и итог полутора веков русской историографии в изучении истории Лжедмитрия оказались в основном связаны с трудами иностранцев и тех русских авторов, кто обращался к иностранным архивам. От робкого опыта Г. Ф. Миллера, рассказавшего по-немецки о своих разысканиях в 1750-х годах, — до выхода в свет переводов с французского языка книг о. Павла Пирлинга «Димитрий Самозванец» (1912) и Казимира Валишевского «Смутное время» (1911). Научный путь получился симптоматичным, он подтверждал сложности постижения биографии самозваного царя.

Первые советские годы в историографии Смуты можно было бы пропустить. Публикации в изданиях «императорских» исторических обществ стало опасно цитировать, не говоря уже о том, чтобы подробно их изучать. Во всяком случае, не стоит рассматривать всерьез идущие от М. Н. Покровского рассуждения о «крестьянской революции» и о том, что Лжедмитрий I был «казацким» царем. Все это напоминает «кавалерийские» атаки на историю в логике борьбы с прошлым. Советских историков больше всего привлекал элемент социального протеста, на волне которого пришел в Кремль царевич Дмитрий. М. Н. Покровский не смог отмахнуться от очевидного сравнения двух «Смут» — начала XVII и начала XX века, но дал этому свое «объяснение». Оно состояло из сплошных обвинений в адрес буржуазных историков, которые стремились ни больше ни меньше как опорочить «названого Дмитрия», а потом и народ, восставший в 1917 году[87]. По сути, М. Н. Покровский сравнил Ленина с Лжедмитрием из-за того, что одного обвиняли в связях с поляками, а другого — с немцами… В итоге, однако, в советской историографии для олицетворения эпохи Смуты был выбран другой герой — Иван Болотников; с ним и стали ассоциировать «крестьянскую войну».

Определения М. Н. Покровского ненадолго пережили своего создателя. Уже со второй половины 1930-х годов общий подход к

Смуте и, в частности, к Лжедмитрию снова изменился. Связано это с так называемой «критикой школы Покровского», вышедшей далеко за пределы научных дискуссий. Самозванца стали воспринимать как прямого ставленника Польши. Программные статьи А. А. Савича и В. И. Пичеты утвердили в научном обиходе до сих пор использующийся оборот «польская интервенция». О Лжедмитрии говорилось, в частности, что его успех был обеспечен польской шляхтой и поддержкой «польско-литовского правительства» (точное указание академиком В. И. Пичетой на форму политического устройства Польши и Литвы, превратившееся от многократного употребления в обвинительном контексте в расхожий историографический штамп). В предвоенной обстановке, когда в 1934 году между Польшей и фашистской Германией был заключен пакт о ненападении, такое исправление истории казалось особенно актуальным. В 1939 году многотысячным тиражом издали популярную книгу «Разгром польской интервенции в начале XVII века», написанную А. И. Козаченко. Одновременно изменившиеся представления об эпохе Смуты в их «патриотической» трактовке вошли в новые учебники по истории СССР, а также нашли свое отражение в литературе и советском кинематографе (фильм лауреатов Сталинской премии Михаила Доллера и Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский»)[88].

Академическое изучение истории Смутного времени тем не менее продолжилось, несмотря на очевидную вульгаризацию исторического прошлого «историками-марксистами». В начале 1920-х годов С. Ф. Платонов во многом пересмотрел свои прежние взгляды на Бориса Годунова. Проанализировав угличское следственное дело 1591 года, он убедился в том, что его состав, «безупречный с точки зрения палеографической, был правилен и юридически», а Борис Годунов стал жертвой злословия и клеветы. «В наше время, — писал историк в 1921 году, — можно решиться на то, чтобы в деле перенесения мощей царевича Димитрия в Москву в мае 1606 года видеть две стороны: не только мирное церковное торжество, но и решительный политический маневр». Более отчетливо С. Ф. Платонов стал говорить и о силах, заинтересованных в самозванце, видя их в разгромленном Годуновым клане Романовых и близких им родов, а также в княжеской аристократии — князьях Шуйских и Голицыных. Снова и снова отвечая на «проклятый» вопрос историков Смуты о происхождении самозванца, С. Ф. Платонов говорил, что «это был московский человек, подготовленный к его роли в среде враждебных Годунову московских бояр и ими пущенный в Польшу»[89].

Все последующее время, в 1930–1950-х годах, историки вынуждены были работать в рамках одной заданной концепции «крестьянской войны и иностранной интервенции». Прежний интерес к историческим тайнам, психологическим объяснениям поступков исторических героев был, выражаясь советским языком, «ликвидирован как класс». Лжедмитрию I была предоставлена единственная возможность являться в истории в контексте его политики «по крестьянскому вопросу». Сегодня даже трудно представить, почему так было, но так было. Откроем итоговые «Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в.», изданные Академией наук СССР в 1955 году, и процитируем их фрагмент: «В 1605–1606 гг. польско-литовское магнатство и отдельные группировки польской шляхты попытались подчинить себе Русское государство, используя для этой цели авантюру своего ставленника самозванца Лжедмитрия I. В обстановке обострившихся в связи с политикой Бориса Годунова классовых противоречий Самозванцу, опиравшемуся на вооруженную поддержку интервентов, действительно удалось на время захватить Москву. Однако хозяйничанье иноземных захватчиков вызвало всенародное движение, которым воспользовалось московское боярство для того, чтобы покончить с Лжедмитрием и посадить на русский престол боярского царя — Василия Шуйского»[90]. Трудно спорить с этими безапелляционными формулировками. За ними стоят уже преодоленные «ошибки» М. Н. Покровского и твердая уверенность в исключительном значении своих взглядов, в превосходстве классового анализа исторических событий над существовавшей до этого научной традицией и всеми остальными «дворянскими» и «буржуазными» методами познания.

Между тем поколение историков, вступившее в науку в годы «оттепели», сразу было вовлечено в дискуссию о «характере крестьянской войны», проведенную на страницах журнала «Вопросы истории» (1958–1961)[91]. Несмотря на то что советская «постройка» этой темы уцелела, отдельные идеи и подходы к событиям начала XVII века как к «гражданской войне» уже стали обсуждаться. Но главное, что снова можно было изучать источники и эпоху Лжедмитрия I[92]. В это время появилась в свет новаторская книга Кирилла Васильевича Чистова, рассмотревшего феномен самозванства в русской истории. Его этнографические штудии повлияли и на российских, и на зарубежных историков Смуты, показав новые возможности темы, выходящие за пределы традиционного изучения событийной истории[93]. После долгого перерыва за рубежом вышла в свет новая биография Лжедмитрия, написанная Филиппом Барбуром,

заложившим традицию высокой оценки государственных способностей самозванца в американской историографии[94]. Возможно, что в концепции Филиппа Барбура нашли отражение взгляды его научного консультанта, одного из основателей американской русистики Георгия Владимировича Вернадского, считавшего, что Лжедмитрию удалось произвести «благоприятное впечатление» на подданных[95]. Хотя в целом книга Филиппа Барбура — непрофессионального исследователя этой темы — осталась одиноким опытом в зарубежной историографии.

Интерес к истории самозванца, естественно, оставался и в Польше, где вся история Смуты трансформировалась в «Димитриаду». Польская историография по разным причинам в развитии этой темы остановилась на достижениях, связанных с именами профессоров Александра Гиршберга и Вацлава Собеского, чьи основные труды о «Дмитрии» были созданы более ста лет назад. В 1920—1930-е годы, во времена независимого существования Польской республики, их работы продолжали восприниматься как «последнее слово» исторической науки, а в послевоенное время обращение ко временам «польской интервенции» в Россию могло рассматриваться только как неуместная фронда. Поэтому первая полная биография «Димитрия Самозванца», автором которой была историк Данута Черска, появилась лишь в 1995 году. В Польше в это время стали особо подчеркивать победы над «москвой», вспоминая 1612 год и другие события Смуты начала XVII века. Впрочем, труд Дануты Черской, вышедший в старейшем польском научном издательстве «Ossolineum», выгодно отличается хорошим знанием предмета и представляет одну из немногих полных биографий самозванца на польском языке[96].

Возвращение к научному постижению истории Лжедмитрия I в российской историографии тоже произошло только в 1980—1990-е годы. Оно связано с именами Руслана Григорьевича Скрынникова и его ученика Василия Иринарховича Ульяновского (ныне представляющего украинскую историографию). В их трудах заново были пересмотрены все известные польские и русские источники по этой теме. Р. Г. Скрынников попытался «вписать» биографию самозванца в более широкий контекст социально-политической борьбы, не упуская из виду традиционные для советской историографии сюжеты о крестьянах, холопах и казаках. Все это привело Р. Г. Скрынникова к выводам об использовании Лжедмитрием утопической идеи «о добром царе». Концептуально движение самозванца вписывалось в парадигму социального протеста в Смуту: «Лжедмитрий захватил власть на гребне массовых народных восстаний»[97], «то был единственный в

русской истории случай, когда восставшие массы посадили на трон человека, возглавившего повстанческое движение и выступившего в роли „доброго царя“»[98]. Историк делал еще и следующий шаг, говоря о «гражданской войне, развернувшейся в 1604–1605 годах». Впрочем, все это не вытекало из его попыток показать «народную поддержку» самозванца, он лишь подправлял, но не менял общепринятую концепцию. Объяснил же необычный характер гражданской войны в России начала XVII века другой историк — Александр Лазаревич Станиславский, показавший роль «вольного казачества» в «битвах за царя Дмитрия», что не имело ничего общего с крестьянской войной[99].

О личности Лжедмитрия у Р. Г. Скрынникова сложилось вполне определенное представление, он не сомневался, что это был Григорий Отрепьев. Правда, читателя его работ может несколько озадачить то, что историк называет самозванца *Юрием,* а не Григорием Богдановичем Отрепьевым, но это только напоминание о подзабытом мирском имени *Юшка,* под которым знали Лжедмитрия в Москве. В своих научных исследованиях движения самозванца Р. Г. Скрынников останавливался на вступлении Лжедмитрия I в Москву[100]. Дальнейшую подробную работу по изучению внутренней политики самозваного царя Дмитрия Ивановича провел В. И. Ульяновский. В своих разысканиях он решил использовать нестандартный ход, отказавшись от традиционного пути объяснения происхождения Лжедмитрия. Самозванца (именно так, с большой буквы) В. И. Ульяновский предпочитает называть безлично, не примыкая к версии об его тождестве с Отрепьевым, но и не опровергая ее. Повторяя идеи своего учителя Р. Г. Скрынникова, Ульяновский считает, что основную поддержку Лжедмитрию I оказывали крестьяне и холопы, ибо его образ отвечал «народной идее»[101]. Спорность такой концепции, восходящей еще к советской исторической парадигме, очевидна, хотя собранный В. И. Ульяновским материал ценен сам по себе[102]. Анализ царствования Лжедмитрия, проведенный В. И. Ульяновским, привел историка к обоснованному выводу, что «на российском престоле Самозванец занял традиционную позицию в коренных вопросах управления страной»[103]. Впрочем, некоторые наблюдения В. И. Ульяновского о том, что Лжедмитрий 1 выпустил бразды правления из своих рук и полностью доверился Боярской думе, не подтверждаются источниками. Многие современники, а вслед за ними историки, напротив, отдавали должное государственным талантам царя Дмитрия Ивановича, иначе бы потом царю Василию Шуйскому не пришлось говорить, что самозваный царь узурпировал власть.

Ярко о свойствах политика Лжедмитрия напомнил Владимир Борисович Кобрин в популярном очерке о Смутном времени. Вспоминая прежние историографические стереотипы, когда о самозванце писали как о польском ставленнике или игрушке в руках бояр, В. Б. Кобрин, наоборот, предлагал подумать над тем, что непродолжительное правление Лжедмитрия стало одной из «упущенных возможностей истории». Но историк видел и черты авантюризма в деле самозванца, остроумно замечая: «…просто того авантюриста, который добился успеха, мы обычно называем выдающимся политиком»[104].

Лжедмитрий I остается желанным персонажем исторических разысканий в российской, украинской, польской, английской и американской историографиях[105]. Исследовательские конструкции сегодня усложнились, мало кто удовлетворяется обычным описанием в духе того, как все было «на самом деле». Достаточно успешно попробовал применить семиотическую методику к изучению феномена самозванства Борис Андреевич Успенский. Ему удалось объяснить дуализм восприятия бракосочетания Лжедмитрия, послужившего предлогом для расправы с самозванцем[106]. Александр Владимирович Лаврентьев впервые рассмотрел «вещественные» памятники, связанные с самозванцем, и предложил убедительные трактовки символики государственных печатей, наградных «золотых» и медалей Лжедмитрия I[107]. Внимание к семиотике текстов и церемоний времени Лжедмитрия I характерно также для новейших работ В. И. Ульяновского[108]. Однако и старая тема изучения роли самозванца в истории тоже не исчерпала себя. Например, недавно на страницах журнала «Вопросы истории» американский профессор Честер Даннинг предложил русскому читателю «пересмотреть традиционный образ Дмитрия», солидаризируясь с теми, кто видел в «царе Дмитрии» просвещенного правителя и едва ли не предтечу Петра Великого[109]. Идея не новая. Эдвард Радзинский, написавший про «Тайну Иоаннова сына», внес одно необходимое уточнение к сравнению Лжедмитрия с Петром I: «В нем не было жестокости, необходимой на Руси Преобразователю»[110].

Итак, историографический обзор подвел нас к тому неутешительному выводу, что как современники, так и последующие историки далеко разошлись в оценках Лжедмитрия. Поначалу историки повторили обличения самозванца в самых страшных грехах, идущие от тех, кто пережил времена Смуты. Даже Н. М. Карамзин, готовый судить «без гнева и пристрастия», останавливался, потому что не находил каких-либо аргументов для оправдания Григория Отрепьева. Мятущийся, способный на

человеческие чувства пушкинский Самозванец из «Бориса Годунова» оставался одиноким и непонятым.

Дискуссия о происхождении самозванца, о тех силах, которым было выгодно поддержать ложного царевича Дмитрия, открытая С. М. Соловьевым и Н. И. Костомаровым в конце 1850-х — начале 1860-х годов, скорее всего обречена остаться бесконечной… Какими еще неизвестно где хранящимися источниками можно подтвердить, что самозванца готовили московские бояре или что он неспроста появился в Речи Посполитой?! Усилиями о. Павла Пирлинга и многих других ученых по крайней мере разрешен вопрос о национальности Лжедмитрия, его отношениях с Ватиканом. При этом даже такие выдающиеся историки Смутного времени, как С. Ф. Платонов, не дерзали идти дальше самых общих высказываний о самозванстве Григория Отрепьева.

С начала XX века, когда о Лжедмитрии стало можно говорить без всякой цензуры, все отчетливее высказываются идеи о том, что это был настоящий царь, убежденный в своем высоком происхождении. Однако, увы, справедливость оценок историков нечем проверить. Даже если мы будем готовы согласиться с тем, что некоторые реформы Лжедмитрия опережали свое время, то и в этом случае неизбежен вопрос — почему их не мог провести самозванец? Попытка Р. Г. Скрынникова связать авантюру Григория Отрепьева с народными движениями тоже не может быть принята. Внутренняя политика самозванца оказывается достаточно традиционной, а его великие замыслы так и пропали вместе с ним. Все было высказано в адрес Лжедмитрия: ужасные оскорбления и обвинения в колдовстве, а рядом — панегирики действительным или мнимым талантам. Наверное, точно так же люди разделялись при первых известиях о его появлении. Одни благословляли наступавшее время перемен и освобождение от тирании Бориса Годунова, другие ясно понимали опасности, идущие от самозванца на троне. Именно с Лжедмитрия Смутное время и началось в 1604 году. Для того чтобы его завершить, потребовалось еще пятнадцать лет. Но ничто из опыта воцарения самозваного царя, а потом и его убийства не было забыто «миром». Никому из тех, кто пережил время царя Дмитрия Ивановича, уже никогда не удалось избавиться от пришедшей Смуты.

Часть первая
ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ

Глава первая
«СНАЧАЛА ОН ИГРАЛ В КОСТИ…»

Многие хотели бы узнать, на самом ли деле самозванец был Григорием Отрепьевым… Однако похоже, что тайна происхождения царя Дмитрия Ивановича навсегда останется неразгаданной. Самозваному царевичу поверили на слово и приняли все детали его рассказа о чудесном спасении как достоверные.

Тот, кого называли Григорием Отрепьевым, скорее всего, им и был. Возможно, когда-то давно он воспринял историю московского царевича, сына Ивана Грозного, как свою собственную. Вера это оказалась настолько искренней, что заставила обмануться сначала самого жалкого юношу в одежде чернеца, а потом, вместе с ним, многих других людей в Речи Посполитой и Московском царстве. Правда, не стоит исключать и привычную версию о явном самозванстве Лжедмитрия.

Быстрота случившегося переворота поразила современников. Приготовившись к долгому правлению династии Годуновых, присягнув на кресте царю Борису и его потомкам, люди в несколько лет стали свидетелями полного крушения этого рода. Видя столь наглядное превращение «высшей власти» в прах, бывшие подданные царя Бориса Годунова легко поверили во все действительные и мнимые грехи своего правителя. Самозванец казался восставшим из гроба судьей этих грехов, спасенным ради торжества справедливости. Так благие намерения привели всех туда, куда они и должны были привести, «одарив» русскую историю сюжетом непридуманной трагедии. «Попрася правда, отъиде истинна, разлился беззаконие и душа многих християн изменися: слово их, аки роса утренняя, глаголы их, аки ветер», — сокрушался, приступая к истории «розстриги Гришки Отрепьева», старый летописец[1]…

Но «сначала он играл в кости…», как сказал про самозванца канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега[2][2]. В «Литве», как тогда обобщенно называли соседнее государство поляков и литовцев — Речь Посполитую, любили употреблять этот образ. Другой канцлер — всей Речи Посполитой, — Ян Замойский, тоже говорил сенатору Юрию Мнишку, убеждавшему его поддержать поход московского «господарчика»: «Кость падает иногда недурно», но не следует играть ею в политике, тем более когда речь идет об интересах страны[3].

Авантюрный характер истории самозванца был очевиден

проницательным современникам. Другое дело, что не все готовы были следовать правилу Замойского, скорее даже наоборот. В этом, напомню еще раз, секрет успеха самозванца. Признав, искренне или нет, изначально вымышленные обстоятельства, в дальнейшем участники событий попадали в историческое «Зазеркалье», где многократное повторение лжи убеждало сильнее любой правды.

Представление о хорошо спланированном заговоре, в котором самозванца Григория Отрепьева использовали для борьбы с царем Борисом Годуновым определенные силы внутри Московского государства или вне его, оказалось весьма живучим. Достаточно еще раз вспомнить классическую фразу Василия Осиповича Ключевского о том, что Лжедмитрий был «только испечен в польской печке, а заквашен в Москве». Политические и религиозные расчеты Речи Посполитой и Ватикана, конечно, имели значение на разных этапах истории самозванца, но не было какого-то одного большого заговора, в котором за спиной самозванца оставался некий могущественный, никем не узнанный автор интриги. Да и предположение о боярах — руководителях самозванца тоже никем не доказано. Все они должны были поклониться тому, кто воссел на троне, и, как увидим дальше, выслушивать его поучения. Слишком много обстоятельств говорит о том, что режиссером истории о самозванце оказался сам Григорий Отрепьев, хотя, когда ему было надо, он не гнушался и ролями в массовке.

Чернец Гришка

Откуда появился самозванец? Его биография оказалась намеренно запутанной и скрытой. Впрочем, иногда она, наоборот, была публичной, рассчитанной на то, что слова и действия молодого чернеца запомнятся, — наивное на первый взгляд желание, хотя самозванец был отнюдь не простодушным человеком. Существуют и вполне определенные заключения следователей Бориса Годунова, выяснивших имя беглеца, назвавшегося в Литве московским царевичем. Имя это — Григорий Отрепьев.

Скорее всего, обе версии — самозванца и правительства царя Бориса — представляли искусное сочетание реальных жизненных обстоятельств и того, что выгодно было рассказывать каждой стороне о внезапно объявившемся претенденте на московский трон. Выяснять, кто и в каких пропорциях смешивал правду и ложь, — дело неблагодарное, коль скоро известно присутствие вымысла. Но саму ложь в истории царевича Дмитрия мы можем

чаще всего только почувствовать, а не доказать. Поэтому-то и существуют разные версии повествования о Лжедмитрии.

Прежде всего посмотрим на то, что самозванец предъявлял в качестве своей *«биографии»*. Сделать это ему пришлось тогда, когда он успешно объявил о своем «царственном» происхождении в Речи Посполитой, устроив так, чтобы выгодный ему рассказ дошел сначала до князя Адама Вишневецкого. Весельчак и любитель Бахуса князь Адам Вишневецкий с энтузиазмом воспринял появление «царевича» среди своих слуг, немедленно посадил его в свою карету и поехал представлять соседям (простаки всегда больше предсказуемы). Так слух о московском «господарчике» пошел дальше и в конце октября 1603 года достиг короля Сигизмунда III, потребовавшего отчета от князя Адама Вишневецкого. Но тому нечего было рассказать, кроме того, что рассказал ему сам мнимый Дмитрий.

Пока историей самозванца не заинтересовался Сигизмунд III, все оставалось малоизвестным курьезом. Но внимание короля привнесло в дело Лжедмитрия интересы политики. 1 ноября 1603 года король Сигизмунд III встретился в Кракове с нунцием (дипломатическим представителем римского папы) Клавдием Рангони и известил его о московском человеке, назвавшемся сыном Ивана IV, а неделю спустя, как установил о. Павел Пирлинг, краковский нунций отослал свой первый отчет о московском «господарчике» в Ватикан[4]. Так эстафету от простаков приняли расчетливые мудрецы, ставшие советоваться о том, как поступить дальше, и своей поддержкой «сделавшие» биографию самозванцу.

Приведем эту каноническую для самозванца версию, известную с собственных его слов в передаче нунция Клавдия Рангони в Рим в 1605 году:

«Иван, сын великого князя московского Василия, после того, как короновался царем, взял в жены Анастасию из дома Романа Захарьина, от которой имел первого сына Димитрия; этот мальчик случайно утонул еще в пеленках вместе с мамкой в Белоозере[5], в то время как его отец торжествовал над казанцами. Родивши еще двух сыновей, Ивана и Федора, Анастасия умерла, а царь женился на Марии Черкасской, с которой развелся, как и с некоторыми другими, и все эти жены были заключены Иваном в монастырь. Наконец великий князь женился на Марии, дочери Федора Нагого, из боярского рода, от которой не имел несколько лет детей.

Не надеясь на милосердие Божие и удрученный войной с королем Стефаном Баторием, царь Иван сделался тираном и убил своего старшего сына Ивана; после этого преступления у него

родился от Марии Нагой вышеупомянутый Димитрий, который вполне естественно считает себя наследником великого князя московского Ивана.

Вскоре после рождения Димитрия Иван серьезно занемог и, предвидя близкую кончину, назначил опекунов обоим сыновьям Федору и Димитрию. Слабоумный Федор был уже в это время женат, назначенные к нему опекуны должны были своими советами и опытом помогать ему в правлении государством. Опекунам Димитрия поручено было вместе с его матерью заботиться об его воспитании до совершеннолетия. Великий князь Иван назначил во владение Димитрию три города: Углич, Дмитров и Городец, предоставив их также попечению опекунов.

После смерти Ивана сын его Федор, как старший, вступил на престол. Уступая просьбам жены, он записал в ближние бояре Бориса, ее брата, настоящего великого князя. Заседая в боярской думе и пользуясь благоволением Федора, проницательному и коварному Борису пришло на ум самому сделаться великим князем, и с той поры он начал обдумывать способ умертвить Димитрия и отделаться от Федора, жену которого боярская дума решила заточить в монастырь вследствие бесплодия.

Не трудно было Борису убедить Федора, склонного по природе к набожности, оставить заботы с княжестве и удалиться в монастырь Св. Кирилла. Это было сделано без ведома опекунов Федора, которых Борис умертвил, чтобы они не мешали его предприятиям.

После того как Ирина, жена Федора, сестра Бориса Годунова, достигла полной власти в правлении для своего брата, последний начал думать о том, как бы избавиться от Димитрия, который со временем мог помешать его замыслам.

Борис тайно отравил опекунов Димитрия, заместив их от имени великого князя другими, с помощью которых надеялся отравить ребенка. Это злодеяние без сомнения ему бы удалось, но воспитатель Димитрия заметил козни Бориса и многократно предупреждал мальчика об угрожающей ему опасности и неминуемой смерти, если он не будет остерегаться, на что умный и развитый мальчик обратил внимание.

Так как первая попытка убийства не удалась Борису, то он подкупил нескольких злодеев, которым приказал ворваться ночью в комнату мальчика и убить его в постели. Это злодеяние без сомнения удалось бы, но вышеупомянутый воспитатель, предчувствуя опасность, грозящую его питомцу, положил в постель Димитрия другого мальчика, его родственника, тех же лет, который и был убит злодеями вместо Димитрия, а последний спасся. Шум разбудил домашних, которые, думая, что Димитрий

убит, начали искать убийц и, найдя их, растерзали. Говорят, что в этой смуте погибло тридцать детей, и впоследствии предположили, что среди них был тот ребенок, которого в действительности убили вместо Димитрия.

Слух об этом злодеянии быстро распространился. Мать Димитрия, уверенная, что погиб ее сын, так как убитый ребенок был неузнаваем вследствие нанесенных ему ран, послала гонца к великому князю с известием об убийстве. Но Борис, желая отвратить от себя все подозрения, отнял у гонца письмо и передал великому князю все дело в другом свете, именно, что Димитрий в припадке падучей болезни убился сам и таким образом был найден окровавленным в постели. Великий князь был очень опечален этим происшествием и приказал, чтобы тело брата было похоронено в склепе его предков, но патриарх, согласно указаниям Бориса, сказал, что не следует хоронить самоубийцу в склепе, где покоятся помазанники Божии. Федор хотел отдать брату последний долг, но Борис удержал его от поездки в Углич на похороны Димитрия, так как всеми силами старался, чтобы великий князь ничего не узнал об этом ужасном злодеянии. Поэтому он послал Геласия, митрополита Крутицкого, и Андрея Клешнина в Углич на погребение Димитрия. После похорон они заточили мать Димитрия в монастырь, некоторых из ее слуг умертвили, а других выслали из пределов государства. Кроме того, они приказали обезглавить двести человек из жителей Углича за то, что они без ведома великого князя расправились с слугами Димитрия.

Между тем вышеупомянутый воспитатель, который так заботливо спас Димитрия от смерти, не переставал пещись о своем питомце и бережно скрывал его от всех. Заболев и чувствуя приближение смерти, он призвал к себе верного человека, боярского сына, которому рассказал всю историю Димитрия, и поручил ему мальчика. Будучи верным другом, этот человек охотно принял на себя подобную обязанность и тайно содержал у себя мальчика до своей смерти. Перед своей кончиной он убедил Димитрия, который был уже юношей, для избежания опасности, поступить в монастырь. Последний охотно принял этот дружеский совет и, надев монашескую рясу, пробыл в ней довольно долго, скитаясь по разным монастырям Московии. Но его благородный нрав и осанка выдали его, и он однажды был узнан одним монахом. В виду близкой опасности, Димитрий решил немедленно удалиться в Польшу, где сначала скрывался у Гавриила Гойского, а за сим перешел к Адаму Вишневецкому, и там открыто объявил себя великим князем московским»[6].

Начало «биографии» Лжедмитрия совпадает с тем, что нам

известно о настоящем царевиче Дмитрии. Оставшись ребенком после смерти Ивана Грозного, он был отослан своим братом царем Федором Ивановичем в Углич. Называя по имени только двух жен Ивана Грозного, Лжедмитрий умалчивал о других браках царя, делавших сомнительными права царевича Дмитрия как наследника от шестой или седьмой жены. Не соответствует действительности и деталь о том, что несколько лет у его «родителей» не было детей. Верно рассказывал самозванец лишь о том, что царь Федор мало управлял государством, предпочитая походы на богомолье и беседы с монахами. Но это было известно многим и повсюду. В одном случае он называет брата «слабоумным», в другом показывает, что самому Борису пришлось немало потрудиться, чтобы удержать царя Федора Ивановича, искренне переживавшего смерть сводного брата, от поездки в Углич.

Место, где прошло его «детство», самозванец представлял плохо. Единственная приводимая московским «господарчиком» деталь, прямо связанная с угличским периодом жизни царевича Дмитрия, — присутствие при нем некого воспитателя. Такую подробность из придворной жизни сложно было подтвердить или опровергнуть уже современникам. Чем и воспользовался самозванец, приписав своему наставнику предусмотрительные шаги, благодаря которым якобы спасся настоящий царевич Дмитрий.

Схожая версия, где главным спасителем царевича Дмитрия назван некий итальянский доктор («влах»), присутствует в так называемом «Дневнике Марины Мнишек». Самозванец рассказывал Мнишкам (а они — своему окружению) о том, что его воспитатель нашел мальчика, похожего на него, и сделал так, чтобы они подружились и всегда находились рядом. Когда дети, наигравшись, засыпали, то чужого ребенка оставляли в покоях царевича, а Дмитрия укладывали спать где-то в другом месте. Поэтому когда заговорщики ворвались во дворец, то они задушили несчастного свидетеля детских игр царевича Дмитрия, а не его самого. Мать в отчаянии не увидела, что убит не Дмитрий, а другой ребенок.

«Тем временем, — продолжал свой рассказ автор «Дневника Марины Мнишек», — тот влах, видя, как нерадив был в своих делах Федор, старший брат, и то, что всею землею владел… конюший Борис, решил, что хоть не теперь, однако когда-нибудь это дитя ожидает смерть от руки предателя. Взял он его тайно и уехал с ним к самому Ледовитому морю и там его скрывал, выдавая за обыкновенного ребенка, не объявляя ему ничего до своей смерти. Потом перед смертью советовал ребенку, чтобы тот

не открывался никому, пока не достигнет совершеннолетия, и чтобы стал чернецом. Что по совету его царевич исполнил и жил в монастырях… Когда царевич Дмитрий, остававшийся в монастыре чернецом, достиг зрелости, он вышел оттуда и пошел в другой монастырь, уже ближе к столичному городу, потом и в третий, и в другие, все приближаясь непосредственно к столице, а там и у самого Бориса в комнатах бывал и на Патриаршем дворе, никем не узнанный. Но трудно было, не подвергая угрозе свою жизнь, открыться кому-нибудь, и Дмитрий отправился в Польшу»[7].

Что и говорить, версия продумана гениально. В ней содержится расчет на игру воображения того, кому рассказывается вся эта история. Можно, наверное, даже поверить в обратное: убили все-таки царевича, а самозванец, носивший имя Григория Отрепьева, и был тем самым мальчиком, который с детских лет оказался сопричастен к дворцовой тайне, а потом использовал ее в своих целях.

Однако существует Следственное дело о смерти царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 года, и в нем выяснено, что царевич погиб во время игры на дворе угличского дворца. Все случилось днем, а не ночью, и действительный участник событий знал бы об этом. Даже если считать, что следственное дело сфальсифицировано (а доказать это до сих пор не удалось никому), все равно остаются воспоминания угличан. Многие из них приняли участие в мятеже, последовавшем за известием о трагическом происшествии с царевичем. Какие еще тридцать детей, которых якобы истребили в день гибели царевича, как рассказывал самозванец? Все убитые в тот день мальчики — свидетели последней игры царевича в «тычку» — известны по именам, их было трое — Качалов, Битяговский и Волохов. Угличане видели настоящего царевича Дмитрия погибшим и первоначально похоронили тело несостоявшегося наследника русского престола в угличском Спасо-Преображенском соборе[8]. Лжедмитрий же рассказывал о массовом истреблении жителей Углича, сопоставимом с опричной расправой с Новгородом. Двести «обезглавленных» человек — это большая часть населения города! И осуществлена расправа по приказу митрополита Геласия?! Такие небылицы можно было посчитать «правдоподобными» только под влиянием рассказов о страшных казнях «тирана» Ивана Грозного.

В дальнейшей версии биографии Лжедмитрия объясняются уже обстоятельства жизни воскресшего претендента на русский престол. Рассказ о том, что Дмитрий вместе с воспитателем скрывался где-то у самого Ледовитого моря (то есть на Русском

Севере), конечно, фантастичен и рассчитан на людей, не очень хорошо знакомых с русскими порядками. Особенно если учесть, что в разных версиях рассказа появляется доктор-иноземец при спасенном царевиче[3]. Представить, что учителю или «дядьке» погибшего царевича удалось легко, по собственному желанию, уйти с царской службы и пуститься в путешествие со спасенным мальчиком, — просто невероятно. Не случайно в рассказе, известном нунцию Клавдию Рангони, после воспитателя возникает еще один верный «царевичу» сын боярский, которому и было перепоручено наблюдение за мальчиком.

Случаи исчезновения детей опальных вельмож, пережидавших царский гнев под присмотром надежных людей, известны. Знали и в Московском государстве историю о том, как скрывался до совершеннолетия от гнева Ивана Грозного отец боярина и будущего царя Василия Шуйского[9]. Но ведь в истории Лжедмитрия все было связано с чувствительной проблемой престолонаследия. Нагие, даже находясь в ссылке после 1591 года, не должны были бы упускать из виду своего якобы спасшегося царственного родственника. Или они доверились Богдану Отрепьеву, воспитавшему своего сына в уверенности, что тот и есть царевич Дмитрий?

Следующий поворот биографии самозванца — достижение им совершеннолетия, когда он должен был выбрать свои дальнейшие занятия. Последние полностью зависели в Русском государстве от происхождения человека. Новый добрый гений-наставник перед смертью посоветовал опекаемому им ребенку, остающемуся один на один со своей тайной, стать «чернецом», что тот вроде бы и исполнил. Однако вопрос о принятии самозванцем монашеского пострига не так прост. Пропаганде Бориса Годунова и особенно Василия Шуйского выгодно было представить ниоткуда появившегося претендента на престол как «расстригу», отрекшегося от своего духовного чина. Такой отказ от священства давал повод для обвинения Григория Отрепьева в сопричастности «темным силам». Но у самозванца могли быть совсем другие мотивы для прихода в монастырь. Допустим, что с детских лет он жил с внушенной ему верой в то, что он и есть настоящий московский царевич. В таком случае одежда чернеца нужна была ему лишь для того, чтобы скрыть до поры замыслы честолюбца. Становиться монахом и заживо хоронить себя в отдаленных монастырях отнюдь не входило в его планы. Москва и Кремль манили его. Это легко прочитывается в биографии, рассказанной покровителям московского «господарчика» в Речи Посполитой. В итоге после нескольких переходов из монастыря в монастырь Лжедмитрий оказывается в Чудовом монастыре и, служа у самого

патриарха, бывает даже во дворце. Косвенным образом это свидетельствовало об определенных талантах самозванца и должно было производить впечатление на слушателей. Он охотно рассказывал о своих успехах московским спутникам, а князю Адаму Вишневецкому, наоборот, ничего об этом не известно. Все, что он знает, — отзыв какого-то не названного по имени монаха, угадавшего в самозванце «царские черты».

Испугавшись, что об этом донесут Борису Годунову, Григорий Отрепьев решает скрыться «в Литве». И это единственное объяснение причины его ухода из Москвы!

Из переписки короля Сигизмунда III со своими канцлерами и сенаторами, из писем князя Адама Вишневецкого и воеводы Юрия Мнишка становятся видны мельчайшие детали начальной истории так называемого московского «князика» уже в самой «Литве». Здесь важны даже оттенки смысла, например то, что Дмитрия никогда не называли русским «царевичем». В Речи Посполитой не признавали царский титул московских великих князей и, естественно, его не переносили на того, кто назвал себя сыном Ивана Грозного. Строки письма Сигизмунда III канцлеру Яну Замойскому 15 февраля 1604 года хорошо показывают, что достоверной информации о происхождении *«человека народа Московского»,* назвавшегося Дмитрием, не было. Королевские секретари слышали о потомке Ивана IV все тот же рассказ Лжедмитрия в передаче князя Адама Вишневецкого:

«Тот, который в настоящее время выдает себя за сына Иванова, передает следующее: его *preceptor* (учитель), человек благоразумный, заметивши, что умышляют на жизнь того, который поручен был его опеке, взял — при появлении тех, которые должны были убить Димитрия, — другого младенца, отданного ему на воспитание, который ничего не знал об этом обстоятельстве, и положил его в постель Димитрия; таким образом, этот младенец, неузнанный, ночью в постели был убит, — а того учитель укрыл, потом отдал в надежное место для воспитания; подросши, уже по смерти учителя, он — для прикрытия себя — поступил в монахи и затем отправился в наши пределы; отсюда признавшись и объявивши, что он сын великого князя, отправился к князю Адаму Вишневецкому, который дал нам знать о нем, а мы приказали, чтобы он прислал его к нам»[10].

По сравнению с тем, что запомнил и сообщил ранее королю Сигизмунду III князь Адам Вишневецкий о Дмитрии, в королевском письме есть некоторые отличия. Из письма канцлеру Яну Замойскому неясно, когда появился в Речи Посполитой человек, выдающий себя за сына правителя соседнего государства. Получалось, что он сначала широко объявил о своем

происхождении, а потом с этим отправился именно к князю Адаму Вишневецкому. Самостоятельность самозванца явно была преувеличена. Князь Адам Вишневецкий, даже получив приказ короля, почему-то, как писал король, все не мог доставить в Краков выходца из Московского государства. Более того, до короля доходил слух, что «Димитрий отправился к низовым казакам с тем, чтобы при помощи их занять московский престол».

Канцлера Яна Замойского и других сенаторов Речи Посполитой, получивших аналогичные послания короля Сигизмунда III, явно пытались убедить в достоверности рассказа названного Дмитрия. Для этого сообщали об отзывах знатного перебежчика из Смоленска и других лазутчиков, говоривших о «тревоге великой», вызванной в Москве известием о появлении Дмитрия. Отыскался якобы и некий «инфлянтец» (выходец из Ливонии), который служил царевичу Дмитрию в Угличе и даже был там в момент нападения на него. Нунций Клавдий Рангони доносил об этом в Рим: «Король, узнав, что у литовского канцлера Сапеги находится ливонец, который, взятый в плен во время войны короля Стефана в Ливонии, был назначен с другими служить Димитрию, которому было тогда 10 или 12 лет, и что этот ливонец хвастается тем, что узнает Димитрия при свидании, приказал послать его к Вишневецкому. Когда он был допущен к Димитрию, последний признал его своим прежним слугой, а ливонец также узнал Димитрия благодаря бородавке, которая у него на носу, и одной руке, которая короче другой; кроме того, они узнали друг друга по разным признакам на теле того и другого»[11].

В Посольском приказе впоследствии выяснили имя беглого ливонца и узнали, что это был некий Петруша, холоп Истомы Михнева, ставший в Литве Юрием Петровским. Московские дипломаты говорили, что «служил он на Москве у сына боярского у Истомы Михнова, а звали его Петрушею, а не Юрьем Петровским, а был он в Лифлянской земле году или дву, и рос у Истомы Михнова в ыменье на Туле; а на Углече он николи не бывал, и царевича Дмитрея не видал, и у нас таких страдников ко государским детем не припускают»[12].

Опять непонятно, почему вместо того, чтобы подробнее расспросить этого человека о том, что он мог помнить, его тайно послали к князю Вишневецкому. По каким-то известным только инфлянтцу «знакам на теле Дмитрия» и «по многим обстоятельствам, упомянутым в это время в разговоре Димитрием», слуга нашел его «истинным сыном Ивана». Кстати, что это за деталь с разной длиной рук Дмитрия, напоминающая о сухоруком горце, захватившем власть в Кремле в середине XX

века? Не объяснялся ли заметный у Лжедмитрия психологический комплекс властолюбия постоянной необходимостью скрывать свой физический недостаток? Пусть это и предположение, но нам ведь так мало известно о характере самозванца, что аналогия с другими эпохами может оказаться уместной.

Видимо, «московский царевич» понял, что его проверяют, и оказался готов к этому. Хотя из всей истории заметно, что слуга Юрий Петровский, напросившийся на службу для проверки подлинности «князика», был весьма заинтересован в успехе опознания — в ином случае лжецом могли объявить и его самого. А сколько таких «признаний» у самозванца еще впереди!

В своем письме король Сигизмунд III дополнительно приводил мнение «некоторых сенаторов» (это, без сомнения, все те же князья Вишневецкие и Мнишки), считавших, что от всей этой истории может быть «добро Речи Посполитой». Однако канцлеру Яну Замойскому при его авторитете в делах Речи Посполитой уже давно и из первых рук все было известно о «наследнике» московского престола. Князь Адам Вишневецкий сразу же обратился к нему с письмом, где рассказал о находящемся у него «москвитянине, который называет себя сыном московского князя Ивана Васильевича». По сути, это самое первое известие об объявлении Лжедмитрия. Князь Адам спрашивал совета, что ему делать со случайно попавшим в его дом человеком, который признался ему, что он сын Ивана «Тирана Великого княжества Московского». Лжедмитрий говорил ему, что нуждается в помощи короля Речи Посполитой, чтобы получить престол своих предков[13]. Существует черновик ответного письма канцлера Яна Замойского (к сожалению, недатированного и неизвестно, отправленного ли вообще). Из него выясняется, что Замойский советовал князю Вишневецкому отнестись ко всему с осторожностью: «Весьма часто подобные вещи бывают правдивы, но часто также и вымышлены»[14]. В любом случае он советовал обо всем известить короля и, самое интересное, предлагал прислать Лжедмитрия, чтобы «присмотреться» к нему и «разузнать» бы его. Дошло или нет это предложение до князя Адама Вишневецкого, неизвестно, историческая встреча Замойского с Лжедмитрием не состоялась. Воевода Юрий Мнишек и сам Лжедмитрий обратятся к нему с письмами и просьбами о поддержке, когда будет получено главное благословение на поход в Москву — короля Сигизмунда III. Сандомирский воевода, в отличие от князя Адама Вишневецкого, до поры не очень посвящал в детали канцлера Яна Замойского.

Король обратился за советом, что делать с московским

«князиком», и к другим сенаторам Речи Посполитой. (Окружное письмо было отправлено им в один день с письмом канцлеру Яну Замойскому 15 февраля 1604 года и сообщало те же биографические детали истории «Дмитрия» из донесения князя Адама Вишневецкого.) Ответы, полученные королем, должны были бы отвратить его от поддержки самозванца. Литовский канцлер Лев Сапега, считавшийся главным экспертом во взаимоотношениях с Московским государством, посчитал историю Дмитрия составленной «хитро, но грубо». И это говорил патрон того самого слуги Юрия Петровского, «опознавшего» Дмитрия! «Так себя называющий князек московский» не внушал доверия киевскому воеводе и покровителю православных монастырей князю Константину Острожскому. С большим подозрением писал о нем плоцкий епископ Альберт Барановский 6 марта 1604 года: «Этот московский князек для меня очень подозрительная личность. В его истории есть весьма неправдоподобные факты. Во-первых, как мать не узнала умерщвленного сына? Во-вторых, к чему было убивать еще тридцать детей? В-третьих, как мог монах узнать царевича Димитрия, которого никогда не видел? Самозванство вещь не новая. Бывают самозванцы в Польше, между шляхтою, при разделе наследства; бывают в Валахии, когда престол остается незанятым; были самозванцы и в Португалии: всем известны приключения так называемого Себастиана. Потому без веских доказательств полагаться на Димитрия не следует. Само Священное Писание порицает легковерных, а донесения шпионов и свидетельство одного ливонца не имеют никакого значения»[15].

Но король Сигизмунд III был упрям, он не хотел уступать и следовать предостережениям, прозвучавшим в сенаторских отзывах.

На *истории Григория Отрепьева,* расследованной в Москве, тоже следует остановиться подробнее. Ее восстановили тогда, когда стало известно, что в Литве объявился претендент на русский престол, выдававший себя за царевича Дмитрия. Царь Борис Годунов, узнав об этом, находился в страшном гневе, что отметил автор «Нового летописца»: «Царь же Борис ужастен бысть»[16]. Однако вскоре, когда лазутчики выяснили, кто бежал из Московского государства, и назвали его имя — Юшка Богданов сын Отрепьев, царь немного успокоился.

Кстати, нужно объяснить некоторую путаницу, возникающую с именем самозванца. *Юшка* никак не может быть уменьшительным от *Григорий,* скорее его назвали бы *Гришка. Юшка* — это мирское имя Отрепьева — Георгий, Юрий. В Москве

говорили, что Юшку постригал в дьяконы сам патриарх Иов, и называли его «чернецом Григорием». Если даже патриарх еще помнил мирское имя Отрепьева, то справедливо ли говорить, что до попадания в Чудов монастырь самозванец уже был пострижен в монахи? Не произошла ли смена имени при получении им сана дьякона в Чудовом монастыре? Предлогом для поимки «расстриги» в Речи Посполитой как раз и было обвинение в поругании «иноческого образа», что подлежало церковному суду московского патриарха. Однако людской суд и ненависть к Отрепьеву шли впереди, поэтому его и стали оскорбительно звать Юшкой, подчеркивая, что он лишился права не только на духовное звание, но и на само монашеское имя.

Патриарх Иов стал первым помощником Бориса Годунова в обличении расстриги Гришки Отрепьева. Пока все ограничивалось слухами о самозванце, присвоившем имя «царевича», с ним надеялись справиться с помощью хозяина киевских земель, православного магната князя Василия-Константина Острожского[4]. Незадолго до этого он сам просил помощи у царя Бориса Годунова и патриарха Иова в борьбе с Брестской унией[17]. И вот пришло время подтвердить обоюдные интересы помощью в деле, важном для русского царя. В Москве знали, что Отрепьев ушел в Киев, и надеялись, что киевский воевода поможет его разыскать, арестовать и прислать обратно в Московское государство. С этим предложением от патриарха Иова к воеводе Острожскому был отправлен в посланниках болховский дворянин Афанасий Пальчиков. Он должен был объяснить, какой опасный человек Гришка Отрепьев, но вместо этого сам оказался задержан и пробыл в Литве около полутора лет[18][5].

Патриарх Иов, отправляя своего гонца к киевскому воеводе, называл Юшку Отрепьева «еретиком» и «богоотступником» и просил поймать самозванца, чтобы судить его церковным судом[19]. Однако требования патриарха опоздали, самозванец был уже далеко и в прямом, и в переносном смысле. Константин Острожский не мог самостоятельно решить его судьбу, как это могло быть раньше, когда Григорий Отрепьев только-только появился в Киеве.

Гораздо большие надежды возлагались на другого гонца, отправленного в Литву. Им стал не кто иной, как дядя Григория Отрепьева — Смирной Отрепьев. Автор «Нового летописца» писал, что Смирного послали с посольством в Литву «обличати» племянника, но это не помогло и царь Борис вынужден был двинуть «к Литовскому рубежу воевод своих со многою ратью»[20].

Казалось бы, уж кому, как не родному дяде, можно было усовестить племянника и заставить его отказаться от опасного

дела, уберечь родственника от еще большего гнева раскручинившегося государя. Московские дипломаты так и говорили об этом в наказе послам князю Григорию Константиновичу Волконскому и дьяку Андрею Иванову в 1606 году: «…и бояре послали к паном-раде к польским и литовским в посланцех Смирного Отрепьева, а тот Смирной тому богоотступнику еретику родной дядя, отцу его Богдану родной брат; и к паном-раде бояре о том приказывали, чтоб они тому вору не верили, и велели б дядю его поставити с тем его племянником, которой называется царевичем Дмитреем с очей на очи, и он его воровство объявит».

Хороший план, однако по многим причинам неудавшийся. Смирной Отрепьев вернулся с отказом от панов-рады, сославшихся на то, что «они тому вору ничем не вспомогают и за него не стоят»[21]. Но ко времени царствования Василия Шуйского в Московском государстве уже многое изменилось: самозванец был убит, царя Бориса Годунова официально обвиняли в убийстве настоящего царевича Дмитрия, а в Москве прославляли мощи нового святого. Поэтому из дипломатического документа можно вынести представление, что бояре Московского государства ранее как будто напрямую обращались к панам-раде Речи Посполитой. По справке же польско-литовских дипломатов оказалось, что Смирной Отрепьев, которому поручалось такое важное дело, был направлен, по сути, с тайным поручением! Красивой истории о том, как дядя должен был найти и усовестить племянника, не получалось. Как говорили посланники Станислав Витовский и князь Ян Соколинский в 1608 году, Смирной Отрепьев привез письма к виленскому воеводе (тогда им только-только стал Николай Радзивилл «Сиротка») и канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге. Письма извещали «о невыеханье судей» с литовской стороны для установления новой границы и попутно касались дел о грабежах и обычных пограничных раздорах. Еще одна грамота, посланная со Смирным Отрепьевым, должна была защитить московских купцов, с которых стали взимать дополнительные «пошлины». И все! «А над то в тых кграмотах о том деле, о котором вы теперь пишете, не токъмо и одного слова не было, але о самом Смирном, што его в гонцох посылали по обычаю не написано», — говорили польско-литовские дипломаты. Если это правда, то получалось, что в Москве лишь объявили, будто отправляют в Литву обличать Гришку Отрепьева его родного дядю. Однако Посольский приказ не сделал ничего, чтобы Смирной Отрепьев смог исполнить такое поручение. Эти обстоятельства были использованы для обличения самих московских бояр в измене Борису Годунову: «А што в том стороны

Борисовы ни делали, то вместо оправданья больший его обличали, и якого ему конца жедали, на такий его сами и привели»[22].

Осенью 1604 года царь Борис Годунов перешел уже в настоящее дипломатическое наступление. Дело Григория Отрепьева, назвавшегося царевичем Дмитрием, оказалось более сложным, чем он полагал вначале. С ним не удалось справиться посылкой гонцов и тайными увещеваниями. Стало известно, что слухи о Дмитрии затронули не только Северскую украйну, но проникли на Дон. Знали об этом и в Крыму. Крымский хан Казы-Гирей прислал к Борису Годунову в гонцах «Онтона черкашенина» (запорожского казака), рассказавшего по воле хана («и словом приказывал»), что тот знал о появлении в Литве «царыка» Дмитрия Угличского. Обсуждать этот казус публично Бориса Годунова заставили попытки короля Сигизмунда III подтолкнуть крымцев к походу в Московское государство для поддержки самозванца. С крымской угрозой никогда не шутили, поэтому гневный окрик царя Бориса Годунова — «бесермян на крестьян накупает» — прямо прорывается сквозь сглаженные фразы посольских наказов.

В сентябре 1604 года, как раз в то время, когда отряды московского «царевича» готовились пересечь границу с Московским государством, для обличения Лжедмитрия и поддержавшего его короля Сигизмунда III в Литву был отправлен посланник Постник Огарев. Целью его посольства было извещение сейма Речи Посполитой о позиции Московского государства. В официальной грамоте из Посольского приказа, адресованной Сигизмунду III и сохранившейся в переводе на старобелорусский язык, использовавшийся в книгах Литовской метрики, говорилось:

«Ведомо нам учынилосе, што в вашом господарстве объявилсе вор, розтрыга, чернец, а наперод того был он в нашом господарстве в Чудове монастыре в дьяконех и в Чудовского архимандрыта в келейниках, чернец Грышко; а и Щудова монастыра для писма был у богомольца нашого Иева патрыарха Московского во дворе. А до чернечества в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепеева. А як был в миру, и он по своему злодейству отца своего не слухал, впал в ересь, и воровал, крал, играл в зернью, и бражничал, и бегал от отца многажда; и заворовався, постригся у черницы и не оставил прежнего своего воровства, як был в миру до чернечества, отступил от Бога, впал в ересь и в чорнокнижье и прызыване духов нечыстых, и отреченья от Бога у него вынели. И богомолец наш Иев патрыарх, уведав про его воровство, и прызванье нечыстых духов и чернокнижья, со

всим вселенским собором, по правилом светых отец и по соборному уложенью, прыговорыли сослати с товарышы его, которые с ним были в совете, на Белое озеро в заточенье на смерть»[23].

Возможно, что именно отсюда почерпнул канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега сведения о самозванце, игравшем в кости («зернью»). Однако, осуждая плебейскую игру, правители и сановники с увлечением сами продолжали политическую игру вокруг имени погибшего царевича Дмитрия.

Московские дипломаты, пожалуй, были слишком усердны в собирании компрометирующих Юшку Отрепьева сведений. Трудно представить, что человек, известный столь порочными наклонностями — воровством, пьянством и пр., — легко мог поступить по сути в придворный Чудов монастырь. Из других источников известно, что там монашествовал дед Юшки Отрепьева Замятия, который и мог походатайствовать за внука, получившего сан дьякона. Конечно, ему не хотелось, чтобы внук повторил судьбу сына — стрелецкого сотника Богдана Отрепьева, зарезанного, как говорили, в пьяной драке в Москве.

Об отце Григория Отрепьева, кроме этого, обычно ничего и не вспоминают. Более того, грамота Постнику Огареву неожиданно говорит о непослушании Отрепьева своему отцу — видимо, в целях подчеркнуть еще один грех «расстриги». Несомненно, что отношения с отцом повлияли на сына, но каким образом? Например, распространенное имя Богдан («Богом дан»), которым могли назвать подкидыша или незаконнорожденного, — почему его носил отец Григория Отрепьева? К сожалению, история рода Отрепьевых так глубоко не прослеживается, и мотивы выбора Замятнею Отрепьевым имени Богдан для своего сына остаются для нас скрытыми. Идею «царственного» происхождения, в случае подтверждения версии о появлении у Отрепьевых незаконнорожденного ребенка, мог внушить Юшке отец Богдан Отрепьев. Он же мог объяснить сыну происхождение некоторых царских признаков, якобы имевшихся на теле самозванца, и даже передать ему какие-то реликвии — в том числе золотой крест, использованный, по некоторым известиям, самозванцем для утверждения своей версии. Уверенно же можно сказать об одном: живя со своей тайной, Юрий Отрепьев явно стремился поступать иначе, чем полагалось сыну обычного служилого человека…

В «Новом летописце», автор которого первым собрал многие рассказы о Смуте, тоже сохранилась одна из версий происхождения Лжедмитрия. Со временем эта летописная книга стала особенно популярной, на ее основе составлялись новые компиляции и своды, сам памятник сохранился во множестве

списков XVII–XVIII веков. Многие исследователи видят в «Новом летописце» едва ли не официальную версию событий[24]. Тем интереснее содержащаяся здесь развернутая повесть о Лжедмитрии с красноречивым названием «О настоящей беде Московскому государству, о Гришке Отрепьеве».

Появление «окаянного чернца» Гришки представлено как наказание от Бога за грехи всей Русской земли. Рассказ о семье галичских дворян Отрепьевых начинается издалека, все старшие члены рода перечислены по именам, начиная с деда Замятии, его двух сыновей, Богдана и Смирного, и кончая сыном Богдана Юшкой, будущим Лжедмитрием. Автор летописи, безусловно, хорошо знаком с канонами житийного повествования и неожиданно использует его в рассказе о жизни Юшки Отрепьева, только резко сменив полюса. В житии святых обычно говорилось о ранних проявлениях святости, часто о книжном прилежании будущего святого. Эта черта, присущая праведникам, упомянута и в рассказе о начале обучения Юшки Отрепьева грамоте в Москве, но с оговоркой: «Грамота ж ему дася не от Бога, но дияволу сосуд учинися и бысть зело грамоте горазд»[25].

Автор «Нового летописца», видимо, пытался установить, где будущий московский царь-расстрига принял монашеский постриг, но не преуспел в этом. Все, что он мог сообщить о Григории Отрепьеве, — это то, что он «во младости пострижеся на Москве, не вем где». По какой-то причине он отверг версию «Иного сказания», прямо указывавшего на то, что Отрепьев принял постриг в Москве под влиянием беседы с игуменом вятского Успенского монастыря Трифоном (в конце XVII века тот станет местночтимым святым). Во время знакомства с будущим чудотворцем Трифоном Григорию Отрепьеву было 14 лет. Другие известия «Нового летописца» и «Иного сказания» о пребывании юного чернеца в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, напротив, совпадают. Архимандрит Левкий, по словам летописи, «даде его под начало духовному старцу». Годичное послушание у старца тоже является свидетельством «правильной» монашеской биографии будущего самозванца. Однако дальше по неизвестной причине монах Григорий оставил Суздаль: «…из тово ж монастыря уйде и прииде в монастырь в Спаской на Куксу и жил ту дванадесять недель». Несмотря на эпический стиль повествования «Нового летописца», рассказано здесь о совершенно рядовом событии. Спасо-Кукоцкий монастырь находился около Гаврилова Посада, на расстоянии одного дневного перехода от Суздаля (дорога на Гаврилов Посад начинается сразу от стен Спасо-Евфимиева монастыря)[26]. Двенадцать недель — это почти три месяца. Проведя их в Спасо-

Кукоцком монастыре, Отрепьев «вспомнил» о своем деде Замятие — постриженнике кремлевского Чудова монастыря. При этом в летописи сказано так, будто Лжедмитрий только тогда услышал про деда и познакомился с ним: «И слышаше о деде своем о Замятие, что пострижен в Чюдове монастыре, и прииде в Чюдов монастырь, и в Чюдове монастыре живущу ему, и поставлен бысть во диаконы».

Словом, из начальной биографии Григория Отрепьева автору «Нового летописца» было известно примерно о полутора годах, проведенных тем в суздальских монастырях. Поступление в Чудов монастырь при поддержке деда Замятии оказалось для будущего самозванца более чем успешным. Известия о его талантах быстро дошли до патриарха Иова, который «слышав про нево, что изучен бысть грамоте, и взят его к себе х книжному писму. Он же живяше у патриярха и начат сотворяти каноны святым». Здесь автор «Нового летописца» повторяет сведения, собранные Посольским приказом еще во времена Бориса Годунова в 1604 году, с одним важным отличием: в летописи полностью пропущено упоминание о службе Григория Отрепьева в келейниках у чудовского архимандрита Пафнутия, впоследствии митрополита Сарского и Подонского[27]. Умолчание более чем красноречивое, тем более что в «Новом летописце» приведены уникальные известия о том, как в Чудовом монастыре раньше всех столкнулись с «опасностями», идущими от Григория Отрепьева. Именно чудовскому архимандриту, должно быть, пришлось разбираться с разговорами, вызванными шутками Григория Отрепьева, опасно затрагивавшими царское имя. «Ото многих же чюдовских старцов слыхав, — записал летописец, скорее всего, со слов одного из монахов, если не самого настоятеля, — яко в смехотворие глаголаше старцом „яко царь буду на Москве“. Они же ему плеваху и на смех претворяху».

В «Новом летописце» содержится и рассказ о том, как началось преследование Григория Отрепьева, в результате чего он едва не оказался в ссылке. Причиной перемен в жизни патриаршего книжника и чудовского дьякона автор летописца называет донос ростовского митрополита Ионы. Вроде бы он первый заметил и сказал патриарху Иову, «яко сий чернец самому сатане сосуд есть». Патриарх, по версии «Нового летописца», не обратил внимания на слова ростовского митрополита, тогда тот донес на Григория Отрепьева уже «самому царю Борису». Царь Борис быстро распорядился отправить чудовского инока «на Соловки под крепкое начало». Исполнить этот приказ было поручено первому дьяку Приказа Большого дворца Смирному Васильеву, перепоручившему все дело другому дворцовому дьяку,

Семейке (Семену) Ефимьеву[28], оказавшемуся родственником Отрепьевых («той же Семейка тому Гришке свой»). Это и позволило Григорию Отрепьеву выиграть время и бежать из Москвы. Казалось бы, этим объяснением «Нового летописца» можно было бы удовлетвориться. Если бы не одно обстоятельство: митрополит Иона занял ростовскую и ярославскую кафедру только после 25 марта 1603 года, то есть уже тогда, когда Григорий Отрепьев находился в Литве!

В тексте «Нового летописца» маршрут бегства инока Григория обозначен слишком замысловато: сначала он бежал в родные галичские места, в Железноборский монастырь, где «поживе немного», оттуда переходит в муромский Борисоглебский монастырь. Дальше строитель Борисоглебского монастыря выдал ему монастырскую лошадь и отпустил в дорогу на Северу. (Вообще-то «строителями» называли основателей монашеских обителей, а в этом монастыре архимандриты были известны уже с середины XVI века, да и Северская дорога шла не через муромо-рязанские земли, а тульские и калужские города!) Летописец знал о том, что вместе с будущим Лжедмитрием находился «Мисайло Повадин с товарыщем», но ничего не написал о Варлааме Яцком, «Извет» которого совершенно по-другому рассказывал об обстоятельствах знакомства и ухода из Москвы трех чернецов. Единственное, в чем совпадали «Новый летописец» и «Извет» Варлаама, это в том, что «Гришка» в итоге оказался в новгород-северском Спасском монастыре, откуда и ушел в Литву в сопровождении своих спутников.

Вообще, сравнивая свидетельство поздней летописи с другими документами «розыска» о Лжедмитрии, можно заметить очень мало совпадающих деталей. Подчеркну лишь, что авторы посольской грамоты, отправленной польскому королю Сигизмунду III с Постником Огаревым в 1604 году, признавали незаурядные таланты дьякона Чудова монастыря Григория, за которые тот и попал в келейники к чудовскому архимандриту и был взят для письма на Патриарший двор. Более того, считается, что Григорий Отрепьев сочинил в Чудовом монастыре службу митрополиту Петру. И хотя сам текст этой службы не разыскан, факт литературного творчества Григория Отрепьева не подвергается сомнению[29]. Еще более интересно было бы узнать, почему будущий самозванец составлял службу именно этому московскому чудотворцу. Возможно, что здесь присутствовал некий «заказ» патриарха Иова, если не самого царя Бориса Годунова. Когда в 1598 году была составлена «Утвержденная грамота» об избрании Бориса Годунова на царство, то один ее экземпляр был положен в раку митрополита Петра! Крестом

митрополита Петра благословили на царство в 1605 году царевича Федора Борисовича Годунова[30]. Позднее Борису Годунову припомнят потревоженные из-за светских дел мощи чудотворца и обвинят его в кощунстве. Но когда он сидел на престоле, новая служба святому митрополиту Московскому Петру должна была подчеркнуть силу небесного покровительства русским самодержцам. И записал слова этой службы, по всей видимости, чудовский чернец Григорий Отрепьев!

Грамота, выданная Постнику Огареву, показывала большую осведомленность Посольского приказа в том, что происходило в Литве с «царевичем» Дмитрием. В ней прямо обвинялись князья Вишневецкие в поддержке самозванца, и связывалось это с пограничными конфликтами. Известно было в Москве о ходивших в Северской украйне «воровских грамотах» и о том, что к самозванцу потянулись казаки с Дона. Возмущение вызывало то, что самозванец послал к ним свое знамя, «подкупаючы их на наши украинные места»[31]. Но главным и прямым обвинением королю Сигизмунду III были попытки «накупить» на Московское государство крымских людей. Царь Борис Годунов выражал сильное недоумение и обвинял короля: «…крестьянского кроворозлитья жедаешь, и ведомого вора богоотступника и геретыка розтрыгу называешь господарским сыном… И крестьянским господарем так делати не годитца»[32].

Конечно, в Москве были готовы и к более серьезным угрозам со стороны Османской империи и не пугались их («хотя ты и Турского на нас учнешь накупати, не только Крымского»), но о нарушении «мирного постановленья» и начале «кроворозлития» обещали немедленно известить еще и императора «Священной Римской империи» (ему подчинялись земли Австрии, Германии, Италии, Чехии и ряд других королевств), а через него папу римского и другие государства. И это обещание было выполнено.

В ноябре 1604 года, когда в Северской земле уже началась война с самозванцем, из Москвы в Прагу был отправлен гонец к римскому императору Рудольфу II. Он вез грамоту, в которой снова рассказывалось о расстриге. Однако чем сильнее хотели избавиться от Отрепьева, тем более увязали в этой истории. Беглого монаха Григория и его «фантазии» должны были обсуждать при всех европейских дворах. В зависимость от его дальнейшей судьбы, от того, кто его поддерживает, ставилось заключение общего союза христианских стран против османской угрозы. Такая связь судьбы названного Дмитрия с одним из самых важных вопросов европейской дипломатии того времени поневоле должна была казаться неслучайной.

В Праге еще до получения грамоты царя Бориса Годунова уже

знали о появлении «Дмитрия» в Речи Посполитой и о той поддержке, которую он получил. В донесении Гейнриха фон Логау императору Рудольфу II в мае 1604 года рассказывалось, что король Сигизмунд III якобы успел даже заказать для сына московского царя «несколько сотен блюд» и комплект другой «серебряной утвари с вырезанным на всех предметах гербом». При этом король Сигизмунд будто бы каждый день встречался с «молодым князем» у королевича Владислава![33] Несмотря на эти преувеличения, истинная цель поддержки самозванца была хорошо понятна дипломатам Священной Римской империи, видевшим, как с помощью этого претендента в Речи Посполитой хотели свергнуть московского царя.

В конце 1604-го — начале 1605 года в Праге получили просьбу вмешаться в спор Московского государства и Речи Посполитой и известить обо всем папу Климента VIII. Просьба исходила непосредственно от царя Бориса Годунова, по сути предупреждавшего о начале войны между двумя государствами из-за одного «негодного плута Григория». В этой грамоте, как и в документе, выданном ранее Постнику Огареву, содержалась официальная версия московского правительства о Григории Отрепьеве. Рассказ о самозванце в ней совпадал в основных чертах с тем, о чем московские дипломаты писали ранее в Речь Посполитую, хотя получалась какая-то непонятная путаница с именами. В одной грамоте говорилось, что «в монашеском чине» Лжедмитрий был назван Григорием, а в другой — Георгием. К тому времени выяснилось, что расстрига Григорий служил ранее во дворе у Михаила Никитича Романова (погибшего в ссылке и опале, постигшей весь род Романовых). Точная отсылка к службе у Романовых имела для Годунова большое значение. Известно, что царь Борис, узнав о появлении самозванца, сразу же стал обвинять бояр в том, что это они направляли его «плутовские» действия. Поэтому свидетельство о службе Григория Отрепьева в холопах у одного из Романовых и было включено в текст грамоты. Борис Годунов продолжал утверждать свою власть и хотел иметь на будущее еще один предлог для обвинений опальному роду.

В грамоте императору Рудольфу рассказывалось, как Григорий Отрепьев отказался не только от монашеского одеяния, но и «изменил наружность» (значит, в Чудовом монастыре у него могли быть длинные волосы и борода?). Но были и более существенные детали. В тексте грамоты помимо косвенных упреков Романовым содержалось прямое обвинение короля Сигизмунда III, который «по совету чинов» воспользовался беглым монахом и «подучил» его назваться именем царевича Дмитрия, погибшего в Угличе в 1591 году. В адрес самозванца прозвучали

развернутые обвинения в «чернокнижничестве», в «вызывании злых духов», составлении каких-то «писаний». Правда, становилось непонятно: как человек, пользовавшийся столь дурной славой в миру, был «рукоположен в священники» в Чудовом монастыре и взят патриархом Иовом «для писания книг»?

Желание расправиться с неуязвимым и неуловимым противником было столь сильно, что зачем-то в грамоте стали рассуждать об отсутствии прав на престол у настоящего царевича Дмитрия. Напоминали, что он «родился от седьмой жены, взятой по склонности, но вопреки всем законным правилам церкви», после чего был отправлен на удел в Углич вместе с матерью. Совсем неудачен был в ряду упреков королю Сигизмунду III речевой оборот с предположением о возможном спасении угличского удельного князя: «…и даже допустив, что у них пребывает оказавшийся в живых истинный князь Димитрий Углицкий, а не злостный мошенник Григорий, именующий себя князем Димитрием, все же ради него не подобало бы им нарушать заключенного на известное число лет мира и начинать кровопролитную войну, а следовало бы по поводу всего этого предварительно снестись с нами»[34]. «Некий беглый отступник Григорий Отрепьев» лишь однажды был упомянут в ответном письме Рудольфа II, которого больше интересовало единство христианских государств перед «все большим распространением турецкого могущества и тирании». Император соглашался выступить арбитром в ссоре Бориса Годунова и написать увещевательное письмо Сигизмунду III, чтобы тот перестал поддерживать самозванца, «придававшего себе титул князя Димитрия Углицкого». Впрочем, официальный ответ из Праги сильно запоздал. Он датирован 16 июня 1605 года, то есть тем временем, когда ни Бориса Годунова, ни Лжедмитрия уже не было в живых[35].

Совпадало ли то, что сообщали о Гришке Отрепьеве в дипломатической переписке, с грамотами, рассылавшимися внутри страны? В разгар войны с самозванцем к обличению Григория Отрепьева снова подключился патриарх Иов, обратившийся к пастве с окружным посланием, подтвержденным авторитетом освященного собора[36]. 14 января 1605 года была отправлена патриаршая грамота в сольвычегодский Введенский монастырь, в которой содержались те же обвинения королю Сигизмунду III, что и в текстах дипломатических грамот: «… преступил крестное целованье и мирное постановление порушил… умысля с паны радными, назвал страдника, вора, беглеца государьства нашего, черньца ростригу Гришку

Отрепьева, будтось он князь Дмитрей Углецкий». Впрочем, эти обвинения еще не были такими прямолинейными, как станут позднее. Патриарх Иов признавал, что король «мимо себя» послал воевод вместе с литовскими людьми и запорожскими казаками, чтобы помочь самозванцу. То есть, по сути, в Московском государстве было известно об отсутствии официальной поддержки у военного предприятия расстриги Григория Отрепьева. Хотя на такие частности мало кто должен был обратить внимание, слишком серьезным оставалось главное обвинение — в нарушении мира и начале войны в Северской земле.

Что же сообщали в стране о Лжедмитрии? Главное, что это был «страдник, росстрига и ведомой вор, в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев». В подтверждение рассказывали некоторые подробности его биографии. Во-первых, что он жил «у Романовых во дворе» (напомним, что императору Рудольфу II написали более точно, назвав имя Михаила Никитича Романова). Романовы были в опале, поэтому в дополнительное свидетельство их вины могли легко поверить. Следующая, «монашеская» часть жизни Григория Отрепьева освещена в самом общем виде и с явными противоречиями. Якобы Григорий Отрепьев, «заворовався от смертныя казни, постригся в чернецы». Королю Сигизмунду III и императору Рудольфу, наоборот, писали о том, что самозванца осудили на «пожизненное заточение» в Белоозеро или «на смерть», что и стало причиной его побега из Москвы. Это, конечно, более похоже на правду, учитывая карьеру, сделанную Григорием Отрепьевым. По словам патриаршей грамоты, Лжедмитрий побывал «по многим монастырем и в Чюдовом монастыре во дьяконех». Не смог скрыть патриарх службу Отрепьева на патриаршем дворе: «Да и у меня Иева патриарха во дворе для книжного писма побыл во дьяконех же».

Из этих грамот стали также известны имена еще двух людей, ушедших в Литву вместе с Григорием Отрепьевым, — Варлаама Яцкого и Мисаила Повадина[37].

Знакомство на Варварском крестце

Встреча самозванца со своим спутником Варлаамом Яцким произошла где-то на Варварке, в нескольких сотнях метров от Фроловских ворот Кремля. Из них, скорее всего, и должен был выйти чудовский чернец Григорий Отрепьев, чтобы двинуться в сторону хорошо ему известного двора опальных Романовых на Варварском крестце (так, по свидетельству знатока старинной Москвы Ивана Егоровича Забелина, называли всю улицу со

множеством перекрестков)[38]. Мысленно повторяя этот маршрут, надо помнить и о базарной толпе, оккупировавшей пространство нынешней Красной площади, и о безмолвном величии храма Покрова, «что на рву», и о том, что манило обычного монашка, отвлекая его от размеренного обихода монастырских служб. Двигаясь в толпе людей, занятых своими обычными делами, Григорий Отрепьев уже вступил на ту дорогу, которая гнала его прочь из столицы. Но никто еще не знал о его замыслах.

В те дни на Варварке, рядом с двором Романовых, жило посольство канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги с его многочисленной свитой. Не с поляками ли и литовцами искал встречи будущий Лжедмитрий? Договор между Московским государством и Речью Посполитой, устанавливающий перемирие на двадцать лет, был почти заключен, однако сразу устоявшиеся посольские обычаи измениться не могли. А это значит, что без ведома приставов никто из посольской свиты не смог бы свободно разгуливать по Москве. Да и известно было, что приставы могли донести на тех любопытных, кто знакомился с иноземцами. Встречи Григория Отрепьева с поляками и литовцами были еще впереди, в самой «Литве». А пока никто бы и не догадался, что чернец Григорий высматривал таких же монахов, как и он сам…

Хорошо известно, что, став царем, бывший инок Григорий Отрепьев выказывал незаурядные способности. Нет сомнений, что и до этого он отличался известной сообразительностью. Чудовский дьякон, видимо, догадался, как использовать чернецкую одежду, в которой ему трудно было оставаться незаметным, для осуществления своего замысла ухода из Москвы в Литву. Восстанавливается этот ловкий план Григория Отрепьева с помощью «Извета», челобитной Варлаама Яцкого, того самого, кого будущий самозванец встретил на Варварском крестце. Варлаам бесхитростно передавал как все было, вспоминая, с каких слов начиналось их знакомство, что и как они обсуждали в день встречи.

Во-первых, всё происходило очень быстро. Во-вторых, все, кого будущий самозванец посвящал в свои планы, знали только то, что им было положено знать. Руководил всем Отрепьев, но он умел сделать так, чтобы оставаться в тени. В-третьих, весь замысел был обречен на успех. У Григория Отрепьева было чутье политика, всегда знающего, какой шаг нужно сделать, чтобы оказаться немного впереди своего окружения.

О времени ухода Григория Отрепьева в Литву ведутся споры. Считается, что это мог быть 1601 год, а сам побег связывается с обстоятельствами дела Романовых. Но Варлаам Яцкий очень точен в деталях и хорошо помнил даты всех событий. Так, он

запомнил, что его встреча с Григорием Отрепьевым на Варварском крестце в Москве состоялась «во 110-м году, в Великий пост, на другой недели в понедельник». Упоминание начала Великого поста 7110 года по эре от Сотворения мира дает очень надежную дату — конец февраля 1602 года от Рождества Христова. Понедельник второй недели Великого поста пришелся в том году на 23 февраля.

Что же такое, кроме ожидания близкой весны, носилось тогда в воздухе, что заставило Григория Отрепьева действовать, и, судя по всему, без особого времени на раздумья? Может быть, верна правительственная версия о каком-то церковном суде, который осудил Григория, и он вместо того, чтобы смириться с приговором, предпочел побег на литовскую сторону? Но Григорий Отрепьев имел возможность самостоятельно выходить в город. Могло ли быть такое, когда бы его собирались отослать в суровую ссылку? Не логичнее было бы видеть его под строгим началом и караулом, а не свободно разгуливающим по городу?

Варлаам Яцкий запомнил, как Григорий Отрепьев сам подошел к нему, «сотворил молитву» и почтительно заговорил. Поначалу разговор казался обычным. Григорий расспрашивал монаха Варлаама, «старец которыя честныя обители», «и которой де чин имееши, крылошанин ли, и как имя?».

Все не случайно в этом разговоре двух монахов. Будущему Лжедмитрию нужно было убедить выбранного им монаха в своем благочестии — ведь все, что он хотел, — это уйти из Москвы под предлогом паломнического путешествия к Святым местам, а потому и разговор он начал, лишь «сотворив молитву» (может, и вправду сказался годичный опыт послушания у старца в Суздале, о чем говорилось в «Новом летописце»?). Хотя Варлаам, видимо, лишь по возрасту относился к старческому чину. Возможно, что Лжедмитрий искал встречи именно с Варлаамом, заранее выяснив что-то про него. В пользу такой предусмотрительности самозванца говорит быстрота, с которой он получил согласие старца на уход из Москвы. Варлаама Яцкого, служившего какое-то время в Чудовом монастыре, знали тамошние монахи. А Варлаам Яцкий, в свою очередь, сразу спросил про деда Григория Отрепьева — Замятию, тоже чудовского инока, и других Отрепьевых: «И яз ему говорил, что тобе Замятия, да Смирной Отрепьевы? И он мне сказал, что Замятия ему дед, а Смирной дядя»[39]. Как и Отрепьев, старец Варлаам тоже был выходцем из служилого рода уездных дворян. Он даже успел послужить в холопах во дворе князя Ивана Шуйского, но потом вынужден был «в немощи» постричься в монахи. Не исключено, что Варлаам Яцкий рассказал кому-то о своем желании уйти из Москвы, но

ему нужен был спутник и помощник, и об этом стало известно Отрепьеву.

То, что у Лжедмитрия все было решено до этой встречи, показывает его договор с крылошанином Мисаилом Повадиным. Варлаама Яцкого удивило, что инок Григорий при первой встрече умолчал, что уговорил пойти из Москвы еще одного спутника, но тогда старец не придал этому значения. Мисаила Повадина он тоже знал по службе во дворе у Шуйских, втроем им еще легче было путешествовать по опасным подмосковным дорогам, где из-за разразившегося в стране голода «шалили» разбойники.

Вспоминая об уходе Лжедмитрия из Москвы, обычно не задумываются, что в это время в Московском государстве случились «глад» и «меженина». Келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, автор одного из первых сказаний современников о Смуте, начинал ее отсчет с этих событий: «О начале беды во всей России и о гладе велицем и о мору на люди»[40]. Весной 1602 года уже было тяжело достать хлеб, потому что морозы, начавшиеся в августе, не дали собрать урожай. Люди, оставшиеся без хлеба, конечно, не были брошены на произвол судьбы. Правительство Бориса Годунова как могло сопротивлялось угрозе голода. Царь Борис пытался установить твердые цены на хлеб, посылал деньги, чтобы завершить строительство Смоленской крепости, организовывал в столице то, что сегодня назвали бы общественными работами. Следуя провозглашенной им политике заботы о своих подданных, раздавал милостыню, широко отворял ворота государственных житниц и не жалел собственную казну. Умерших от голода хоронили за государственный счет.

Однако какие бы меры ни принимал царь Борис Годунов, изменить людей он не мог. Вместо справедливой цены на хлеб получались его порча и утаивание зерна. Процветали спекуляция и нажива на бедах тех, кто не имел возможности сделать запасы. Следствием «благих» распоряжений Бориса Годунова стало и разрешение «выхода» крестьян, то есть ухода их от тех владельцев, кто не мог их прокормить. Теперь мало кому интересно, что это касалось только определенной категории землевладельцев, в основном небогатого дворянства из уездов. Царь Борис предлагал лишавшимся не только хлеба, но и всего имущества людям самостоятельно найти себе пропитание и защиту у другого владельца. Расчет был на солидарность дворянства, на то, что крестьяне будут переходить внутри уезда от одного рядового дворянина к другому, а не потянутся в богатые подмосковные вотчины членов Государева двора. Случилось же все только так, как могло случиться:

освобожденные от личной зависимости крестьяне и холопы пошли искать тех помещиков, у которых они действительно могли спастись от голода. Те же, кто не был успешен в таких поисках, были обречены. Ответом стало появление разбойничьих шаек, собиравшихся вокруг Москвы под предводительством некого Хлопка. Главным же следствием небывалого голода стал общественный раздрай с разрушением прежних понятных отношений между «чинами». Каждый стал только «за себя» и спасался как мог.

Будущий Лжедмитрий одним из первых чутко уловил случившиеся перемены. До рядового дьякона кремлевского монастыря просто никому не было дела, и продуманный им уход из Москвы никто тогда и не заметил.

Не случайно и то, что Отрепьев искал «крылошан», то есть иноков, умевших петь на клиросе. Это давало уверенность, что они легко смогут передвигаться от монастыря к монастырю. Знатоки церковного пения всегда были нужны в храмах и в монашеских обителях, за такую службу можно было получать кров и пропитание.

Григорий Отрепьев все равно был осторожен и сначала представил дело так, будто ему надоела Москва. Упомянул он мимоходом и о своей службе у патриарха Иова — как известно, это было правдой. Строгого Варлаама Яцкого должно было привлечь то, что инок Григорий не искал мирской славы и «земного богатства», как он ему говорил. Однако даже Варлааму было понятно, что дьякон Григорий после золота московских соборных храмов и патриаршего дворца не сможет жить в далеком сельском монастыре в Чернигове, куда он звал своего нового знакомого. «И я ему говорил, — писал Варлаам Яцкий в своем «Извете», — что жил в Чудове у патриарха, а в Чернигове тобе не привыкнут, потому что слышал я монастырь Черниговской местечко не великое». Тогда Григорию пришлось приоткрыть еще одну часть своего плана, связанного с уходом в Литву: «И он мне говорил: хочу де в Киев в Печерской монастырь, а в Печерском монастыри старцы многие души свои спасли». Чтобы окончательно убедить Варлаама в благочестивых намерениях, Лжедмитрий сказал и о другом: «Да жив в Печерском монастыри, пойдем до святого града Иерусалима, до Воскресения Господня и до гроба Господня».

Варлаам пересказывал все очень правдиво и близко к смыслу речей Григория Отрепьева. Не мог он ошибиться и в том, что речь шла о паломничестве именно к Святым местам. Идея эта действительно могла возникнуть у чудовского инока под влиянием рассказов о строительстве храма Воскресения в Кремле,

мыслившегося как Новый Иерусалим на Русской земле. Известно, что такие приготовления уже были начаты царем Борисом Годуновым.

Оставалась еще одна давняя проблема паломников — даже сравнительно близкий Киево-Печерский монастырь находился за рубежом, а пересекать границу без государева ведома или одобрения церковных властей было боязно. Но и на это у Григория Отрепьева, знавшего о готовящемся перемирии с Литвой, был готов ответ: «Государь де московской с королем взял мир на двадцать на два года, и ныне де просто, и застав нет»[41].

Паломникам, собравшимся уезжать из Москвы, надо было торопиться, чтобы успеть сделать это по последнему зимнему пути. Поэтому Варлаам Яцкий и Григорий Отрепьев договорились встретиться уже на следующий день в Иконном ряду. Там к ним и присоединился Мисаил Повадин. Все трое пошли в Замоскворечье, вероятно, благочестиво оборачиваясь и крестясь на купола храмов Московского Кремля, куда, как выяснилось впоследствии, Лжедмитрий все-таки намеревался вернуться, но совсем в другом качестве.

За Москвой-рекой наняли подводу, чтобы ехать до Волхова, а там пробираться на Карачев и Новгород-Северский.

«Побег» в Литву

Под воздействием красочной картины в опере «Борис Годунов» обычно говорят о побеге монаха Григория в Литву. Однако всё, что описал А. С. Пушкин в сцене с чтением указа в корчме на литовской границе о поимке беглецов, — не более чем поэтический вымысел. Заставы и указы о поимке бежавших из Москвы монахов тоже существовали, но они появились только тогда, когда Григорий Отрепьев объявил себя в Литве московским царевичем. Да и веселый характер спутника самозванца — старца Варлаама — тоже не соответствует образу, вырисовывающемуся из исторических источников. Скорее даже наоборот, Варлаам Яцкий — пример иноческого послушания, православного ригоризма; это человек с неуспокоенной душой по отношению к нарушениям церковных обетов. Ведь только благодаря этому мы и знаем о самом начале истории Лжедмитрия I, обстоятельствах ухода самозванца в Литву и первых месяцах пребывания там трех выходцев из Московского государства — самого Варлаама, бывшего старшим по возрасту и по монашескому «стажу», Григория Отрепьева и Мисаила Повадина.

Вряд ли вслед за официальной трактовкой истории самозванца в царствование Годунова стоит называть их

«пособниками» самозванца[42]. Они были из тех, кого Лжедмитрий попросту использовал, видя их доверчивость.

Конечной целью предполагаемого паломничества был объявлен Иерусалим, но все закончилось в землях Речи Посполитой, где бывший инок Григорий превратился в «царевича» Дмитрия. Если бы этого не произошло и московские монахи, совершив паломничество, благополучно вернулись обратно, о них никто и никогда бы не вспомнил. Однако волею случая они сделались участниками исторических событий, поэтому все, что случилось с ними с момента знакомства с Григорием Отрепьевым, стало предметом пристального разбирательства.

Из «Извета» Варлаама немного известно о жизни Отрепьева в Новгороде-Северском. Строитель тамошнего Спасского монастыря Захарий Лихарев был рад новым монахам и поставил их петь «на крыл осе». Григорий со спутниками пробыл здесь весь Великий пост. Как писал Варлаам Яцкий, «тот диякон Гришка на Благовещениев день (25 марта. — *В. К.*) с попами служил обедню и за Пречистою ходил». Сразу после Пасхи, приходившейся в 1602 году на 4 апреля, московские монахи засобирались в дорогу. Они нашли «вожа» — проводника, «по имени Ивашка Семенова, отставленного старца». Как опять точно сообщал Варлаам Яцкий, «на третей неделе после Велика дни, в понедельник», то есть 19 апреля, все четверо двинулись сначала на Стародуб, а затем через Стародубский уезд прошли в «Литовскую землю» на Лоев, Любец и Киев.

Описывая уход Григория Отрепьева из новгород-северского монастыря, автор «Нового летописца» и некоторые хронографы сообщали одну примечательную деталь. Будто бы чернец Григорий, успевший быстро стать келейником архимандрита Спасского монастыря, напоследок своеобразно отблагодарил своего благодетеля. В келье архимандрита он оставил письмо с записью: «Аз есмь царевич Дмитрей, сын царя Ивана; а как буду на престоле на Москве отца своего, и я тебя пожалую за то, что ты меня покоил у себя в обители»[43]. Найдя эту «памятцу», спасский архимандрит будто бы посокрушался, но решил все же умолчать о случившемся.

Григорий Отрепьев перед своим уходом говорил, что собирается в Путивль: «Есть де мне в Путивле в манастыре свои», и ничего не подозревавший архимандрит выдал монахам лошадей и провожатого. Однако чернецы «отбиша» провожатого «от себя», когда стояли на развилке дорог в Путивль и Киев. Этот-то провожатый и рассказал обо всем, вернувшись в Новгород-Северский. Поэтому в монастыре должны были понимать, что

невольно стали соучастниками «побега».

Всей этой истории можно было бы поверить, учитывая безрассудное стремление самозванца испытать судьбу и объявить о себе, как о царевиче Дмитрии, что он проделывал даже в Чудовом монастыре. Однако некоторые детали все же не сходятся друг с другом, не говоря уже о дословном цитировании спрятанного от всех письма самозванца. Автору летописи нужно было объяснить, кто рассказал о побеге Григория Отрепьева, почему в монастыре стали искать написанные им «памятцы», и он вписал в канву своего повествования второстепенную фигуру провожатого. Возможно, он слышал рассказ о неком чернеце Пимене, «постриженике Днепрова монастыря», свидетельствовавшем о «расстриге Гришке» на освященном соборе в конце 1604-го — начале 1605 года. Монах Пимен рассказывал, что познакомился с Григорием Отрепьевым «да с его Тришкиными советники» (тогда всех троих иноков обвиняли в уходе в Литву) в новгород-северском монастыре. И что именно его, Пимена, взяли с собой «для знатья дороги». Все вместе они дошли до Стародуба, а там до литовского рубежа. Пимен ничего не рассказывал о возникших спорах: наоборот, по его словам, он провел московских монахов до первого же литовского села и вернулся обратно[44]. Однако более достоверный источник — «Извет» Варлаама — иначе излагает ход событий. По словам его автора, «вожа» звали Ивашкой, а не чернецом Пименом и судьба провожатого сложилась по-другому. «Вож» Ивашка не только не вернулся в монастырь, но так и ушел странствовать со всей троицей; впоследствии он был даже одним из тех, кто наряду с «инфлянтцем» Петровским свидетельствовал перед королем, что это действительно царевич Дмитрий[45]. Вполне можно допустить, что Григорий Отрепьев намекнул об этом своему проводнику, уговаривая его пойти с ними в Киев. Так вчетвером они и явились перед архимандритом Киево-Печерского монастыря Елисеем Плетенецким, разрешившим им остановиться и помолиться там.

Три недели в конце апреля — начале мая 1602 года Григорий Отрепьев прожил в Киево-Печерском монастыре. В эти дни он свободно ходил по Киеву, заходил в иконные лавки и встречался с разными людьми. Почти три года спустя в окружной грамоте патриарха Иова, рассылавшейся в разные города, приводились свидетельства Венедикта — постриженника Троице-Сергиева монастыря, а также посадского человека из Ярославля Степанки Иконника. На освященном соборе их расспрашивали о том, что они знали о пребывании Отрепьева в Киеве. По расспросным речам монаха Венедикта, он «видел того вора Гришку в Киеве в Печерском и в Никольском монастыре в черньцах, да и у князя

Василья Острожского был и дияконил». Ярославский иконник, ездивший в Киев «променивати образов», рассказывал о том же: «Того ростригу Гришку видел он в Киеве в черньцах, и был де он у князя Василья Острожского и в Печерском и в Николском монастыре во дьяконех, и к лавке его приходил в чернеческом платье с запорожскими черкасы»[46].

По этой грамоте заметно, что ее составители стремились подчеркнуть несколько казавшихся им важными обстоятельств. Во-первых, то, что Григорий Отрепьев в Киеве по-прежнему носил одежды монаха и служил церковные службы, — доказав это, можно было смело называть его «расстригой». Во-вторых, то, что «расстриге» оказывал покровительство князь Константин (Василий) Острожский. Это давало повод патриарху Иову напрямую обратиться к нему с грамотой, направленной с Афанасием Пальчиковым. В-третьих, важно было подчеркнуть, что уже в Киеве Григорий Отрепьев стал привлекать к себе запорожских казаков. Для этого использовали рассказ Венедикта, обвинявшего Отрепьева, что тот «учал воровати у запорожских черкасов, в черньцах мясо ести». Венедикт якобы «того страдника вора обличал», донес на него печерскому игумену Елисею и вместе с приданными ему старцами и слугами монастыря пытался изловить Григория Отрепьева у казаков (?!)[47]. А тот, узнав о грозящей опасности, ушел к князю Адаму Вишневецкому.

Впрочем, дорога от Киева до Брагина не была у Лжедмитрия такой прямой и скорой.

В документах, создававшихся во время борьбы с самозванцем, многие детали были не нужны, а скорее всего, просто неизвестны. Еще один короткий рассказ о появлении самозванца вошел в разрядные книги, сообщавшие о начале войны с «расстригой». В них говорилось про то, как царю Борису Годунову стало известно, «что назвался в Литве вор государским именем царевичем Дмитреем Углетцким великого государя царя Ивановым сыном». По розыску выяснили, что это был «ростригa Гришка, сын сотника стрелецкого Богдана Отрепьева, постригшие был в Чюдове монастыре в дьяконех». Наряду с этими общеизвестными фактами, разрядная книга упоминала несколько фактов его дальнейшей «биографии». Говорилось о том, что он в 111-м (1602/03) году «зшол на Северу, и збежал за рубеж в Литву и пришол в Печерской монастырь». Обвинения в «воровстве» адресованы были в разрядах и чернецу Мисаилу Повадину, в то время как имя Варлаама Яцкого в них не упомянуто. Дело в том, что в Чудовом монастыре знали только об уходе своих иноков — Григория и Мисаила, а со старцем Варлаамом Отрепьев познакомился вне стен обители. Пока Варлаам Яцкий не

возвратился в Москву и не представил свой «Извет» новому царю Василию Шуйскому, его участие в «побеге» оставалось неизвестным.

Из истории Отрепьева в Литве в разрядных книгах приводится один интересовавший всех рассказ о том, как состоялось «открытие» его тайны. Сделал он это будто бы уже в Киево-Печерском монастыре, от игумена которого все дело и стало известно в Литве и дошло до короля Сигизмунда III. «И умысля дьяволскою кознью розболелся до умертвия, — разоблачал Григория Отрепьева автор разрядной книги, — и велел бит челом игумену Печерскому, чтоб ево поновил (исповедовал и причастил. — *В. К.*), и в духовне сказал: бутто он сын великого государя царя Ивана Васильевича царевич Дмитрей Углетцкой, а ходит бутто выскуске не пострижен, избегаючи, укрываяся от царя Бориса; и он бы игумен после ево смерти про то всем объявил. И после того встал, сказал, бутто полехчело ему. И тот игумен с тех мест учал ево чтит, чаял то правда, и ведомо учинил королю и сонаторем; а тот Розстрига, сложив чорное платье, сшол к Сердомирскому, называючис царевичем»[48].

Настоящие подробности пребывания Григория Отрепьева в Киеве опять-таки сообщает «Извет» Варлаама (поданный, напомню, бывшим спутником самозванца только в 1606 году). Чернец Григорий не спешил «открывать» свое «царское» происхождение. С его любознательностью и живостью, он, действительно, многое стремился увидеть и понять в чужой стране, порядки в которой разительно отличались от того, что он видел в Московском государстве.

Самым непривычным для православного человека было сосуществование в Речи Посполитой католичества и православия, вплоть до возможности смены веры. Иными были и отношения между магнатами и королем, что было непохоже на привычные отношения между царем и боярами в России. Самозванец был самоуверен, ему казалось, что он везде сможет повторить свои московские успехи и снова обратить на себя внимание князей церкви. Теперь он задумал выслужиться уже у другого, светского «патриарха» православных земель в Литве киевского воеводы князя Константина Острожского.

О челобитной Григория Отрепьева игумену Елисею об отпуске в Острог с укоризной вспоминал Варлаам Яцкий: «И он Гришка похоте ехати к воеводе киевскому ко князю Василию Острожскому». Тем самым Григорий Отрепьев нарушал прежний договор, бывший у чернецов между собою — идти в паломничество к Святым местам. Игумен Елисей Плетенецкий не стал разбираться в счетах московских монахов между собой и дал

им примечательный ответ (и урок одновременно), сказав: «Здеся де в Литве земля волная, в коей кто вере хочет, в той и пребывает»[49].

Варлааму Яцкому пришлось подчиниться Григорию и остаться с ним, потому что игумен Елисей Плетенецкий отправил их в Острог всех вместе: «Четыре де вас пришло, четверо и подите». В этих словах содержится некая загадка. Ведь сам Варлаам Яцкий рассказывал о том, что, когда они уходили из Москвы, их было трое — он, Григорий Отрепьев и Мисаил Повадин. Скорее всего, четвертым оказался «Ивашко вож», но возможна еще одна версия, которая весьма привлекательна для тех, кто склонен увидеть в самозванце настоящего царевича! О четырех монахах, ушедших из Москвы, рассказывалось в «Сказании о царстве царя Феодора Иоанновича» (компилятивном памятнике, созданном в середине XVII века). Двое из них — Григорий Отрепьев и Мисаил Повадин. А двое других — чернец Венедикт и чернец псковского Крипецкого монастыря Леонид. Имена всех четверых названы и в антигодуновских памятниках более раннего времени — «Повести, како отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову» и «Повести, како восхити царский престол Борис Годунов» (она представляла собою переработку «Иного сказания»)[50]. Чернецом Венедиктом мог быть тот самый постриженник Троице-Сергиева монастыря, который свидетельствовал на освященном соборе о жизни Отрепьева в Киево-Печерском монастыре. Но этот чернец Венедикт признавался, что «сбежал в Клев из Смоленска», а не из Москвы.

Загадочный чернец Леонид, упоминающийся в «Повести, како отомсти» и «Повести, како восхити», — реальное историческое лицо. Он известен по более поздним актам времени обороны Смоленска при царе Василии Шуйском. Свидетельство «Сказания о царстве царя Феодора Иоанновича» о том, что Григорий Отрепьев поменялся именами со старцем Леонидом, выглядит интригующим: «…повеле зватися чернцу Леониду своим имянем Гришкою, а сам он еретик дерзнул назватися царским имянем»[51]. Однако более заслуживает доверия все-таки версия «Иного сказания», автор которого исключил упоминание о монахах Леониде и Венедикте как о спутниках самозванца.

Такова особенность позднейших литературных памятников Смутного времени — ставшие известными детали биографии самозванца включались в рассказ летописей и сказаний о «Росстриге». По сообщению очевидцев, в Путивле в 1605 году какого-то человека заставят изображать Григория Отрепьева, и его можно отождествить с монахом Леонидом[52]. Однако деталей ухода Григория Отрепьева из Москвы до появления «Извета»

почти никто не знал. Отсюда и возникающая путаница с именами, обстоятельствами и временем тех или иных событий. Очевидно, что авторы летописей и сказаний пытались убедить своих читателей, что Григорий Отрепьев очень рано отказался от своих монашеских одежд и имени, едва ли не с того самого момента, как ушел из новгород-северского монастыря в Литву.

Не проясняет здесь ничего и обычно хорошо осведомленный Варлаам Яцкий. По его словам, он боролся с отступничеством Гришки от веры, с тем, что тот скинул монашеское платье, а о том, что тот назвался «царевичем» у князя Адама Вишневецкого, узнал вместе со всеми. Хотя можно допустить, что Григорий Отрепьев еще раньше открылся своим спутникам в Литве, но Варлаам Яцкий об этом умолчал.

Когда странствующие монахи летом 1602 года пришли в Острог, то они получили в дар книгу. 14 августа на ней была сделана запись — кажется, в два приема, но одним и тем же почерком. Сначала было написано: «Лета от Сотворение миру 7110-го месяца августа в 14 день сию книгу великого Василия дал нам Григорию з братьею с Ворламом да Мисаилом». Затем под именем Григория было подписано «царевичу московскому» и изображена подпись: «Констянтин Констиновыч нареченный во светом крещеный Василей Божиею милостию пресветлое княже Острозское, воевода Киевский»[53].

Запись на книге не может окончательно считаться аутентичной, доказать ее принадлежность Григорию Отрепьеву невозможно. Хотя если принять текст записи как еще один аргумент в истории царевича Дмитрия, то она подтверждает известия сказаний о Смуте, говоривших о том, что Отрепьев рано стал объявлять о себе как о царевиче. В любом случае оставалось еще ровно два года до того момента, когда будет собрано войско самозванца для похода в Московское государство.

Григорию Отрепьеву не удалось пробиться, как он того желал, к князю Константину Острожскому, православному магнату, покровителю наук и книгопечатания. Башни Острожского замка надежно охраняли его от более серьезных нашествий, чем приход назойливых просителей. Ничем особенным основателя Острожской академии московский монах, лишенный знания языков и начал европейской учености, привлечь не мог. Разве что своим рассказом про «царевича». Однако нунций Клавдий Рангони, наводивший справки об Отрепьеве, выяснил, что гайдуки из свиты киевского воеводы грубо вытолкали Григория Отрепьева. Сам князь Константин Острожский открещивался от сомнительного знакомства с самозванцем, а вот его сыну, князю Янушу Острожскому, этот

московский хлопчик оказался знаком, он даже знал, что монах Григорий жил где-то в Дерманском монастыре, находившемся под покровительством его отца.

Хронология путешествия Григория Отрепьева в Литве неясна. Как говорил Варлаам Яцкий, лето 1602 года московские паломники провели в Остроге, и это подтверждается записью на книге, подаренной им князем Василием-Константином Острожским. Осенью же их разделили: Варлаама и Мисаила послали в Троицкий Дерманский монастырь, а Григорий «съехал в Гощею город к пану Госкому»[54]. Там, в арианской школе в Гоще, которой покровительствовал киевский каштелян и маршалок двора князя Константина Острожского Гавриил Гойский, случился переломный момент в биографии Григория Отрепьева.

Внешне это выражалось в том, что, по словам Варлаама Яцкого, Лжедмитрий «иноческое платье с себя скинул и учинился мирянином». Но этим поверхностным изменениям должен был соответствовать более глубокий пересмотр в Литве всей прежней жизни дьякона Григория. Самозванец делал выбор в пользу узнанных в Литве начал веротерпимости, защитивших его от назойливой опеки Варлаама Яцкого в Киеве, а потом и в Гоще. Не стесняясь своего прошлого, Григорий Отрепьев решил учиться — как писал Варлаам в «Извете», «учал в Гощее учитися по латынски и по полски и люторской грамоте».

То, что вызывало осуждение, граничащее с ужасом, у правоверных московских людей, самозванец воспринимал более расчетливо. Он понял главное: пытаясь обрести поддержку в Речи Посполитой, надо хоть как-то научиться объясняться по-польски. Но и прямолинейных ходов у него не было, он больше не стал добиваться славы в православных обителях, чтобы все-таки обратить на себя внимание неприступного князя Острожского. Не переметнулся он немедленно к католикам, что оттолкнуло бы от него православных казаков Запорожской Сечи, на которых он очень рассчитывал в будущем. В соревновании двух вер — православия и католичества — он сначала заинтересовался… третьей — арианством, протестантским течением анабаптизма, принявшим название древней ереси. Ариане IV века считали Бога Сына творением Бога Отца и пытались оспорить основной догмат Церкви об их единосущем характере.

Богословский спор о Троице в начале XVII века также отрицал некоторые постулаты символа веры, принятого на Никейском соборе в 325 году. Воображение далеко могло увести непривычного к дискуссиям монаха Григория. В арианской школе ему заново предстояло задуматься об отражении истины в книгах Священного Писания, принять Христа как человека, признать за

церковными таинствами только их обрядовую сторону, задуматься о соотношении светской и церковной властей. Читал ли он при этом труды Фауста Социна, главного учителя ариан, другие полемические книги против католиков, — неизвестно. Известно другое, что польская шляхта чтила этого ополяченного итальянца, жившего неподалеку от Кракова[55]. Так Лжедмитрий сразу же соприкоснулся с самыми острыми и «модными» вопросами той эпохи в Речи Посполитой. Он не мог быть полноценным участником этих споров, но на любого шляхтича московский монах, слышавший нечто о Социне, должен был произвести впечатление.

Ряд арианских идей, дававших рационалистическое истолкование природе Божества, мог повлиять на Лжедмитрия, обретшего в Гоще большую степень личной свободы и явно ставшего иначе относиться ко всей обрядовой стороне церкви, отрекаясь от своего рукоположения в дьяконы. Однако не стоит забывать и простой мотив, связанный с тем, что голодные лета переживались не только в Московском государстве, но и в Речи Посполитой. Автор «Баркулабовской летописи» описывал, «яко ж в тых роках 600, 601, 602 великие силные были незрожаи, также голоды, поветрее, хоробы, бо в летех тых бывали летом великие морозы, силные грады»[56]. Даже если «гнев Божий» в виде «непогоды», по свидетельству жителя белорусских земель, пощадил в 1602 году Киев с Волынью, все равно эти места должны были привлечь многих спасавшихся от голода. Поэтому латинские глаголы и спряжения не должны были стать самым тяжелым испытанием для гостя, проведшего в Гоще зиму и весну 1602/03 года.

Остановка у ариан, ставшая «рубиконом» для Лжедмитрия, заставляла его идти дальше, если он еще не оставил свои мысли называться «царевичем». Когда не получилось (да и не могло получиться) стать доверенным человеком князя Константина Острожского, Григорий Отрепьев выбрал других православных магнатов — князей Вишневецких. Они были не менее, если не более интересны ему. План Лжедмитрия, вероятно в деталях обдуманный в голодную гощскую зиму, был прост: вина в том, что он, «царевич», вынужден скрываться в Литве, лежала на нынешнем царе Борисе Годунове, и, чтобы «вернуть» себе царство, надо было идти походом на Москву. Кого мог привлечь безвестный московский «царевич»? Только врагов Бориса да казаков, которые пошли бы воевать за жалованье и военную добычу. Вся эта конструкция достижения Московского царства держалась на уверенности самозванца, что он истинный царевич, поэтому все его поддержат, как только он объявит о себе. Как ни

странно, но все сработало, подтвердив, что в простоте действительно бывает какая-то сила, побивающая разумные доводы.

Князья Вишневецкие идеально подходили для того, чтобы помочь Лжедмитрию, тем более что он им тоже мог оказаться нужен. С середины XVI века, со времен первого гетмана Запорожской Сечи князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого, прозванного казацким атаманом «Байдой», этот род православных магнатов Великого княжества Литовского был хорошо известен в Москве. Князь Дмитрий Иванович, выводивший свое происхождение от великих князей литовских, даже какое-то время был служилым князем Ивана Грозного, получив во владение Белев с уездом. Князья Вишневецкие сумели вести наступательные войны с Крымом и Турцией, они защищали оказавшееся исторически разделенным православное население прежних Новгород-Северского и Черниговского княжений. Земли с московской стороны назывались «Северой», «Сиверой» или Северской землей. «Украинные» же земли со стороны «Литвы» оказались во владении князей Вишневецких, активно их осваивавших, строивших свои села и городки там, где недавно были пустые места от столетних войн и татарского разорения. Таким образом, пограничные споры между Москвой и Литвой были прежде всего личным делом князей Вишневецких.

Незадолго до появления Лжедмитрия в Брагине у князя Адама Вишневецкого случилась небольшая война между московскими стрельцами и княжескими гайдуками, закончившаяся тем, что по приказу Бориса Годунова были сожжены спорные городища Прилуцкое и Снетино. В Московском государстве считали, что они были поставлены на «государевой стороне». Король Сигизмунд III предпочел не вмешиваться и не ссориться с восточным соседом. Следовательно, князьям Вишневецким нужно было самим думать о том, как компенсировать свои потери и ответить обидчику — царю Борису Годунову.

Лжедмитрий приехал в Брагин к самому слабому из князей Вишневецких, представителю младшей ветви рода князю Адаму Вишневецкому. В характере князя Адама любовь к шумному веселью и питию сочеталась с истовой поддержкой православия. Все это Григорий Отрепьев должен был увидеть, вступая в мае 1603 года в «оршак»[6] княжеских слуг. (Он пропал из видимости старца Варлаама после «Велика дни» — Пасхи, приходившейся по юлианскому календарю на 24 апреля.) Имея опыт подобной службы у боярина Михаила Никитича Романова, погибшего в ныробской земляной тюрьме, Григорий Отрепьев мог сравнить

свою холопскую службу в Москве с княжескими выездами в Речи Посполитой. Однако что за перспектива могла быть у московского хлопчика, хотя и имевшего навыки удальца, которые он потом будет демонстрировать в царских охотах, но все же чужеземца? Год, проведенный в «Литве», был достаточен для того, чтобы имевший острый ум Григорий Отрепьев понял, как действовать дальше. И вот наступил самый важный момент в его истории, связанный с окончательным преображением вчерашнего московского чернеца в сына Ивана Грозного, потомка великокняжеской и царской династии Рюриковичей…

На этот раз у Григория Отрепьева не могло быть никаких экспромтов и шуток. Он хорошо подготовился к тому, чтобы разыграть свою партию, изобразить болезнь, в которой и открылся духовнику, назвавшись московским «царевичем». Впрочем, детали в истории открытия «тайны» царевича известны из русских, а не польских источников, что несколько снижает достоверность таких свидетельств. Князь Адам Вишневецкий вообще говорил, что этот человек случайно появился в его доме и сразу открыл ему свои планы. Автор же канонического для восприятия Смуты «Нового летописца», напротив, приводил детальный рассказ о «болезни» Отрепьева. Ей посвящена отдельная статья летописи: «О Гришке ж, како назвася царевичем лестию будто перед смертию»:

«Той же окаянный Гришка дияволом научен бысть: написа список, како преставися царь Иван и како царевича Дмитрея царь Федор отпусти на Углеч и како повеле ево Борис убити и како будто ево Бог укрыл; в его место будто ж убиша углецково попова сына, а ево будто крыша бояре и дьяки Щелкаловы по приказу будто ся отца ево царя Ивана, и како будто ево не можаше укрыть и проводиша ево в сю Литовскую землю».

В первой части этой летописной статьи присутствуют мотивы истории, идущей от Лжедмитрия, такой, какой она сохранилась в передаче князя Адама Вишневецкого, писавшего донесение королю Сигизмунду III. Только это касается общих сведений о судьбе царевича Дмитрия. Больший акцент в ней сделан на тех частностях, которые могли обсуждаться в царствование Бориса Годунова в Москве, а не в доме князя Вишневецкого. Например, деталь о том, что был убит некий сын угличского попа, явно была несущественной в польских версиях, в то время как в летописи ей почему-то придавали значение. А ведь это противоречило «Следственному делу» о гибели царевича Дмитрия. Обвинение боярам и могущественным дьякам Щелкаловым — любимчикам Ивана Грозного, испытавшим охлаждение к себе при правителе Борисе Годунове, тоже было значимо прежде всего для

московского дворца. И совсем неизвестно, какими путями был занесен в Москву дальнейший рассказ о притворстве Лжедмитрия, которым он достиг желанной цели — признания своего выдуманного царского происхождения:

«Сам же злодей, по дьяволскому научению ляже, будто болен, едва будто может слово отдати. Той же писмо сохрани у себя тайно под постелю и повеле призвати к себе попа будто исповедатца и злым своим лукавством приказываше попу тому: „по смерти моей погреби мя честно, яко же царских детей погребают; и сия тебе тайны не скажу; а есть тому у меня всему писмо вскрыте под моею постелею; и как отойду к Богу, и ты сие писмо возми и прочти ево себе втайне, никому ж о том не возвести: Бог уже мне так судил“. Поп же, то слыша и шед, возвести то князю Адаму. Князь же Адам прииде к нему сам и вопрошаше ево во всем. Он же ничево ему не отвещеваше. Князь Адам же у нево под постелею начат обыскивати. Он же будто крепляхуся, не хотяще будто тово свитка дати. Той же князь Адам, взят у нево сильно и посмотрив тот свиток, и впаде в ужас и не ведяше, что сотворити; не хотя тово утаити, взят ево и поеде с ним х королю на сойму»[57].

«Новый летописец» достаточно однозначно говорит о притворстве Лжедмитрия. Самозванец точно рассчитал, как будет воспринята «предсмертная» исповедь царского сына, открывшего свою тайну только духовнику и просившего, чтобы обо всем стало известно лишь после его смерти. Конечно, русских людей очень интересовали обстоятельства появления «царевича Дмитрия» у Вишневецких, и они могли услышать об этом от самого князя Адама во время его приезда в Москву к царю Дмитрию (а потом еще и во время другого его визита — к Лжедмитрию II в Тушино). Однако чем больше рассказывал князь, тем больше должно было появляться фантастических деталей. В итоге в качестве главной версии утвердился простой сюжет: объявление Григорием Отрепьевым себя «царевичем» в болезни, мнимой или настоящей.

Вопреки мнению автора «Нового летописца» князь Адам Вишневецкий не испытывал от рассказа никакого «ужаса». Первоначально, как он написал канцлеру Яну Замойскому, его даже одолевали закономерные вопросы, уж слишком невероятной казалась вся история. Князь Адам большое время пребывал *«in dubio»* (в сомнении), причем настолько, что ему пришлось впоследствии оправдываться перед канцлером Яном Замойским, что он не сразу его обо всем известил. Но потом к Дмитрию приехали какие-то два десятка «москвичей» и признали в нем того, кому Московское государство принадлежало *«iure naturali»* (по праву происхождения)[58]. В полном соответствии с

принципами римского права, которому когда-то учился князь Адам Вишневецкий, он стал трактовать свои сомнения в пользу подопечного. Для хозяина Брагина появился отличный повод повеселиться…

Король Сигизмунд III сам обратился к князю Адаму Вишневецкому тогда, когда до него дошли слухи о том, что кто-то в его землях назвался сыном Ивана Грозного. До «сойму» (сейма), упомянутого в «Новом летописце», оставалось еще больше года. Веселый князь сильно постарался, чтобы разнести слухи о московском «господарчике» по своим знакомым и родственникам. А среди них были как другие Вишневецкие, так и знать из главных магнатских родов — Замойских, Радзивиллов, Сапег, Ходкевичей.

Варлаам Яцкий записал в «Извете» о преображении вчерашнего чернеца Григория в «царевича»: «А тот князь Адам бражник и безумен, тому Гришке поверил и учинил его на колесницех и на конех ездити и людно»[59]. В воображении рисуется некое подражание римским триумфам, хотя все могло быть и проще: на Варлаама произвело впечатление само передвижение в княжеских каретах и мирском платье вчерашнего чернеца, которого возили «представляться» при магнатских дворах.

Князь Адам Вишневецкий мог шутить столько, сколько ему было угодно. Но для Григория Отрепьева наступило самое главное время, когда пути назад уже не было, а чтобы двигаться вперед, надо было постоянно подтверждать свою версию. Адам Вишневецкий не слишком годился на роль того, кто помог бы вернуть престол «Дмитрию». И здесь случай привел самозванца в дом князя Константина Вишневецкого в Заложцах, а затем и в дом его тестя, сандомирского воеводы Юрия Мнишка, в Лашках Мурованых. Год 1603-й свел их всех вместе: Лжедмитрия, князей Вишневецких и Мнишков.

Состоявшаяся в начале этого года свадьба князя Константина Вишневецкого с Урсулой Мнишек (сестрой будущей русской царицы Марины Мнишек) сама по себе не имела бы никакого значения в русской истории, если бы не знакомство молодоженов с «Дмитрием». Князь Константин Вишневецкий представлял старшую ветвь рода князей Вишневецких (он был и по возрасту чуть старше князя Адама). К тому же новый родственник Мнишков был католиком, и уже по одной этой причине его слова становились более весомыми для короля Сигизмунда III.

О чем просил князя Константина названный Дмитрий, нетрудно догадаться. Ему нужна была помощь в призыве на службу запорожских казаков. Однако князья Вишневецкие не

могли действовать сами, без одобрения короля. Уже при первой встрече с князем Адамом Вишневецким «наследник» московского престола заговорил о получении необходимой ему поддержки со стороны короля Сигизмунда III. Лжедмитрию нужны были казаки, но и казакам нужен был предводитель. Казаки сопротивлялись любой попытке их организовать, заставить действовать в «государственных» интересах; они уходили в походы в Валахию, Крым или Московское государство, создавая постоянное напряжение на границах Речи Посполитой. А потом требовали жалованья, самовольно налагая дань на местное население, беря его в «приставство» с целью получения денег и пропитания. Попытки привлечь запорожцев для ведения военных действий в Инфлянтах не принесли желаемого результата, — к великому неудовольствию короля Сигизмунда III, казаки провалили шведский поход.

Двенадцатого декабря 1603 года король Сигизмунд III запретил своим универсалом набор новых казаков, а также продажу в Запорожскую Сечь селитры, пороха и олова — то есть всего того, что могло использоваться для стрельбы из пушек, дабы предотвратить «своволенство» (емкое слово, происходящее от польского «swawoleństwo» и обозначавшее своевольство и самоуправство) казаков и разбойных людей, называвшихся их именем[60]. В чем оно проявлялось, исчерпывающе выразил понятными без перевода словами автор «Баркулабовской летописи»: «своволенство: што хто хочет, то броит». Посланцы короля ездили на Украйну и в другие литовские земли, предупреждая дальнейшие казачьи грабежи: «На тот же час был выежды от его крол[евское] милости и от панов и рад, напоминал, грозил козаком, иж бы они никоторого кгвалту в месте, по селах не чинили»[61]. Королевские указы распространялись и в приграничных землях с Московским государством, где упомянутый универсал переписал агент Бориса Годунова. В этих условиях попытки Лжедмитрия агитировать самостоятельно и привлекать к себе запорожских казаков не могли иметь никакого успеха. Хотя поездки к нему запорожских и донских казаков и какие-то разговоры о будущем походе в Москву уже начались.

Король Сигизмунд III еще не определил своего отношения к «московскому человеку, назвавшемуся сыном Ивана Грозного». Он тщетно ожидал приезда в Краков князя Адама Вишневецкого, но того постигла какая-то болезнь (возможно, дипломатического характера). Сигизмунд III писал канцлеру Яну Замойскому в 1604 году, что получил «лист» от князя Адама Вишневецкого, извещавшего его о своей болезни и об отсылке по этой причине

«москвитина, князика» с его двоюродным братом князем Константином Вишневецким[62]. Продолжал король советоваться и с нунцием Рангони, а также своими канцлерами и сенаторами. Большая игра вокруг имени Дмитрия только-только начинала разворачиваться, и, к прискорбию самозванца, он был в ней всего лишь пешкой.

Обретя в лице князя Константина Вишневецкого более высокого покровителя, Лжедмитрий зимой 1603/04 года впервые попал в дом Мнишков и в замок в Самборе. Там московский «царевич» стал гостем тестя князя Константина Вишневецкого — сандомирского воеводы и сенатора Речи Посполитой Юрия Мнишка. Тогда же он должен был впервые увидеть Марину Мнишек, если их встреча не состоялась еще раньше в имении князей Вишневецких… Но что романтического, кроме возможных мечтаний 15-летней девушки и 22-летнего молодого человека, могло там происходить? «Спрашивается, однако — чувствовала ли она сама к своему избраннику ту таинственную симпатию, которая служит залогом счастья? — задавался вопросом о. Павел Пирлинг, думая о переживаниях Марины Мнишек в те самборские дни. — Или же прельстил юную польку блеск царской короны? Марина никому не открыла своей девической тайны; таким образом, каждый волен думать о ней, что угодно»[63].

Конечно, появление необычного гостя привлекло внимание всех членов семьи Мнишков. Но только отец Марины принимал решение о возможной свадьбе дочери с московским «царевичем». У самого же «Дмитрия» пока что не было никаких прав, в том числе и права думать о воеводской дочери как своей невесте до достижения им московского престола. Тайна чувств Марины Мнишек должна остаться нераскрытой, дочь сандомирского воеводы была лишь ведома обстоятельствами. Расчеты на этот брак можно предполагать и со стороны Юрия Мнишка, и со стороны Дмитрия. Мысль о дочери воеводы как будущей московской царице все-таки надолго овладела самозванцем. Когда он станет царем, то будет добиваться исполнения своего желания вопреки очень многим обстоятельствам. Словом, намерения Дмитрия были «серьезные», однако он всегда должен был помнить, что ценою согласия на его брак с Мариной была московская корона. Пока же московскому «царевичу» предстояло продолжить обучение, которым занялся пробощ (настоятель и глава коллегии духовных лиц) самборского костела монахов-бернардинцев Франтишек Помасский. И неожиданно новый ученик стал делать большие успехи в стремлении к католичеству.

Католическому священнику удалось подготовить московского прозелита к смене веры, но не удалось разобраться в его душе.

Лжедмитрий показывал, что готов на все, — но соблюдая осторожность. Традиционные для православных сомнения «о происхождении Святого Духа» не только от Бога Отца, но «и от Сына» (то есть споры о «филиокве»), о «власти папы» обсуждались им еще в Кракове[64]. Однако, чтобы достичь желаемого, ему придется целовать руки короля, сменить веру и обещать в приданое полцарства, которого у него пока что не было.

Глава вторая
ЯВЛЕНИЕ «ЦАРЕВИЧА»

Краковские смотрины

Играя на чужих слабостях и интересах, «царевич» прошел еще часть пути к власти — от Самбора до Кракова, куда князь Константин Вишневецкий и Юрий Мнишек привезли его в начале марта 1604 года. Пребывание Лжедмитрия в Кракове началось с банкета, устроенного воеводой Юрием Мнишком для сенаторов, находившихся при королевском дворе.

Покровитель «царевича» хорошо знал как действовать. На его настойчивое приглашение откликнулся нунций Клавдий Рангони, запомнивший свое первое знакомство с «Дмитрием», когда тот «сидел почти инкогнито за отдельным столом, но в той же комнате, с некоторыми лицами»[65]. Ближайшие королевские советники могли дать благоприятный отзыв, и путь в Вавельский замок оказался открыт. 15 марта 1604 года состоялась тайная аудиенция Лжедмитрия у короля Сигизмунда III, с рассказа о которой начата эта книга. На встрече у короля присутствовали советники — епископы Петр Тылицкий (впоследствии подканцлер), Симон Рудницкий, а также коронный маршалок Сигизмунд Мышковский вместе с великим писарем литовским Гаврилой Войной.

Нунций Клавдий Рангони описал в своем донесении в Ватикан прием Дмитрия *(Demeirio Moscovita)*. Как оказалось, московский человек, назвавшийся потомком правителей соседнего государства, приготовил для встречи с королем Сигизмундом один известный сюжет из древней «Истории» Геродота. Лжедмитрий сравнил себя с сыном лидийского царя Креза, весьма одаренным юношей, но немым, заговорившим лишь тогда, когда его отцу угрожала смерть от рук персов, взявших Сарды: «Человек, не убивай Креза!»[66] В оригинале у этой истории было продолжение. Крез вспомнил предсказание Дельфийского оракула: «В оный ведь день, для тебя роковой, возгласит он впервые!» Однако Лжедмитрий рассказывал о делах московского «Креза», каковым считали Ивана Грозного, поэтому никто не подумал об угрозе для самой Речи Посполитой.

Больше всего Лжедмитрий говорил о превратностях своей судьбы, о несправедливости, случившейся из-за захвата московского престола его «подданным» Борисом Годуновым. Он просил о заступничестве и помощи в деле «возвращения своих

законных владений». Даже в этот, самый решительный для него, момент Лжедмитрий пытался демонстрировать, что может сделать кое-что и самостоятельно, говоря, что «мог бы прибегнуть к помощи других монархов, но доверяется только его величеству». Вся эта риторика произвела благоприятное впечатление на короля Сигизмунда III. Москвичу милостиво было передано через епископа Петра Тылицкого несколько ободряющих слов. Незнакомец, назвавшийся сыном московского великого князя Ивана, был отпущен с подарками. Король Сигизмунд III наградил его золотой цепью со своим портретом в медальоне, дал «несколько сот злотых наличными» и выделил «несколько тысяч флоринов» из казны (из самборских доходов, которые он никак не мог взыскать с Юрия Мнишка)[67]. Потом в Москве возмущались: «И король деи, и вы, паны-рада, тому баламуту поверили, и дал ему король чепь золоту да золотых несколько тысеч, и во всем деи учали его чтити, кабы прямого государского сына»[68]. А тогда король сделал так, что безнадежные долги управителя самборских королевских имений воеводы Юрия Мнишка могли еще послужить интересам польской короны.

Сигизмунду III могло льстить, что молодой человек, называвший себя сыном московского великого князя, целовал его руку, просил заступничества и помощи в борьбе с узурпатором трона Борисом Годуновым. Именно от короля зависело теперь, будет ли дело московского «претендента» иметь продолжение или нет. Если бы король не был заинтересован в этом деле, то с выходцем из Московского государства могли поступить и так, как советовал один из сенаторов: дать Дмитрию денежное пособие и отправить его в Ватикан. Однако «князик» рассказывал о своем стремлении обратно в Москву, он был уверен, что будет принят там с великими почестями, обещал бескровный переворот, что показательно для «литовской программы» Лжедмитрия.

Политики не имеют роскоши бескорыстно помогать в чужих делах. На что же тогда рассчитывал названный Дмитрий и почему в итоге он получил искомую помощь от короля? Московскому просителю уже в Самборе могли объяснить прямо, чего от него ждали, да он и сам должен был понять, что потраченные на него средства требовали гарантий. И дальше в Кракове он щедро стал раздавать единственный капитал, которым мог распоряжаться самостоятельно, — обещания. Всем, кто встречался с Дмитрием в те дни, было от него что-то нужно, и он сумел обратить чужие ожидания в свою пользу.

Одна из первых встреч была с краковским епископом Бернардом Мациевским, двоюродным братом Юрия Мнишка. Глава Краковской академии (Ягеллонского университета)

подарил московскому «царевичу» книгу о соединении церквей, изящно направив его мысли к размышлению над нужным предметом. Через полтора года Бернард Мациевский освятит в Кракове церковный брак Марины Мнишек *per procura* (через представителя) с московским царем Дмитрием Ивановичем. Папа Павел V сделает кардинала Бернарда Мациевского главным «блюстителем интересов веры, затронутых московскими событиями»[69].

Названный сын московского великого князя пользовался также гостеприимством краковского воеводы Николая Зебжидовского. Активность последнего в этом деле осуждал нунций Клавдий Рангони в донесении в Ватикан: «Краковский палатин Николай Зебжидовский был таким ярым сторонником Димитрия, что без ведома его величества предложил ему свои услуги и денежную помощь, если окажется, что москвитяне, действительно, пожелают признать его своим великим князем»[70]. Будущему предводителю знаменитого рокоша шляхты против короля Сигизмунда III в 1606/07 году должен был импонировать лояльный союзник Речи Посполитой, стремившийся занять московский престол. Связи Лжедмитрия с рокошанами окажутся настолько тесными, что впоследствии московского царя Дмитрия Ивановича даже заподозрят в желании самому стать королем Речи Посполитой! Узнав о гибели Дмитрия и поляков, приехавших на его свадьбу с Мариной Мнишек в Москву, рокошане потребуют от короля отмщения. Случится все это уже позже, но будет следствием именно краковской весны самозванца.

Из череды многих важных встреч еще одна оказалась для Дмитрия такой же определяющей, как и аудиенция у короля Сигизмунда III. Нунций папского престола в Кракове Клавдий Рангони по желанию короля тоже лично принял московского претендента 20 марта 1604 года. Вот что нунций Рангони доложил в Рим о своей встрече с Дмитрием:

«Он был чрезвычайно учтив и почтителен, говорил, что уже давно желает представиться мне как здешнему наместнику святого отца, не только для того, чтобы предложить мне свои услуги, но чтобы подробно передать все касающееся его самого (хотя он знал, что вся его история была мне хорошо известна). Кроме того, он просил меня ходатайствовать за него у святого отца (папы. — *В. К.*), прося не только его молитв за справедливое свое дело, но и помощи в борьбе за свои владения, так как обязанность всемирного пастыря — защищать и помогать угнетенным.

Он очень подробно и с некоторым преувеличением рассказал

о том, как тяжко быть лишенным царства слугой своего отца, который достиг высшей власти благодаря коварным замыслам против его жизни, от которых спас его Бог. Не менее тяжело видеть ему терзание, которым тиран подвергает его родину, вследствие чего он умоляет меня ходатайствовать за него у святого отца и у короля»[71].

И опять впечатление оказалось благоприятным для Дмитрия. Он сумел намекнуть на возможную помощь Московского государства в борьбе христиан против турок, когда ему помогут занять престол предков. Но важнее всего для духовного лица могло быть выказанное Дмитрием стремление к переходу в католичество. Для подготовки московского прозелита нунций Рангони приставил к нему настоятеля иезуитского монастыря Святой Варвары Каспара Савицкого. Его делом занимался знаменитый ревнитель католичества Петр Скарга[72]. И это было не случайно. Лжедмитрий обещал папскому престолу решить вековую задачу преодоления христианского раскола, а великая цель требовала участия великих людей. В их планах появление Дмитрия в качестве претендента на русский трон было всего лишь средством, цель оставалась одна — окончательное торжество католической веры на Востоке. О том, чтобы поручить такое дело некатолику, не могло быть и речи! У Лжедмитрия не оставалось выхода. Однако, принимая католичество, он опасно отдалялся от своей цели, понимая, что в Москве не примут царя другой веры. И тогда, продумав все, он убеждает своих покровителей в готовности сменить веру, соглашается и на молитву в костеле, и на исповедь, и на причастие у католического священника Каспара Савицкого. Но при одном условии — чтобы все оставалось тайной!

Переход в католичество Лжедмитрия состоялся в Страстную субботу 17 апреля 1604 года в иезуитском костеле Святой Варвары, расположенном совсем рядом с главным Мариацким собором в Кракове. После этого московский претендент получил возможность обратиться с посланием к папе римскому Клименту VIII.

Это письмо, написанное собственной рукой самозванца на польском языке, сохранилось и разыскано о. Павлом Пирлингом:

«Святейший и блаженнейший во Христе Отец!

Кто я, дерзающий писать Вашему Святейшеству, изъяснит преподобный посол Вашего Святейшества при его Величестве короле польском, которому я открыл свои приключения. Убегая от тирана и уходя от смерти, от которой еще в детстве избавил меня Господь Бог дивным своим промыслом, я сначала проживал в самом Московском государстве до известного времени между

чернецами, потом в польских пределах в безвестии и тайне. Настало время, когда я должен был открыться. И когда я был призван к польскому королю и присматривался к католическому богослужению, по обряду Святой Римской церкви, я обрел, по Божьей благодати, вечное и лучшее царство, чем то, которого я лишился.

Радея о душе моей, я постиг, в каком и сколь опасном отделении и схизме греческого от церковного единения отступничества находится все московское государство, и как греки позорят непорочное и древнейшее учение христианской и апостольской веры Римской церкви.

А посему я чистосердечно, силою незаслуженной (мною) благодати Божией, приступил к этому учению и единению с католическою церковью, и укрепленный церковными таинствами стал смиренною овцою Вашего Святейшества, как верховного пастыря всего христианства.

Хотя я должен скрываться в чаянии того, что со мною сделает Господь Бог, избавивший меня от такой опасности, уповаю, однако же, в том что он посадит меня на отчем, древнем и крови московских царей царстве, переходящем ко мне одному, если (на то) будет его Божья воля, коей я себя всецело поручаю.

Но если не будет Его святой воли и благоволения, достаточно мне и того, что я познал католическую истину и принял спасительное воссоединение с церковью Божьей, которое приведет меня к вечному царствию.

Буде же Господь Бог откроет мне путь в столицу, принадлежащую мне по наследственному праву, и воззрит на мою правоту, я нижайше и покорно прошу, дабы ты, отец всех Христовых овец, не оставил меня без твоего покровительства и помощи. Может Господь Бог мною недостойным (рабом своим) расширить славу свою в обращении заблудших душ и в воссоединении в свою церковь великих народов. Кто знает, на что меня так сохранил, привел к своей церкви и воссоединил (с нею).

Лобызаю ноги Вашего Святейшества, как самого Христа, и, покорно и низменно преклоняясь, отдаю мое повиновение и подчинение Вашему Святейшеству как Верховному Пастырю и отцу всего христианства. Делаю это тайно и, в силу важных обстоятельств, покорно прошу Ваше Святейшество сохранить это в тайне.

Дан из Кракова, 24 апреля 1604 г.

Вашего Святейшества нижайший слуга Дмитрий Иванович царевич Великой Руси и наследник государств Московской монархии»[73].

Даже папе Дмитрий не открывал своей тайны. Он просто

держался заученной версии, которую рассказывал всем, начиная с князя Адама Вишневецкого и не исключая короля Сигизмунда III и нунция Рангони: «Убегая от тирана и уходя от смерти, от которой еще в детстве избавил меня Господь Бог дивным своим промыслом…» И так далее. В письме Клименту VIII содержатся этикетные отречения от греческой схизмы, намеки на воссоединение церквей и народов, покорное стремление «лобызать ноги» римского папы «как самого Христа». Лжедмитрий не забыл упомянуть о своей цели достижения московского престола, но и не связывал с этим напрямую свой переход в католичество, ставя Божий промысел выше своей человеческой судьбы. Однако он подчеркивал, что «должен скрываться», и просил все «сохранить в тайне».

Оценивая степень искренности Лжедмитрия при переходе в католичество, можно легко повторить ошибку современников и посчитать произошедшее следствием его духовного «прозрения». Тогда, в Кракове, «царевичу» поверили все. Но воцарение Лжедмитрия показало, что он использовал смену веры лишь для приобретения необходимой ему поддержки. Самозванец умел влиять на других людей, умел убеждать их, говорить и действовать так, как они ожидали от него. Как политик, заинтересованный в достижении собственных целей, он в последнюю очередь задумывался о нравственных последствиях перехода в католическую веру (если задумывался об этом вообще). С точки зрения политики он победил, получив возможность обратиться с письмом к самому папе римскому.

Определенные затруднения у автора письма и его переводчиков должен был вызвать вопрос о подписи в обращении к папе Клименту VIII. Так на свет появился первый титул Лжедмитрия: «Дмитрий Иванович царевич Великой Руси и наследник государств Московской монархии». Кроме того, письмо было скреплено гербовой печатью с двуглавым орлом под короною и святым Георгием в щите, а также круговой надписью: «Божью милостию царевичь Московский Дмитр Иванович»[74].

Свое послание Дмитрий передал для отправки в Рим на новой аудиенции у нунция Клавдия Рангони 24 апреля 1604 года. Утром он исповедовался у отца Каспара Савицкого, в середине дня был принят нунцием, а вечером уже должен был оставить Краков.

Нунций Рангони был прекрасно осведомлен об успехах Дмитрия, но и ему надо было удостовериться в его полном переходе в лоно католической церкви. Сделать это можно было одним способом — самому исповедовать и причастить московского царевича. Даже о. Павлу Пирлингу было непонятно,

зачем нунций счел необходимым повторить обряд крещения. Клавдий Рангони помазал Дмитрия «миром, слегка ударил по щеке и совершил над ним рукоположение»[75]. Но Дмитрий искренне отзывался на все обряды. В своем донесении в Ватикан нунций упомянул о порыве царевича, упавшего перед ним на колени и пожелавшего, в подтверждение своей искренности, облобызать его ноги, как представителя папы римского. Дмитрия ждал приготовленный нунцием Рангони подарок: золоченый «Агнец божий» — символическое изображение Христа — в напоминание молитвы «Agnus Dei», читавшейся перед причастием. Внес ватиканский представитель и свой посильный вклад в сбор средств на будущий московский поход, одарив Дмитрия двадцатью пятью венгерскими дукатами.

В один месяц Дмитрий завоевал весь Краков. Практически все поддерживали его или по крайней мере интересовались делом московского «царевича». Исключение составлял канцлер Ян Замойский, но его не было в этот момент рядом с королем.

В письме канцлеру Яну Замойскому 23 апреля 1604 года воевода Юрий Мнишек объяснял, почему в итоге Дмитрий оказался под его покровительством: «В то время, как зять мой, его милость князь Вишневецкий, ехал к его величеству королю с тем человеком, который называл себя истинным наследником Московского государства, нужно было и мне, по собственным делам, отправиться к его величеству королю. Потом случилось так, что, отъезжая из Кракова, он оставил его при мне»[76].

Конечно, Мнишек темнил и интриговал. Его целью было привлечь Замойского на свою сторону. Он не рассказывал ему всех деталей, — возможно, из опасения, что эти детали станут известны кому-то еще. В том же письме он просил канцлера Яна Замойского назначить доверенного человека для дальнейшей переписки.

Дело Дмитрия, которого воевода Юрий Мнишек уже называл «царевичем», было в самом разгаре. Сандомирский воевода писал канцлеру, а его подопечный готовился в это время к приему у нунция Рангони и к отдаче своего послания папе Клименту VIII. Получив поддержку короля и представителя Ватикана, «царевич» отправил еще одно письмо — канцлеру Яну Замойскому. Оно предусмотрительно датировано 25 апреля 1604 года — следующим днем после отъезда Дмитрия из Кракова. В любом случае у канцлера уже не было возможности хоть как-то повлиять на развитие событий.

Предваряя отсылку письма Дмитрия, в дело вступал многоопытный Юрий Мнишек. Он всячески стремился убедить канцлера Яна Замойского в том, что уже успел увидеть сам в

«царевиче»: «он именно то лицо, за которое выдает себя». Но что этому было порукой, кроме слов самого Мнишка? Оказывается, как свидетельствовал сандомирский воевода, Дмитрию «пишут из Украйны, давая знать, что кроме небольшого количества московских приверженцев царствующего там в настоящее время Бориса, весь народ тамошний ожидает его с великою охотою; с прибытием его, пишут также, была бы большая надежда — овладеть государством без кровопролития»[77].

Опять ничего не ясно из того, что говорилось про доброжелателей Дмитрия в Московском государстве: сколько их было, почему они так уверены в победе одного имени Дмитрия? Юрий Мнишек представлял дело так, что сам московский претендент намекнул ему, что был заинтересован в обращении сандомирского воеводы к канцлеру. Мнишку выгодно было говорить, что он всего лишь тот, кто, желая блага Речи Посполитой, помогает Дмитрию. В действительности же все происходило ровно наоборот: получивший признание и поддержку королевского двора Дмитрий помогал воеводе Юрию Мнишку вернуться к делам Короны. Недавно еще сандомирский воевода был должником, подвергавшимся опасности судебного преследования из-за неуплаты доходов с самборских владений короля. Теперь он снова оказывался сопричастен к тайным делам королевского двора, получил от Сигизмунда III карт-бланш на организацию военного похода в пределы соседнего государства (вместе с теми самыми невыплаченными доходами, пошедшими на поддержку Дмитрия). У самого же канцлера Яна Замойского было достаточно возможностей, чтобы узнать всю правду о пребывании московского «господарчика» (как он называл Дмитрия) в Кракове и составить свое собственное впечатление об этом деле.

Самозванец начал свое письмо канцлеру Яну Замойскому с извинений, что до сих пор не написал ему: он порывался сделать это, но «затруднения и хлопоты» останавливали его. Дальше следовала просьба «представить его дела» королю Сигизмунду III со ссылкой на то, что они уже давно должны быть известны канцлеру. В письме есть учтивые комплименты «знатнейшему сенатору Польской короны», однако Дмитрий не забыл упомянуть, что «испытал большую милость» короля. Словом, все, о чем он просил, — благосклонное внимание к его делу. Но даже это справедливо казалось дерзким канцлеру Яну Замойскому. Он попросту проигнорировал личное обращение к нему московского самозванца, подписавшегося пышным титулом: «Ваш, милостивый государь, доброжелательный друг Димитрий Иванович, царевич Великой Росии, Углицкий, Дмитровский, Городецкий и прочих

государь и дедич всех государств, Московской монархии подвластных»[78].

Это было последнее дело названного Дмитрия в столице Речи Посполитой. Инкогнито по требованию короля Сигизмунда III приехал он в Краков и меньше чем через два месяца покинул город признанным наследником Московского царства, «царевичем Великой Росии, Углицким, Дмитровским, Городецким и прочих государем и дедичем всех государств, Московской монархии подвластных». Для московского «царевича», имевшего до этого только одну идею похода на Москву против царя Бориса Годунова, открылись совсем другие горизонты. Он нигде не сфальшивил в следовании своей версии о царственном происхождении и почти всем смог угодить. Король Сигизмунд III негласно разрешил сбор войска и снабдил Дмитрия средствами. Теперь под его знамена могли собираться не одни казаки, а еще и умелые польские рыцари и жолнеры (солдаты), которых призывали в Москву помочь «царевичу» Дмитрию и тем самым добыть славу Речи Посполитой. Но он также должен был увидеть, что от него ждут большего. Нунций Клавдий Рангони вспоминал о том, что «Дмитрий настолько жаждет славы, что слушал охотно и с видимым удовольствием, когда ему говорили, что, совершая соединение церквей и признавая главенство папы, он не только спас бы свою душу пред Богом и души стольких своих подданных, но кроме того он был бы уважаем всеми государствами мира, и что о нем писали бы в истории, и его изображение и дела были бы расписаны в папском дворце, где представлены славные дела других великих императоров и королей»[79]. Новые союзники и покровители Дмитрия даже не предполагали, насколько серьезно воспринял московский претендент их слова о всемирной славе!

Возвращение в Самбор

Душа Дмитрия должна была стремиться в Самбор, где оставалась Марина Мнишек. Он уже достиг того, чем мог бы удовлетвориться обычный авантюрист, сменив монашескую рясу на платье московского «царевича». Однако приживальство в домах знати не было его уделом, он не отступал от своего замысла «возвращения» трона, не останавливаясь перед любыми опасностями и препятствиями. Всех он смог сагитировать и убедить с помощью одних слов, кроме своего главного помощника и советника — воеводы Юрия Мнишка, только ждавшего своего часа.

Со времен древних князей и королей главным способом заключения военного союза была свадьба сыновей и дочерей,

гарантировавшая нерушимость клятв. Этому примеру решил последовать и Дмитрий, назвавшийся сыном Ивана Грозного, с воеводой Юрием Мнишком, сыном Николая «из Великих Кончиц». «Рюрикович» должен был породниться с потомками самого Карла Великого (легенда о родстве с этим императором хранилась в роду Мнишков). Иначе стали воспринимать «Дмитрия» и окружающие, отдавая должное его статусу наследника трона соседней державы. 4 мая 1604 года он присутствовал в качестве почетного гостя на заседании суда в Саноке[80], где познакомился со своими будущими родственниками, семьей саноцкого старосты Станислава Мнишка, брата Марины.

Единственное, что не удавалось ни Дмитрию, ни его покровителю, — так это переломить мнение о «господарчике» канцлера Яна Замойского. Он настойчиво говорил о необходимости отложить все дело до решения сейма и не удостаивал Дмитрия личным ответом. Еще одна попытка переубедить канцлера была сделана 10–11 мая 1604 года. Воевода Юрий Мнишек и Лжедмитрий написали из Самбора новые письма Яну Замойскому.

Торопливость Дмитрия, с самого начала стремившегося быстрее устроить свои дела в Речи Посполитой, овладела и Мнишком, почувствовавшим вкус прежней причастности к делам высшей власти. Сандомирский воевода в первых строках пишет о реакции своего подопечного на молчание канцлера: «Царевич не был доволен высказанными причинами, из-за которых вы ему не ответили. Однако же трудно было не передать ему мнения, какое вы изволили выразить об его деле…» Единственная цель Юрия Мнишка, по его словам, — оправдать свое (и «царевича») стремление скорее начать поход на Москву. Юрий Мнишек писал, что «царевич… опасается только, чтоб при проволочке, терпеливостью своею не причинить себе затруднений»[81]. Сандомирскому воеводе казалось, что в правах на престол его протеже «нет никакого сомнения», но понимал он и слабость своих аргументов. Все, что он мог видеть до сих пор, — это приезд к Дмитрию «нескольких десятков москвитян», а среди них, как вынужден был признавать сам воевода, не было «людей знатных фамилий». Единственной гарантией успеха всего предприятия оставалась ненависть к «тирану» Борису. Поэтому воевода Юрий Мнишек не без доли цинизма замечал, что если бы и были сомнения в правах царевича на престол, «то по известиям из Москвы, там его признают за истинного государя и ждут его с большим к нему доброжелательством»[82].

Стороннему наблюдателю, каким был канцлер Ян Замойский, такая непоследовательность показалась легкомысленной, что и

вызвало в ответ язвительное упоминание об «игре в кости».

Лжедмитрий безуспешно добивался от Замойского получения хотя бы какого-то знака внимания. Письмо самозванца представляет собой странную смесь выспренности и одновременно унижения. Однако охотник, искусно расставляющий ловушки соблазна, здесь — «Дмитрий», защищенный обретенным им титулом наследника московской державы. Он опять рассказывает не о себе, а о своей и чужой ненависти к Борису Годунову. Акцент делается на богатствах казны московских царей, присвоенной Борисом Годуновым вместе с правами «Дмитрия»: «Что касается могущества Бориса и сокровищ, я утверждаю, что у него их находится немалое количество…» Нет, «Дмитрий» нигде прямо не говорит канцлеру Яну Замойскому о том, что он готов расплатиться за оказанную поддержку. Он пишет только о своем «чистосердечном желании всяких благ» Речи Посполитой, признавая и уважая ее интересы. Но этого должно было оказаться достаточным…

Еще одна политическая ловушка содержалась в обвинениях Борису Годунову в том, что тот «хочет уже брататься и с нехристями», думая «привлечь к себе царя Татарского». Крымцы всегда играли на противоречиях между Московским государством и Речью Посполитой, поэтому такую угрозу канцлер не должен был пропустить. Уместно, с долей трезвой оценки своей «слабости», «царевич» говорил, что уповает во всем на Промысел Божий (ведь эти слова произносил католик, вверивший свое дело в руки папского престола). Ссылался «Дмитрий» и на затруднения в отношении своего титула, так как никто, кроме воеводы Юрия Мнишка, не называл его «царевичем»[83]. Только гордое молчание Замойского избавило Лжедмитрия от того, чтобы он услышал настоящую оценку своего титула и всей разыгранной им комедии, высказанную канцлером на сейме в следующем, 1605 году.

По иронии судьбы не получил Лжедмитрий ответа и на другое свое послание, отосланное князьям Вишневецким после возвращения из Кракова. Они-то как раз были теми, кого, наоборот, должно было обрадовать признание королем Сигизмундом III «справедливости» прав «Дмитрия», а следовательно, дальновидности самих князей Вишневецких. 19 мая 1604 года, находясь во Львове, наследник московской короны Лжедмитрий обратился с повторным письмом к кому-то из князей Вишневецких (то ли князю Константину, то ли князю Адаму). Он снова подтверждал, что чувствует себя обязанным за поддержку своих дел, и обещал на будущее отплатить тем же. Письмо князю Вишневецкому примечательно тем, что в нем обыгрывалось двойное значение слова «powinny» в польском языке[84]. Вставляя

его после обычного «доброжелательный друг», Лжедмитрий мог еще раз говорить о том, как он обязан адресату, а мог и намекнуть ему на то, что на этот раз обращается к князю Вишневецкому как свойственник.

Основанием для этого стали договоренности о женитьбе «царевича Дмитрия» на Марине Мнишек. Когда начались разговоры об этом и кто был их инициатором, неизвестно. Сохранилась только «ассекурация» (обеспечительный договор), заключенная Лжедмитрием в Самборе 25 мая 1604 года. Весь документ написан рукой воеводы Юрия Мнишка и содержит перечень обязательств «царевича Дмитрия Ивановича», которые он должен был исполнить по достижении им престола. На это дополнительное условие обычно обращается мало внимания. Но сложись все по-другому с делом «царевича», никто и никогда бы не узнал о существовании компрометирующего Юрия Мнишка и его семью документа.

Обещаний было выдано немало, но главным пунктом ассекурации Лжедмитрия становилась его женитьба на Марине Мнишек, о чем от имени «царевича» было заявлено в первых строках:

«Мы, Дмитрей Иванович, Божиею милостию, царевич Великой Русии, Углетцкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих, и всех государств московских государь и дедич.

Разсуждая о будущем состоянии жития нашего не толко по примеру иных монархов и предков наших, но и всех христиански живущих, за призрением Господа Бога всемогущаго, от которого живет начало и конец, а жена и смерть бывает от негож, усмотрили есмя и улюбили себе, будучи в королевстве в Полском, в дому честнем, великого роду, житья честного и побожного приятеля и товарыща, с которым бы мне, за помочью Божиею, в милости и в любви непременяемой житие свое провадити, ясневелеможную панну Марину с Великих Кончиц Мнишковну, воеводенку Сендомирскую, старостенку Львовскую, Самборскую, Меденицкую и проч., дочь ясновелеможного пана Юрья Мнишка с Великих Кончиц, воеводы Сендомирскаго, Львовскаго, Самборскаго, Меденицкаго и проч. старосты, жуп русских жупника[7], котораго мы испытавши честность, любовь и доброжелательство (для чего мы взяли его себе за отца); и о том мы убедительно его просили, для большаго утверждения взаимной нашей любви, чтобы вышереченную дочь свою панну Марину за нас выдал в замужство. А что тепере мы есть не на государствах своих, и то тепере до часу: а как даст Бог буду на своих государствах жити, и ему б попомнити слово свое прямое, вместе с панною Мариною, за присягою; а яз помню свою присягу,

и нам бы то прямо обема здержати, и любовь бы была меж нас, а на том мы писаньем своим укрепляемся»[85].

После произошедшего переворота в мае 1606 года новый царь Василий Шуйский захватит эту ценную бумагу «у розстриги в хоромех» и, сделав перевод, использует договоры с Юрием Мнишком для обличения свергнутого самозванца.

Памятник изощренной интриге и алчности воеводы Юрия Мнишка, не остановившегося перед тем, чтобы поставить на карту судьбу одной из своих дочерей, действительно получился убедительный. Вот что было вписано им в ассекурацию Дмитрия:

«А вперед, во имя Пресвятые Троицы, даю ему слово свое прямое царское, что оженюсь на панне Марине; а не женюся, и яз проклятство на себя даю, утверждая сие следующими условиями.

Первое: кой час доступлю наследственнаго нашего Московскаго государства, яз пану отцу его милости дам десять сот тысеч злотых полских, как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ея (милости) панны Марины, будущей жены нашей, из казны нашей Московской выдам клейнотов драгоценнейших, а равно и серебра столоваго к снаряду ея; буде не самому ея панны отцу, в небытность его по какой-либо причине, то послам, которых его милость пришлет, или нами отправленным, как выше сказано, без замедления дать, даровать нашим царским словом обещаем.

Другое то: как вступим на наш царский престол отца нашего, и мы тотчас послов своих пришлем до наяснейшего короля полского, извещаючи ему и бьючи челом, чтоб то наше дело, которое ныне промеж нас, было ему ведомо и позволил бы то нам зделати без убытка.

Третее то: той же преж реченной панне жене нашей дам два государства великие, Великий Новгород да Псков, со всеми уезды, и з думными людми, и з дворяны, и з детми боярскими, и с попы и со всеми приходы, и с пригородки, и с месты и с селы, со всяким владеньем, и с поволностью, со всем с тем, как мы и отец наш треми государствы владели и указывали; а мне в тех в обеих государствах, в Новегороде и во Пскове, ничем не владети, и в них ни во что не вступатися; тем нашим писаньем укрепляем и даруем ей панне то за тем своим словом прямо. А как, за помочью Божиею, с нею венчаемся; и мы то все, что в нынешнем нашем писме написано, отдадим ей и в канцелярии нашей ей то в веки напишем, и печать свою царскую к тому приложим».

Следовательно, сразу по вступлении в Москву Дмитрий должен был уплатить воеводе «десят сот тысяч золотых польских», иными словами миллион польских монет. Марине Мнишек сначала «на подъем» полагались драгоценности, серебро

и «бархат золотной». Основное же она должна была получить в Москве. Юрий Мнишек видел ее наследственной владетельницей Новгородского и Псковского государств, где бы Марина могла управлять по своему разумению. Даже в том случае, если бы у царственной четы не оказалось наследников, Марине Мнишек давались права наделения вотчинами и поместьями своих слуг: «А будет у нашей жены, по грехом, с нами детей не будет, и те обои государства ей приказати наместником своим владети ими и судити, и вол но ей будет своим служилым людем поместья и вотчины давати, и купити и продавати».

Но главное, будущая царица Марина могла беспрепятственно продолжать исповедовать католичество, основывать новые монастыри, костелы и школы и распространить юрисдикцию римского папы на отданные ей Новгород и Псков. Лжедмитрий обязывался не только содействовать в этом своей жене, но и вести дело к переходу в католичество остальной территории Московского царства: «Также волно ей, как ся ей полюбит, что в своих в прямых уделных государствах монастыри и костелы ставити римские, и бискупы (епископы. — *В. К.*) и попы латынские, и школы поставляти и их наполняти, как им вперед жити; а самой жити с нами; а попы свои себе держати безо всякие забороны, якож и мы сами, з Божиею милостию, соединение сие приняли; и станем о том накрепко промышляти, чтоб все государство Московское в одну веру римскую всех привести, и костелы б римские устроити».

Лжедмитрий вынужден был согласиться на то, что Марина Мнишек, как и он сам, останутся в католической вере («также набоженство свое римские веры держати безо всякие забороны»). Позднее, однако, это станет предметом спора. Еще в Кракове «царевич» просил у нунция Рангони исходатайствовать ему разрешение Ватикана принять причастие из рук православного патриарха. Перед отъездом в Москву о том же лично будет просить папу римского и сама Марина Мнишек.

Одним из важных обязательств, принимавшихся на себя «царевичем Дмитрием», была отсылка посольства к королю Сигизмунду III, который должен был дать разрешение на его брак с Мариной Мнишек. На исполнение договора отводился всего один год, после чего документ терял всякую силу и означал разрыв с Мнишками, если те не согласятся ждать дольше: «А того, Боже, нам не дай, будет те наши речи в государствах наших не полюбятца, и в год того не зделаем; ино будет вольно пану отцу и панне Марине со мною развестися, или пожалуют побольши — того подождут до другого году»[86].

«А яз тепере в том во всем даю на себя запись, — заключал

«Дмитрий», — своею рукою, с крестным целованьем, что мне то все зделати по сему писму, и присягою на том на всем при святцком чину, при попех, что мне все по сей записи здержати крепко и всех русских людей в веру Латынскую привести.

Писана в Самборе, месяца майа 25 дня, лета 1604. Дмитрий царевич».

Некоторое время спустя этих договоренностей Юрию Мнишку уже показалось недостаточно. В благодарность за свою поддержку он потребовал передачи еще одной части Московского царства, примыкавшей к землям Речи Посполитой. «Царевичу Дмитрию» ничего не оставалось, как пообещать раздел Смоленской и Северской земель между двумя домами его покровителей — будущих родственников Мнишков и Вазов в лице короля Сигизмунда III. 12 июня 1604 года он подарил Юрию Мнишку и его наследникам эти два княжества вместе «с городами, замками, селами, подданными и со всеми обоего полу жителями», а половину Смоленской земли и шесть городов в «Северском княжестве» отдал королю[87]. Список городов «Северского княжества», перечисленных в особой росписи, выданной Юрию Мнишку в июне 1604 года, включал основные города этой земли: Рыльск, Карачев, Почеп, Трубчевск, Комарск, Рославль, Моравск, Чернигов, Смоленск, Брянск, Стародуб, Путивль, Новогродок, Курск[88]. Следовательно, королю Сигизмунду III доставались какие-то совсем небольшие городки и остроги. Очень самонадеянно было со стороны Юрия Мнишка также запросить себе Смоленск, за который короли Речи Посполитой давно воевали с Московским государством. Однако он сделал это, а потому «царевичу» Дмитрию пришлось самому оговорить доли будущих владельцев и права короля Речи Посполитой на смоленские и северские земли.

Собрав все мыслимые и немыслимые обязательства от будущего зятя и обладателя московской короны, воевода Юрий Мнишек распечатал собственную казну для сбора войска под знамена «царевича Дмитрия».

Начало Московской войны

С деловой хваткой воеводы Юрия Мнишка, хорошо знавшего, во имя чего он поддерживал «царевича», дело устроилось за одно лето. На «Успение Пречистые Богородицы», 15 августа 1604 года, отрядам польской шляхты и запорожских казаков («черкас»), собранным для поддержки «Дмитрия», был устроен первый смотр в Самборе. Жалованье им должен был раздать сам московский «царевич», а деньги дал воевода Юрий Мнишек[89]. Спустя месяц

состоялся новый, генеральный смотр войска в Глинянах, где уже были выбраны гетман всего войска — сандомирский воевода Юрий Мнишек и его полковники — Адам Жулицкий и Адам Дворжицкий[90]. Из Глинян Лжедмитрий обратился с новым письмом к нунцию Рангони, чтобы известить его о том, как движется все предприятие[91].

Одна часть войска Лжедмитрия должна была двигаться через Киев, а «иныя, — как писал автор «Иного сказания», — идоша по Крымской дороге»[92]. Возвращение самозванца в земли князя Константина Острожского не сулило ничего хорошего. Януш, сын князя Острожского, тот самый, который знавал Григория еще монахом, служившим в одном из монастырей его отца, решил напомнить, кто хозяин в киевских землях. Нунций Клавдий Рангони вынужден был упомянуть в своем послании в Ватикан о действиях киевского каштеляна, который «был противником Димитрия, потому что он не хотел принимать участия в деле, которому не сочувствовал его отец»[93]. Рангони знал о неудачной попытке обращения московского претендента к князю Константину Острожскому, но пытался все объяснить ревностью магнатов Речи Посполитой к славе, которую мог стяжать воевода Юрий Мнишек. Войско Дмитрия вынуждено было передвигаться с большой осторожностью, как по вражеской территории, выставляя ночных сторожей и не распрягая лошадей[94].

Самозванцу, некогда впервые попытавшемуся в Киеве объявить себя царевичем, нужно было войти в этот город. Преодолев с заступничеством нунция Рангони все препятствия, 12 октября 1604 года Дмитрий со своим войском численностью около трех тысяч человек[95] подошел к Киеву. Несколько дней московский «царевич» оставался в самом Киеве, однако единственный официальный и торжественный прием он получил у киевского католического епископа Кшиштофа Казимирского. Никто больше не приветствовал его, не собирался идти с ним в поход, не спешил с предложением помощи. Словом, киевское стояние получилось совсем не таким, как могло представляться в честолюбивых мечтах претенденту на московский престол. Ему дали понять, что он является здесь нежеланным гостем.

Во время остановки в Киеве самозванец составил послание своему врагу царю Борису. К сожалению, в подлиннике оно не сохранилось[96]. Если же верна копия этого письма, входящая в число так называемых «татищевских известий», вызывающих споры у историков, то получается, что самозванец предъявил миру большой перечень годуновских преступлений. Путь к похищению царства Борисом Годуновым был усеян самыми кровавыми делами: расправа с политическими противниками,

покушение на его, царевича Дмитрия Ивановича, жизнь, спасенную доктором Симеоном, поджоги и наведение крымского хана на Москву, ослепление царя Симеона Бекбулатовича и, уже по воцарении, проявленная жестокость к Романовым, Черкасским и Шуйским[97]. В общем-то ничего нового по сравнению с тем, о чем и так уже многие говорили в Московском государстве. Но собранные вместе и высказанные «прирожденным» царевичем, эти обвинения должны были произвести впечатление. Можно предположить, что, подобно летописному киевскому князю Святославу, объявлявшему своим врагам: «Иду на вы», и Лжедмитрий тоже бросил вызов Годунову, объявив о начале своей войны.

Покинув Киев, войско самозванца оказалось на днепровской переправе, где столкнулось с еще одним, уже рукотворным, препятствием. Перевозчикам было запрещено помогать отрядам Лжедмитрия. Поэтому на переправе через Днепр не оказалось ни одного парома или лодки. Как всегда, «царевич» нашел, чем расплатиться. Он пообещал помогавшим ему киевским мещанам право свободной торговли в Московском государстве: грамота об этом была выдана «на перевозе под Вышгородом» 23 октября 1604 года. Переправа затянулась на три дня, после чего самозваный царевич и его армия уже беспрепятственно двинулись навстречу своей новой судьбе в пределы Московского государства.

Странно беззаботными казались эти первые дни похода сопровождавшим Лжедмитрия шляхтичам («рыцарству»). Один из них, Станислав Борша, вел дневник; он записал, что в лесу удавалось находить много «вкусных ягод» (значит, осень была теплой), а поля и лес казались «веселыми». Конечно, кураж невиданного предприятия и ожидание будущих побед и добычи поднимали настроение наемникам. И действительность поначалу превзошла все их ожидания. Сказка самозванства оборачивалась былью.

Первые же города в Северской земле сдались практически без боя[98]. До этого их население несколько месяцев жило в прифронтовой атмосфере, страдая от годуновских застав, смены воевод, приезжавших укреплять крепости по границе с Речью Посполитой. Все копившееся за голодные годы недовольство нашло выход. Монастыревский острог, Моравск и Чернигов подчинились Дмитрию первыми; жители отдали ему городскую казну. В одну неделю в конце октября 1604 года (по григорианскому календарю, принятому в Речи Посполитой, это было начало ноября) все сомневавшиеся в успехе дела «царевича» получили подтверждение его силы[99].

В разрядных книгах описано вторжение «на Северу, в

Монастырища», наемного войска, в которое входили «люди многие: черкасские, каневские да пятигорские, да казаки донские, да еицкие, да литовские и ляцкие люди, и подоленя, и угряне, и кияне». По сведениям, привезенным гонцом, «пришли те люди с вором с Ростригою з Гришкою Отрепьевым, который назвался царевичем Дмитреем Ивановичем прироженым Московским и всеа Русии, сыном царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии»[100]. Царские воеводы Борис Владимирович Лодыгин в Монастыревском остроге, князь Иван Андреевич Татев, князь Петр Михайлович Шаховской и Никифор Семенович Вельяминов в Чернигове пытались оказывать какое-то сопротивление. Но оно не было поддержано гарнизонами этих укреплений, воевод арестовывали и связанными отдавали самозванцу.

Особенно важным оказалось короткое сражение за Чернигов, куда с войском пришел сам «Дмитрий». Чернигов был главным из пограничных «городов от Литовские и от крымские украины». По сведениям разрядных книг, он и был первоначальной целью самозванца: по вестям, «как шол на Северу в Чернигов Ростригa», были сделаны новые назначения осадных воевод[101]. Лжедмитрию повезло, именно под Чернигов к нему приехали «донцы», которым самозванец ранее посылал свою хоругвь с «литвином» Щасным Свирским. Посланник самозванца еще летом 1604 года расспрашивал на Дону про «Украйнные городы и про остроги»; возможно, что тогда же он договорился и о месте и времени схода отрядов донских казаков[102]. Точнее, Лжедмитрию повезло дважды, потому что на поддержку Чернигову были брошены царские войска во главе с самим боярином князем Никитой Романовичем Трубецким и окольничим Петром Федоровичем Басмановым, однако они опоздали и помочь городу не успели. Не дойдя со своей ратью всего пятнадцати верст до Чернигова, воеводы узнали о сдаче города.

Что могло их задержать в походе, неизвестно. Но бывают в истории такие малозаметные поворотные моменты, когда выбор дальнейшего пути всей страны зависит от случая. Здесь этот случай с одним непройденным переходом в пятнадцать верст и произошел, хотя тогда вся кампания еще не была проиграна Борисом Годуновым.

Чернигов казался неприступной крепостью. Но Дмитрий действовал не только военной силой. Он отправил черниговцам одно из многих своих посланий, адресованных будущим подданным. Текст такой окружной грамоты, датированной ноябрем 1604 года (без указания, в какой именно город она послана), сохранился. Он составлен очень умело. Царь Борис Годунов, до этого времени бывший единственным благодетелем

подданных, получил достойного конкурента, не хуже его умевшего использовать ожидания людей:

«От царевича и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии (в койждо град именно) воеводам и дияком и всяким служилым людем, и всем гостем и торговым и черным людем. Божиим произволением, его крепкою десницею покровенного нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотящаго нас злой смерти предати, и Бог милосердый злокозненного его помысла не восхоте исполнити и меня, господаря вашего прироженного, Бог невидимою рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил; и яз, царевич и великий князь Дмитрей Иванович, ныне приспел в мужество, с Божиею помощию иду на престол прародителей наших, на Московское государьство, на все государьства Росийского царьствия. И вы б, наше прирожение, попомнили православную християньскую истинную веру и крестное целование, на чем есте крест целовали отцу нашему, блаженныя памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии; а яз вас начну жаловати, по своему царьскому милосердому обычаю, и наипаче свыше в чести держати, и все православное християньство в тишине и в покои и во благоденьственном житии жити учинити хотим»[103].

Словесный удар подействовал сильнее обмена пушечными выстрелами. Вот что предлагалось черниговцам и жителям других городов, через которые шло войско самозванца: служить прирожденному царевичу, хранить клятву царю Ивану Грозному и укреплять православную веру, надеяться на жалованье от спасенного царевича и «тишину» нового царствования. Обольщение оказалось сильнее здравого смысла. Чернигов сдался на милость победителя. Но вместо обещаний, содержавшихся в «прелестных письмах» (именно так назывались подобного рода агитационные документы), город столкнулся с конфискациями и увидел на своих улицах мародеров, а также первую кровь. Двое плененных черниговских воевод, князь Иван Татев и князь Петр Шаховской, предпочли сохранить жизнь и «крест Ростриге целовали», то есть присягнули «царевичу Дмитрию Ивановичу». Еще один черниговский воевода, Никифор Семенович Воронцов-Вельяминов, за отказ целовать крест самозванцу был убит по его приказу.

Происхождение казненного воеводы из рода Вельяминовых, однородцев Годуновых, ни у кого не должно было оставить сомнений, что в Московское государство вернулся настоящий сын Грозного царя, который также не пощадит «узурпатора» Бориса Годунова.

Глава третья
ПОВОРОТЫ ФОРТУНЫ

Ответ царя Бориса Годунова

Первые слухи о появлении в Речи Посполитой человека, называющего себя царевичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного, как уже говорилось, стали доходить до Москвы в начале 1604 года. Царь Борис Годунов, вероятно, испытал сильные чувства при чтении «довода» своего агента в Литве купца Семена Волковского-Овсяного, сообщавшего 2–7 февраля 1604 года о том, что «вора», назвавшегося именем царевича Дмитрия, уже принял король Сигизмунд III. Правда, успокаивал агент, король сразу же «отослал» его от себя и пожаловал «поместишком» где-то в Польше как обычного перебежчика, запретив «прилучаться» к нему своим подданным из числа «панов», «шляхты» и «жолнеров». Однако даже из этого неточного донесения становилось очевидным, что к Лжедмитрию беспрепятственно собираются другие перебежчики из Московского царства. Опасными были и его контакты с запорожскими казаками, которым самозванец обещал выдать жалованье «как, кажет, мене на Путивль насадите». Запорожцы обещали «проводить» Лжедмитрия «до Москвы»[104], однако король Сигизмунд III, храня «мирное постановенье», приказал посадить посланцев от казаков в тюрьму.

Все это было неприятно царю Борису, но пока что казалось не столь серьезным, каким станет позднее. Появление «царевича» в землях князей Вишневецких логично укладывалось в старый конфликт с ними по поводу пограничных сел, сожженных по приказу Бориса Годунова.

Видимо, от своих агентов царь Борис узнал и другие, биографические подробности о человеке, выдававшем себя за царевича: что это бывший чернец, служивший у патриарха Иова в Чудовом монастыре. О службе у патриарха самозванец хвастался открыто и не скрывал имени Григория Отрепьева, под которым его знали в Москве. Знали, например, об этом его спутники — Варлаам Яцкий и Мисаил Повадин, ушедшие вместе с ним весной 1602 года на богомолье в Святую землю.

Как воспринял царь Борис Годунов известие о «воскрешении» царевича Дмитрия? Ответить на этот вопрос важно для психологической картины того давнего дела. Сотни глаз следили за царем, пытаясь понять, не чувствует ли он свою вину. И кажется, Борис дал повод для разговоров.

Позднее, при царе Василии Шуйском, даже русские дипломаты будут уверенно говорить: «А про царевича Дмитрея всем известно, что он убит на Углече, по Борисову веленью Годунова»[105]. Но откуда родилась такая уверенность? Источники, враждебные царю Борису, пишут о сильной кручине, напавшей на него по получении известия о появлении царевича в Литве. Как всегда, не пропустил возможности уличить Бориса Годунова автор «Нового летописца», посвятивший этому специальную статью: «О том же Гришке Отрепьеве, како весть прииде из Литвы». Автор летописи записал: «Прииде же весть ко царю Борису, яко объявися в Литве царевич Дмитрей. Царь же Борис ужастен бысть». Далее описаны меры, принятые гневающимся самодержцем: заставы по литовскому рубежу, посылка «лазушника в Литву проведывать, хто есть он». Но сведения, полученные от агента, немного успокоили царя Бориса. В Москве узнали Григория Отрепьева, поэтому царь «о том посмеяся, ведая он то, что хотел его сослать на Соловки в заточение»[106].

В сообщении летописца содержится слишком краткое и намеренно упрощенное изложение событий. От времени получения в Московском государстве первых известий о появлении самозванца до момента перехода вооруженным отрядом царевича Дмитрия границы двух государств прошло немало событий. Их внимательный разбор показывает, что Борис Годунов отнюдь не терял самообладания, а принимал самые разнообразные меры. Вряд ли царь Борис верил в возможность потери трона — в оценке действий того периода на нас влияет знание последующей истории.

До определенного времени главной угрозой были дипломатические последствия появления самозванца. Чем же могли ответить в Московском государстве? Царь Борис Годунов в это время сам оказывал поддержку шведскому принцу Густаву (сыну свергнутого короля Эрика XIV и двоюродному брату короля Сигизмунда III), жившему на уделе в Угличе[107], и прекрасно понимал, как можно пустить в ход такую козырную карту в дипломатической игре. Русский царь был готов снарядить войско в помощь шведскому королевичу, чтобы тот добывал свой трон. Но принц Густав не хотел ввязываться в войну со своей родиной. Ждал ли Годунов подобных действий в поддержку выдуманного московского царевича от короля Речи Посполитой? Трудно сказать. Ведь это означало бы прямое нарушение договора о перемирии с «Литвой» и неизбежную войну вместо общего «стояния заодин» против «поганцов», как договаривались при заключении перемирия в 1602 году[108].

В середине мая 1604 года в Москве готовились к другому

военному столкновению — с Крымским ханством. О серьезности таких приготовлений говорит многое. В конце 1603-го — начале 1604 года заметна дипломатическая активность, связанная с обменом посольствами с крымским царем, Персией (Кизылбашами), Англией, грузинскими царствами. Царь Борис посылал своих воевод на Кавказ «воевать Шевкалы» (земли кумыков-мусульман на северо-востоке Дагестана, вокруг Тарки — центра Тарковского шамхальства)[109]. Очень скоро сторожи на границах стали замечать крупные татарские разъезды, обычно появлявшиеся перед набегом: «а татаровя конны и цветны (то есть в «цветном», золотом платье. — *В. К.*) и ходят резвым делом одвуконь; а чаят их от больших людей». Потом и отправленные в Крым послы князь Федор Барятинский и дьяк Дорофей Бохин подтвердили, «что крымской царь Казы-Гирей на своей правде, на чом шерть дал, не устоял, розорвал з государем царем и великим князем Борисом Федоровичем всеа Русии, вперед в миру быть не хочет, а хочит идти на государевы царевы и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии украины»[110]. За этим последовал созыв земского собора (первого после избирательной кампании 1598 года), принявшего решение о войне с Крымом[111].

Царь Борис Годунов снова был готов отправиться во главе войска воевать «против недруга своего крымского царя Казы-Гирея». Начались масштабные приготовления к войне, включавшие составление росписей войска, «наряда» (артиллерии) и обоза, полковые смотры, верстание новиков, набор казаков на службу. В Серпухове просматривали «зелье, и свинец, и ядра, и всякие пушечные запасы». Специальные воеводы и «головы» были отправлены на оборонительную засечную черту в калужских, тульских и рязанских землях: «засек дозирати и делати». Однако внезапно все приготовления были отменены — как было объявлено, по вестям всего одного выходца-полонянника, татарина из Свияжского уезда, бежавшего из плена в Крыму и рассказавшего 30 мая 1604 года в Москве, «что крымскому царю на се лето на государевы… украйны не бывать». Как лаконично сообщают разрядные книги, царь Борис Годунов «по тем вестем поход свой государев отложил»[112].

Разрядные книги умолчали о других, более серьезных обстоятельствах, связавших возможный поход крымского царя с действиями самозваного царевича Дмитрия в Речи Посполитой. Детали были обнародованы позднее на сложных переговорах с послами Речи Посполитой в Москве в 1608 году. Московские дипломаты припомнили, как «ведомо учинилось царю Борису и Крымской Казы-Гирей царь к нему с посланником своим писал, что государь же ваш Жигимонт король накупал на Московское

государство Казы-Гирея царя и с ним о том ссылался, писал к нему х Казы-Гирею царю с гонцом своим с Онтоном Черкашенином, и *словом приказывал* о том же воре чернце о Гришке Отрепьеве, что буттось в его государстве в Литве царевич Дмитрей, сын государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, и бутто его государь ваш Жигимонт король отпускает на Московское государство войною и с ним посылает рать свою; чтоб Крымский царь дал ему помочь и послал на Московское государство рать свою, а от того хотел дати дань многую казну, чего царь попросит, и обещался с ним быти в дружбе»[113].

Вот в такой поворот событий уже нельзя не поверить. Приезд крымского гонца с вестями от царя Казы-Гирея об устной просьбе короля Сигизмунда III поддержать планировавшийся поход царевича Дмитрия в Московское государство действительно мог быть основанием для разворота всей политики царя Бориса Годунова с востока на запад. Но объявить правду тогда не могли, поэтому, отменяя крымский поход, в разрядах сослались на расспросные речи кстати подвернувшегося свияжского татарина[114].

С сентября 1604 года начались военные приготовления для защиты Северской украйны. Сам царь Борис Годунов и поддержавший его патриарх Иов были вполне уверены, что им удалось назвать имя настоящего преступника — Григория Отрепьева. В Москве первоначально узнали, «что тот вор розстрига, збежав с Москвы, объявился в Литве в Киеве и во Львове, и дьяволским учением стал называтися государским сыном царевичем Дмитреем Ивановичем Углетцким»[115]. Подробностей о совместных планах Лжедмитрия и Мнишков царь Борис Годунов знать не мог. Но доходившие до Москвы вести об агитации от имени царевича в украинных городах Московского государства были восприняты очень серьезно. Не дождавшись прямого ответа сначала от литовских магнатов, потом от киевского воеводы князя Константина Острожского, в Москве решили не только продолжать дипломатическое давление на Сигизмунда III, но и готовиться к отражению похода под знаменами Лжедмитрия.

Вести о походе самозванца «на Северу в Чернигов» заставили укрепить прежде всего этот город. В октябре 1604 года «для осадново времени» в Чернигов были назначены уже известные нам воеводы боярин князь Никита Романович Трубецкой и Петр Федорович Басманов. Их целью было построить каменную крепость («а делати было им город Чернигов каменной»). Однако царь Борис Годунов опоздал со своими распоряжениями, и Чернигов успели захватить сторонники самозванца. Пришлось

царским воеводам отходить в Новгород-Северский. Еще один член Боярской думы, окольничий Михаил Михайлович Салтыков, был послан охранять Путивль, уже имевший каменные укрепления.

Тем временем по всему Московскому государству начался сбор армии. Центром сбора стал Брянск. В октябре 1604 года «во Брянеск против Ростриги» было послано три полка во главе с членами Боярской думы. Большой полк возглавляли боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский и князь Михаил Федорович Кашин, передовой — окольничий Иван Иванович Годунов и князь Лука Осипович Щербатый, сторожевой — боярин Михаил Глебович Салтыков и князь Федор Андреевич Звенигородский. Однако и этого показалось мало царю Борису. Для похода на Чернигов он еще больше усилил свою армию, послав туда первым воеводой передового полка боярина князя Василия Васильевича Голицына, а вторым воеводой большого полка боярина князя Андрея Андреевича Телятевского. Окончательно роспись войска включала уже не три, а пять полков (добавились полки правой и левой руки), которыми командовали пять бояр, два окольничих и один думный дворянин. Главноначальствующим всей армией был глава Боярской думы боярин князь Федор Иванович Мстиславский. С ним, во главе полков, отправленных против самозваного царевича, были представители родов князей Шуйских, князей Голицыных, князей Телятевских, Годуновых, Салтыковых и Морозовых. «Роспись русского войска, посланного против самозванца в 1604 году»[116] дает точное представление о составе этих пяти полков (несмотря на лакуны в начале текста) и показывает, что война против самозванца стала одним из самых масштабных мероприятий всего времени царствования Бориса Годунова.

Сбор войска в конце 1604 года сопровождался поголовной мобилизацией Государева двора, жильцов, служилых «городов», иноземцев, татар, мордвы и бортников. В полки набирали стрельцов и казаков. По всему государству был организован набор даточных людей с монастырей, приказных, вдов, недорослей и всех, кто по каким-либо причинам не мог сам выйти на службу. Обычно же даточные люди собирались только в самых чрезвычайных обстоятельствах, примерно раз в двадцать-тридцать лет. На службу вызывались недавно поверстанные новики, для которых война с Лжедмитрием I должна была стать первым в жизни боевым походом.

Сохранился документ, впервые опубликованный еще В. Н. Татищевым в XVIII веке и содержащий Соборный приговор 12 июня 1604 года о порядке набора ратных людей для борьбы с самозванцем. Начиная с С. Ф. Платонова, историки смотрят на

текст этого источника со справедливым недоверием (впрочем, это не помешало включить Соборный приговор в академическую публикацию законодательных актов). Во-первых, смущает слишком ранняя дата, не соответствующая известным фактам. В тексте приговора упоминается приход войска самозванца в украинные города, случившийся, как известно, только в октябре 1604 года. Войска надо было посылать к боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому почему-то в Калугу, а не в Брянск, куда он был назначен, судя по разрядным книгам. Однако возможно, что в основе текста приговора, обнародованного В. Н. Татищевым, лежит какой-то другой подлинный документ. Это мог быть указ о сборе монастырских слуг и даточных людей по новой, смягченной норме: один холоп с двухсот, а не со ста четвертей поместной земли, как было установлено Уложением царя Ивана Грозного в 1555/56 году. Делалось это для того, чтобы всех заставить принять личное участие в войне с самозванцем: «Многие же люди, имея великие поместья и отчины, а службы не служат ни сами, ни их дети, ни холопи, и живут в домах, не пекусчеся о гибели царства и о святой церкви»[117].

Первое серьезное столкновение армии, собранной царем Борисом Годуновым, с наемным войском самозванца произошло под Новгородом-Северским в декабре 1604 года. Бои за Новгород-Северский, где Лжедмитрий I когда-то останавливался перед уходом в Литву, показали, что в начавшейся борьбе за московский трон еще ничего не было предрешено. «Виною» тому стали умелые действия царского воеводы Петра Федоровича Басманова, несколько недель державшего польско-литовские роты и казачьи сотни под осажденным Новгородом-Северским до подхода основной армии царя Бориса Годунова. (Это тот самый Басманов, который станет ближайшим советником и телохранителем Лжедмитрия и погибнет с ним в один день!)

Спасало дело «царевича Дмитрия» то, что уже взошла буря от посеянного им ветра «прелестных» писем. Следствием призывов самозванца стали измены в северских городах. К Лжедмитрию потянулись новые сторонники, по примеру Чернигова на сторону царевича Дмитрия в ноябре 1604 года перешли Путивль, Рыльск, Севск и Курск[118]. «Новый летописец» рассказывал о «времени» (отсюда — «временщик», фаворит), наступившем для будущего главного боярина самозванца князя Василия Рубца Михайловича Мосальского, сдавшего Лжедмитрию Путивль: «Тако жив Путимле окаянной князь Василей Рубец Масалской да дьяк Богдан Сутупов здумаше также, околничево Михаила Салтыкова поимаше, а к нему послаша с повинною. Той же Гришка нача тово князь Василья жаловать: тако ж никому таково времени не было, что

ему»[119].

Создалась необычная ситуация: пока самозванец увяз под Новгородом-Северским, северские города сдавались от одного упоминания имени царевича Дмитрия. Их жители своими руками вязали царских воевод, без принуждения присягали на верность сыну Ивана Грозного, слали ему посольства, дары и казну.

Решающая битва произошла у Новгорода-Северского 21 декабря 1604 года. Позднее автор «Иного сказания» сравнит ее с Мамаевым побоищем, только на этот раз победе «князя Дмитрия» нельзя было порадоваться. Описание битвы не лишено поэзии, но это рассказ о трагедии и жестоком поражении царского войска:

«Яко две тучи, наводнившеся, темны бывают ко пролитию дождя на землю, тако и же те суть два войска, сходящееся между собою на пролитие крови человеческия, и покрыша землю, хотящее един другого одолети. И быша яко громи не в небесных, но в земных тучах пищалной стук, и огонь яко молния свиркает во тме темной, и свищут по аеру пульки и ис тмочисленных луков стрелы, падают человецы, яко снопы по забралом… И брань зело страшна бысть, якоже и на Дону у великого князя Дмитрея с Мамаем, ужаса и страха полна та беяше борьба».

Автора сказания удивили хитрости, придуманные в войске самозванца, когда многие воины использовали медвежьи шкуры, чтобы напугать лошадей противника, а «у иных коней по обе страны косы в тесноте режут». Все это, по описанию автора «Иного летописца», привело в смятение «московскую силу», и как результат «во смятении том многа войска побиша, и до самого знамения воеводцкаго добишася; и трупо человеческим землю помостиша… И тако его Гришкино войско одолеша, Борисово же войско побегоша»[120].

Царские воеводы, тем не менее, поспешили доложить о победе, и царь Борис Годунов не скрывал своей радости. Ему, наверное, на минуту показалось, что все самое страшное позади. Одно омрачало победу — тяжелое ранение командующего годуновской рати боярина князя Федора Ивановича Мстиславского («по голове ранили во многих местех»). Утешить и наградить его и других воевод — участников сражения под Новгородом-Северским были немедленно посланы от Годунова специальные посланники, раздавшие золотые наградные монеты, которые можно было носить как медали.

Чашник Никита Дмитриевич Вельяминов по воинскому ритуалу поощрения отличившихся воевод должен был произнести речь и передать «жалованное слово» царя Бориса Федоровича. Текст слова сохранился в разрядных книгах. Князя Федора Ивановича Мстиславского велено было «о здоровье спросить», что

было признаком высшей государевой милости. К первому царскому боярину обращались особенно торжественно, с почетным прибавлением «осу» к его имени (сокращение от «осударь», то есть «государь»): «Князь Федоросу Иванович!» Царь Борис Годунов и царевич Федор Борисович извещали, что им стало известно о происшедшем бое и ранении боярина, и для лечения присылали «дохтура Ягана да оптекаря Петра Долаврина».

Борьба с самозванцем рассматривалась не просто как доблесть верной службы царю, а как победа православия: «И ты то зделал, боярин наш князь Федор Иванович, паметуючи Бога и крестное целованье, что еси пролил кровь свою за Бога и за Пречистую Богородицу, крепкую нашу помощницу, и за великих чюдотворец, и за святыя Божия церкви, и за нас, и за всех православных християн». Боярина князя Федора Ивановича Мстиславского обнадеживали, что еще большая слава его ожидает в Москве, когда он увидит «царские очи»: «И мы тебя за твою прямую службу пожалуем великим своим жалованьем, чево у тебя на уме нет». Большой почести и наград удостоились рядовые участники сражения под Новгородом-Северским, которых тоже пожаловали и «велели… о здоровье спросить». А вот второй воевода боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский уже не удостоился такой чести, ему было велено только «поклонитца». Причина состояла в том, что боярин Шуйский ничего не сообщил о сражении в Москву. Царь Борис Годунов выговаривал ему за это: «И вы то делаете не гораздо, и вам бы к нам о том отписать вскоре подлинно».

Дело, конечно, было не в забывчивости боярина и воеводы князя Дмитрия Ивановича Шуйского. В своем донесении ему пришлось бы рассказать царю не только о ранении боярина Мстиславского, но еще и о больших потерях, а также о том, что войско потеряло свое главное знамя. Царь Борис Годунов поневоле выдал желаемое за действительное и поторопился с высшей оценкой действий своей армии под Новгородом-Северским. Сама крепость, правда, так и не была взята отрядами самозванца, однако автор «Нового летописца» вынужден был записать, что «под Новым же городком бысть бой, и гневом Божиим руских людей побили»[121]. Знамя так и осталось добычей войска самозванца, хотя царские воеводы вели переговоры, чтобы выкупить его. Богатый трофей — шитое золотом и украшенное соболями знамя — лишь перессорил польских и русских сторонников самозванца. Они тоже понесли тяжелые потери, — по свидетельству Станислава Борши, под Новгородом-Северским осталось три братских могилы с телами сторонников Дмитрия. В

день похорон самозванец не мог сдержать слез. Если кто и надеялся, что все само упадет в руки, как предсказывал «царевич», набирая свою армию, то теперь он должен был прозреть.

Пробыв еще неделю под Новгородом-Северским, самозванец отступил от этого города. Наступало 1 января 1605 года — время выплаты польскому «рыцарству», сопровождавшему самозванца, заслуженного жалованья за первый срок своей службы. Лжедмитрий уже уплатил своему войску из денег, взятых в Чернигове, но расставаться с тяжело добытой казной, которая еще могла понадобиться, ему не хотелось.

Шляхтичи требовали денег и грозили в противном случае немедленно возвратиться в Речь Посполитую: «Если не дашь денег, то сейчас идем назад в Польшу», потом уже без всякого уважения кричали ему: «Ей-ей, ты будешь на коле!»[122]

Неожиданный удар самозванцу нанес «гетман» и будущий тесть. Отговариваясь нездоровьем и тем, что ему нужно ехать на открытие сейма в Варшаву, сандомирский воевода Юрий Мнишек уехал, оставив самозваного царевича на произвол судьбы. Вслед за ним, как писал участник событий Станислав Борша, последовала «большая часть рыцарства». С Лжедмитрием осталось не более полутора тысяч человек. Самозванец бросался «крыжем», то есть падал с распростертыми руками, чтобы остановить уходящих шляхтичей, но все было напрасно. Кстати, главный трофей — знамя боярина Мстиславского — тоже оказался в итоге у пана воеводы. Много лет спустя в монастырском архиве самборских бернардинов о. Павел Пирлинг нашел сведения о вкладе туда «золотого» московского знамени воеводою Юрием Мнишком в 1605 году[123]. Значит, воевода поспешил освободиться от этого трофея и связанных с ним воспоминаний.

Случай опять помог «царевичу». В это время к нему пришло огромное войско в 12 тысяч запорожских казаков. Сказалась его долгая агитация у запорожцев, отсылка им знамен. Не справившись с неприступным Новгородом-Северским, Лжедмитрий под защитой казачьих сабель отошел в Комарицкую волость, видимо, немедленно назначенную запорожскими казаками себе в приставство.

Однако запорожцы уступали и по дисциплине, и по обученности польским ротам. Вполне это выяснилось месяц спустя, когда войско Лжедмитрия приняло бой «на Севере, в селе Добрыничах, под острожком под Чемлижом». Годуновскую армию после ранения боярина князя Федора Ивановича Мстиславского возглавил с 1 января другой боярин, князь Василий Иванович

Шуйский. Он оказался более удачливым полководцем, чем его младший брат, князь Дмитрий. Царь Борис Годунов вместе с царевичем Федором Борисовичем в те дни усиленно молился в Троице-Сергиевом монастыре. Как было указано в разрядных книгах, Добрыничское сражение произошло 20 января, «на паметь преподобнаго и богоноснаго отца нашего Еуфимия великого и святыя мученицы Ирины»[124].

Один из «иноземцев» на службе у царя Бориса Годунова, французский капитан Жак Маржерет, участник Добрыничского сражения, описал бегство польских и русских сторонников самозванца: «На протяжении семи или восьми верст они были преследуемы пятью или шестью тысячами всадников. Димитрий потерял почти всю свою пехоту, пятнадцать знамен и штандартов, тринадцать пушек и пять или шесть тысяч человек убитыми, не считая пленных, из которых все, оказавшиеся русскими, были повешены среди армии, другие со знаменами и штандартами, трубами и барабанами были с триумфом уведены в город Москву»[125].

Во время сражения сам Дмитрий едва не погиб, лошадь под ним была подстрелена и его спас от смерти князь Василий Рубец Мосальский, оба они ускакали на одной лошади от погони. На месте осталось копье самозванца, ставшее трофеем царского войска: «копье было позолочено и снабжено тремя белыми перьями и было довольно тяжело»[126].

Это был убедительный реванш. Приехавшего с известием («сеунчом») о победе в Троице-Сергиев монастырь Михаила Борисовича Шеина царь Борис Годунов на радостях пожаловал в Думу чином окольничего. По словам «Нового летописца», царь «слышав же такую на врагов победу, рад бысть и нача пети молебная». Понимая значение публичных демонстраций, Борис Годунов показывал в Москве пленных поляков и в начале февраля 1605 года торжественно принимал в Москве героя новгород-северских боев Петра Федоровича Басманова[127].

«Московские дела» были включены в повестку дня варшавского сейма Речи Посполитой, открывшегося 20 января 1605 года. На сейме действия сандомирского воеводы Юрия Мнишка, снарядившего «Дмитрия» в поход, вызвали большое раздражение высших сановников Речи Посполитой. Против самозванца высказался канцлер Ян Замойский, давно настаивавший на том, что вопрос о «Дмитрии» надо решать на сеймовых заседаниях. Вспоминая тот «большой страх», который и в прежние времена при Иване Грозном, и теперь внушало Московское государство, канцлер советовал не нарушать мирных постановлений.

О том, что большинство сейма прислушалось к нему, свидетельствует торжественный прием, оказанный на сейме посланнику царя Бориса Годунова Постнику Григорьевичу Огареву. В дневнике сейма записано 10 февраля 1605 года (31 января по юлианскому календарю): «Посол или гонец московский с великим почетом въезжал во дворец. Гусар было несколько сот, пехоты около 3000. Он очень жаловался на Димитрия и на князя Вишневецкого». О «московском государике» сейм принял следующий пункт: «Всеми силами и со всем усердием будет принимать меры, чтобы утишить волнение, произведенное появлением московского государика и чтобы ни королевство, ни Великое княжество Литовское не понесли какого-либо вреда от московского государя, а с теми, которые бы осмелились нарушать какие бы то ни было наши договоры с другими государствами, поступать, как с изменниками»[128]. Но король Сигизмунд III, уже увязнув в этом деле, отказался утвердить постановление сейма, несмотря на возможные внутриполитические затруднения.

Наречение царевича Федора

Самозванец бежал в ранее присягнувший ему Путивль, откуда приехал к нему князь Василий Рубец Мосальский. У Путивля было одно важное преимущество перед остальными городами в Северской земле — это была единственная укрепленная каменная крепость. В Путивле сходились многие дороги, там начинался путь в Крым, а Лжедмитрий по-прежнему мог ожидать прихода к нему татарской конницы[129]. Поэтому стратегически выбор для отдыха изрядно потрепанной в боях армии самозванца был верен.

«Царевич» уже не дерзал, как в начале своей кампании, осаждать другие города и крепости. Да это, как оказалось, и не нужно было: из разных мест Северской украйны к нему сами приходили его многочисленные сторонники. Дьяк Богдан Сутупов одним из первых сдал Лжедмитрию казну, посланную царем Борисом Годуновым на жалованье северским городам.

Территория, контролируемая сторонниками «царевича Дмитрия», расширилась из «Северы» на украинные города. К числу мест, «добивших челом» самозванцу, относились Рыльск, Царев город, Белгород, Оскол, Валуйки, Курск. Самозванец отсылал отряды поддерживавших его казаков на помощь своим сторонникам. Одновременно был распущен слух о приходе к нему на помощь большой армии во главе с коронным гетманом Станиславом Жолкевским.

У царских воевод оставался выбор — идти преследовать самозванца, севшего в осаде в Путивле, или понемногу вычищать

«измену» из мятежных городов. Похоже, что они выбрали последнее, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением людей, уверенных, что воюют за настоящего царевича Дмитрия. Летописец описал подобные бои рати князя Федора Ивановича Мстиславского под Рыльском: «В Рыльске же сидеша изменники князь Григорей Роща Долгорукой да Яков Змеев и стреляху з города из наряду по полкам, но блиско к городу не припускаху, а то и вопияху, яко „стоим за прироженного государя“»[130].

Гражданская война не достигла еще той степени ожесточения, как это будет позднее. Армия Годунова отошла от Рыльска в Комарицкую волость, жестоко покарав ее за поддержку самозванца. Но этот маневр только распалил подозрительность царя Бориса, не понимавшего, почему ему рапортуют о победах над самозванцем, а тот остается неуловимым для царских воевод. От прежних речей и жалованных слов, обращенных к воеводам за битвы под Новгородом-Северским и при Добрыничах, царь Борис Годунов перешел к требованиям и угрозам. Он «роскручинился» и прислал окольничего Петра Никитича Шереметева и думного дьяка Афанасия Власьева спрашивать у бояр и воевод, «для чево отошли от Рыльска». Войско должно было выслушать новую речь царя Бориса, не предвещавшую ничего хорошего главным боярам и воеводам: «Что зделася вашим нерадением, стол ко рати побили, а тово Гришки не умели поймать». Осведомленный автор «Нового летописца» записал, что именно эта, грозившая опалой, речь и заставила воевод не ждать наказания, а подумать о переходе на службу самозванцу. Армия Годунова устала от непривычной зимней кампании (с октября до апреля редко когда воевали в Московском государстве) и имела все основания для обиды: «Боляре же о том и вся рать оскорбишася. В рати же стало мнение и ужас от царя Бориса. С тое ж поры многая начаша думати, как бы царя Бориса избыти, а тому окаянному служите Гришке»[131].

Все сошлось под Кромами. Как писал С. Ф. Платонов, под его обгорелыми стенами «решилась участь династии Годуновых»[132].

Основные силы годуновской армии подошли к крепости в Великий пост, начавшийся в тот год рано — 11 февраля. В войске Лжедмитрия радовались, что каким-то чудом царская армия вместо похода на Путивль сделала крюк и увязла под Кромами. Приписывали это умным речам пленного «языка», испугавшего московских воевод выдуманными рассказами о большом подкреплении, идущем к «царевичу Дмитрию» из Речи Посполитой[133]. Между тем битва за Кромы готовилась основательно: туда еще в январе 1605 года было указано прислать часть войска и «большого наряда» (артиллерии) из Карачева, в

том числе именную пищаль «Лев Слободцкой».

Кромская осада стала повторением многонедельного новгород-северского сидения воеводы Петра Федоровича Басманова. Только на этот раз защитники Кром во главе с воеводой Григорием Акинфовым и донским атаманом Андреем Корелой смогли сохранить в неприступности эту крепость для самозванца.

Сначала царский воевода Федор Иванович Шереметев пытался обстреливать город из пищалей, но все безрезультатно. Не помог и «Слободцкой». Искушенные воины — «донцы», приехавшие на выручку из Путивля, умели защищать свои укрепления от неприятеля. Атаман Корела придумал рыть землянки или окопы, в которых и отсиживалось войско между обстрелами. «Корела, шелудивый маленький человек, покрытый рубцами, родом из Курляндии, — писал о нем голландец Исаак Масса. — …Он так вел себя в Кромах, что всякий… страшился его имени»[134]. Даже когда вся армия царя Бориса Годунова пришла под Кромы, она не смогла справиться с городом. Все, что сделали царские воеводы, — сожгли «град», то есть слободы и открытые укрепления, затворив защитников Кром в укрепленном остроге: «И как город згоре, государевы же люди седоша на осыпи, они же биющесь воры беспрестани, никако не припустиша к острогу, и им бысть теснота велия»[135].

В дополнение ко всему в армии царя Бориса Годунова начались повальные болезни. Одну из них — «мыт», связанную, всего вероятнее, с желудочным расстройством, приезжали лечить доктора, посланные самим царем Борисом, продолжавшим заботиться об армии. Доктора успешно побороли эпидемию, отпоив войско «всяким питьем» и «всяким зельем». Но это был единственный успех царя Бориса Годунова под Кромами. Участники же осады с тех пор с особым чувством должны были вспоминать кромские мытарства.

События весны 1605 года окончательно подорвали здоровье царя Бориса Годунова. Он весь сосредоточился на своем остром желании побороть самозванца, но ничего не мог поделать с нараставшим нежеланием людей воевать — как им казалось, за одни годуновские интересы. Дипломаты привозили благоприятные сведения о том, что сейм Речи Посполитой не поддержал дело самозванца, но этого было мало. Многие северские и украинные города по-прежнему держались «прирожденного» государя, послы Лжедмитрия ездили к королю Сигизмунду III, о чем, конечно, в Москве было хорошо известно. Патриарх Иов, не дождавшись ответа от православных магнатов, решил повторить свои разоблачения. Он обратился уже к

католическим духовным властям (к «наивысшей раде короны Полской и великого княжества Литовского, к арцыбискупом, и бискупом и ко всему духовному чину») и послал к ним в гонцах дьяка Андрея Бунакова, чтобы подтвердить официальную версию о Расстриге[136].

Царь Борис уже двадцать лет управлял страной. Но его власть начинала тоже слабеть вместе с его здоровьем. Что-то такое носилось в воздухе, заставляя питать надежды на перемены даже находившегося в полузаточении в Антониевом Сийском монастыре старца Филарета, бывшего боярина Федора Никитича Романова. За ним зорко следили приставы и монастырские власти, доносившие в Москву обо всем, что происходило с «государевым изменником». Нельзя не обратить внимание на разительный контраст в настроениях старца Филарета, сокрушавшегося по поводу своей горькой судьбы в ноябре 1602 года (со слов некого «малого», которого он привечал у себя в келье): «Милые де мои детки, маленки де бедные осталися; кому де их поить и кормить». Высказывался старец и по поводу оставленных светских дел: «Не станет де их с дело ни с которое, нет де у них разумного; один де у них разумен Богдан Белской, к посолским и ко всяким делам добре досуж». Весной же 1605 года все было по-другому, и время подтверждало правоту бывшего боярина, хорошо знавшего тех, кто остался в Думе царя Бориса Годунова. Старец Филарет был чем-то обнадежен, вышел из повиновения своей стражи, перестал соблюдать «монастырский чин» и общаться с братией Сийского монастыря, смущая других старцев своими речами: «всегды смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил и к старцом жесток». Особенно волновали слова Филарета о том, что «увидят они, каков он вперед будет».

В этом иногда видят чуть ли не подтверждение того, что самозванец был связан с Романовыми. Однако Григорий Отрепьев, служивший некогда, по официальной версии, во дворе у одного из братьев Никитичей, вряд ли когда-нибудь даже привлекал внимание боярина Федора Романова. Таких холопов в боярских дворах бывали сотни. Действие старого правила: «Враг моего врага — мой друг» — лучше объясняет перемены, происходившие со старцем Филаретом. И, видимо, успехи самозванца и общее недовольство царем Борисом Годуновым были таковы, что скрыть их не представлялось возможным и в Антониевом Сийском монастыре.

Слухи о самозванце проникали повсюду. В далеком Угличе, так сильно связанном со всей историей Дмитрия, открылось дело о якобы полученном «перед Великим днем» (Пасхой) послании

«от вора от ростриги, которой называется князем Дмитреем Углецким». Правда это или нет, но из уст в уста передавались слова Дмитрия: «А яз де буду к Москве, как станет на дереве лист разметыватца»[137].

Подобные слухи больно ранили царя Бориса Годунова. Ведь он имел все основания считать себя добрым покровителем своих подданных и никак не ждал от них такой неблагодарности.

Тринадцатого апреля 1605 года, «в субботу на паметь святаго свещенномученика Ортемона прозвитера и святых мученик Максима, канун Жен мироносиц», наступила неожиданная развязка. Царь Борис Годунов скоропостижно скончался. Автор «Нового летописца» записал, как все случилось: «После бо Святыя недели, канун Жены мироносицы царю Борису вставши из-за стола после кушанья, и внезапу прииде на нево болезнь люта и едва успе поновитись и постричи. В два часа в той же болезни и скончася»[138]. Тело инока Боголепа (такое имя принял в схиме царь Борис Годунов) погребли со всеми почестями в Архангельском соборе в Кремле. Но этой могиле недолго пришлось пребывать непотревоженной.

Внезапная смерть царя Бориса Годунова разрубила гордиев узел старой привязанности и счетов в отношениях с Годуновыми. Иван Грозный и царь Федор Иванович не успели связать находившихся рядом бояр клятвой верности своему наследнику. Царь Борис Годунов пытался это сделать в отношении сына Федора, но не преуспел, так как многие бояре в час его смерти находились вне Москвы.

Перед Боярской думой встал выбор — самостоятельно продолжать «дело Годунова» или действовать в собственных интересах. Нетрудно догадаться, каков был ответ известных чинолюбцев. Перед ними стояла перспектива служить едва достигшему совершеннолетия пятнадцатилетнему царю Федору Борисовичу, окруженному сплоченным семейным кланом Годуновых. Благодаря Борису Годунову его родственники доминировали в Боярской думе, имели первостепенные дворцовые чины конюшего и дворецкого, в их руках было управление важнейшими финансовыми ведомствами — Приказом Большой казны и Казанским приказом, через который шла сибирская пушнина. Те, кто не были связаны с Годуновыми родством, но во всем поддерживали Бориса Годунова и ходили у него в любимчиках, тоже имели свою выгоду во время пребывания у власти, но люди подобного типа обычно легко меняют патронов.

Обстоятельства войны с войском «царевича Дмитрия» под Кромами, где находились главные члены Боярской думы и

большая часть Государева двора, тоже не благоприятствовали мирному решению вопроса о переходе власти к наследнику Бориса Годунова. Вряд ли боярам, московским и городовым дворянам могло понравиться, что «наречение» нового царя происходит без их участия. Но фактически так и было. Главных воевод войска под Кромами — бояр князя Федора Ивановича Мстиславского и князей Василия Ивановича и Дмитрия Ивановича Шуйских немедленно вызвали в Москву, но они, видимо, приехали в столицу уже тогда, когда там стал править царевич Федор Борисович. Это очень важная деталь — царевич Федор Годунов должен был повторить путь царского избрания своего отца. Поэтому Федора Борисовича именовали «царевичем князем», нареченным на царство, но еще не получившим его по праву царского венчания.

«Наречение» на царство Федора Борисовича было так же обставлено решением Земского собора, как и в 1598 году. К сожалению, известия об этом соборе настолько скудны, что его не заметил даже такой внимательный исследователь соборной практики XVI–XVII веков, как Л. В. Черепнин. Между тем уникальное известие разрядных книг не оставляет сомнения, что передача власти царю Федору Борисовичу была проведена с помощью освященного собора и представителей всех других чинов — ратных и торговых: «Тово же месяца апреля патриарх Иев Московский и всеа Русии, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и со всем освященным собором вселенским, да бояре, и окольничие, и дворяне, и стольники, и стряпчие, и князи, и дети боярские, и дьяки, и гости, и торговые люди, и все ратные и чорные люди всем Московским царством и всеми городами, которые в Московской державе, опричь Чернигова и Путимля, нарекли на Московское государство государем царевича князя Федора Борисовича всеа Русии»[139]. Р. Г. Скрынников, упоминая об этом известии, осторожно заметил, что разрядная запись «наводит на мысль о том, что в этом акте участвовали все чины, обычно входившие в состав Земского собора»[140]. В пользу того, что собор действительно состоялся, может свидетельствовать частичное повторение при избрании на царство Федора Борисовича избирательной модели 1598 года. В решении собора учитывались современные политические обстоятельства и признавалось, что подчинявшиеся Лжедмитрию Чернигов и Путивль не могли выслать своих представителей в столицу. Хотя на самом деле таких, охваченных войной с самозванцем, городов, не имевших никакой возможности прислать своих представителей на собор, было больше.

В церемониале «наречения» немного изменений по

сравнению с 1598 годом. Однако новой власти приходилось прежде всего думать о продолжении войны с Лжедмитрием. Вместо точного следования порядку, устраивавшему Боярскую думу и «мир», как это делал Борис Годунов, его вдова, сын и их советники торопились и пропускали важные элементы, изменяя складывавшуюся традицию. Так полноценный избирательный Земский собор был подменен его видимостью. Никаких препятствий к переходу власти к прямому наследнику царя Бориса Годунова не существовало. Если бы не появление в Московском государстве другого «прирожденного» наследника — «царевича Дмитрия». Поэтому в 1605 году духовные власти убеждали, что царь Борис Годунов успел благословить своего сына на царство перед смертью: «А отходя сего света при нас богомольцех своих приказал и благословил на великие государьства на Владимерское, и на Московское, и на Новгородское, и на царьство Казанское, и на Астроханское, и на Сибирское, и на все великие государьства Росийскаго царьства царем и великим князем всеа Русии, сына своего великого государя нашего царевича князя Федора Борисовича всеа Русии, и благословил его государя на Росийское государьство крестом животворящаго древа, им же венчаются на царьство великие государи наши прежние цари, да крестом чудотворца Петра»[141]. Получение благословения от прежнего царя и именно тем крестом, который использовался в «Чине венчания», начиная с Ивана Грозного, подчеркивало преемственность, убеждало в небесном покровительстве святого митрополита Московского Петра. Оставалось самое сложное — убедить в этом людей, увидевших, что обещания Бориса Годунова о процветании и жаловании своих подданных не сбылись. Тем более что они уже узнали о существовании другого «прирожденного» претендента, олицетворявшего более «правильную» преемственность с не такими давними временами прежних правителей.

Немедленно, по наречении царя Федора Борисовича, была организована присяга ему. И здесь произошло небольшое отклонение от избирательного канона. Члены собора вместо того, чтобы утверждать своими рукоприкладствами (подписями) произошедшее избрание, принесли присягу на верность в присутствии духовных властей. В известительной грамоте митрополита Ростовского и Ярославского Кирилла о трехдневном молебне за царскую семью говорилось: «А боляре, и окольничие, и думные дворяне и дьяки, и дворяне и дети боярские, и приказные люди и гости всех сотен и торговые всякие люди Московского государьства, перед нами, передо всем освященным собором, целовали животворящей крест».

Видимо, об этой же присяге в Кремле упоминал Исаак Масса, датируя ее 16 апреля 1605 года: «И народ московский тотчас был созван в Кремль присягать царице и ее сыну, что и свершили, и все принесли присягу, как бояре, дворяне, купцы, так и простой народ; также посланы были по всем городам, которые еще соблюдали верность Москве, гонцы для приведения к присяге царице и ее сыну»[142]. Полученные крестоцеловальные записи были положены на хранение в архив Посольского приказа, где тогда хранились основные государственные акты[143]. В любом случае царица Мария Григорьевна и Федор Борисович получили власть от собора не позднее 29 апреля 1605 года[144].

Сохранился текст обычной присяги царице Марии Григорьевне и царю Федору Борисовичу, принимавшейся в городах. Письмо с образцом такой записи было разослано из Москвы 1 мая 1605 года. Запись была составлена по образцу присяги царю Борису Годунову, в ней снова встречались опасения «ведовства» и «порчи», был включен пункт о возможных притязаниях царя Симеона Бекбулатовича — того самого несчастного касимовского царя, которого Иван Грозный в 1575 году сделал на время «великим князем всея Руси». С тех пор один из Чингизидов Симеон Бекбулатович, даже вопреки своей воле, оставался в глазах других людей вполне реальным претендентом на царский трон. Самым же важным пунктом присяги стало упоминание имени Дмитрия, о котором теперь должны были узнать все, кто до тех пор не слышал о его существовании. Подданных царицы Марии Григорьевны и царя Федора Борисовича обязывали: «К вору, который называется князем Дмитрием Углицким, не приставать, и с ним и с его советники ни с кем не ссылатись ни на какое лихо и не изменити и не отъехати»[145]. Однако чрезмерная предусмотрительность в том, что подданных заставляли на будущее отказаться от поддержки именно «Дмитрия», а не Григория Отрепьева, лишь дала повод к дальнейшим мыслям о возведении на русский престол вместо Годуновых «прирожденного» царевича.

Первые сорок дней после смерти царя Бориса Годунова должны были стать днями траура. Во все церкви и монастыри были разосланы грамоты от духовных властей с распоряжением петь «понахиды соборныя во всю четыредесятницу ежедней, на обеднях, и на вечернях, и на литиях, и в монастырех братию кормити по монастырьскому уложенью; а милостыню на сорокоустье пришлют»[146]. И действительно, царь Федор Борисович, как и его отец, не скупился на подаяния, успев оставить по себе память как о добром и щедром правителе. Исаак Масса вспоминал, что «и шесть недель после смерти Бориса

раздавали милостыню и роздали в эти шесть недель семьдесят тысяч рублей, что составляет на голландские деньги четыреста девяносто тысяч гульденов, и все эти шесть недель во всех монастырях служили по нем заупокойные обедни». После семи недель короткое царствование Федора Борисовича уже завершится.

В чем причина именно такого хода событий? Можно сказать, что в уже начавшейся Смуте. Однако это мало что объясняет в истории царевича Федора, которому не дали продолжить дело Бориса Годунова. Знал бы царь Борис свой земной срок, — не приходится сомневаться, он сумел бы всех приготовить к передаче власти сыну. Но внезапная смерть царя Бориса и война с «царевичем Дмитрием» все перевернули. Сын ответил за отца, точнее, за тот страх, который, несмотря на всю свою видимую щедрость и жалование, успел насадить царь Борис за годы своего правления. В последние месяцы его власти случилась жестокая расправа с мятежной Комарицкой волостью, и эта карательная операция напомнила подзабывшееся время новгородского погрома, еще больше оттолкнув подданных от Годуновых. Со смертью царя Бориса заканчивалась целая эпоха, порожденная опричниной, но в действительности многое позволяло думать о ее возвращении. Царевич Федор Борисович был слишком молод, власть оказывалась в руках царицы Марии Григорьевны, дочери главного опричника, Малюты — Григория Лукьяновича Скуратова-Вельского. Привлечь к себе подданных так, как это сделал Борис Годунов при восшествии на престол, его вдова и сын не успели. На них была перенесена ненависть тех, кто боялся прежнего царя и хотел ему отомстить за этот страх.

От «царевича Дмитрия», напротив, шли обещания жалования. Он первым начал разоблачение «узурпатора». Изощренно угнетавшаяся Борисом Годуновым чужая гордыня князей Мстиславских, Шуйских и Голицыных, расправа с боярами Романовыми — все это немедленно стало проблемой его молодого сына, севшего на трон. Ему следовало простить преступников и объявить амнистию, что он и сделал. Но люди требовали большего, им хотелось, чтобы вернули всех «репрессированных» царем Борисом. Речь уже шла о возвращении из далекого северного монастыря старицы Марфы, матери покойного царевича Дмитрия, которая должна была сама рассказать о смерти сына и тем подтвердить официальную версию годуновского правительства. Говорили, что на это ни за что не соглашалась царица Мария Григорьевна (раньше это странное нежелание узнать «правду» у матери царевича Дмитрия вменяли в вину царю Борису Годунову).

В этот момент на стороне Годуновых выступил еще один участник тех давних событий, боярин князь Василий Иванович Шуйский. Он снова и снова подтверждал то, что в 1591 году погиб настоящий царевич. Его речь, обращенная к народу в Москве, выглядит очень правдоподобной в передаче Исаака Массы:

«Князь Василий Иванович Шуйский вышел к народу и говорил с ним, и держал прекрасную речь, начав с того, что они за свои грехи навлекли на себя гнев Божий, наказующий страну такими тяжкими карами, как это они каждый день видят; сверх того его приводит в удивление, что они все еще коснеют в злобе своей, склоняются к такой перемене, которая ведет к распадению отечества, также к искоренению святой веры и разрушению пречистого святилища в Москве, и клялся страшными клятвами, что истинный Дмитрий не жив и не может быть в живых, и показывал свои руки, которыми он сам полагал во гроб истинного, который погребен в Угличе, и говорил, что это расстрига, беглый монах, наученный дьяволом и ниспосланный в наказание за тяжкие грехи, и увещевал исправиться и купно молить Бога о милости и оставаться твердым до конца; тогда все может окончиться добром». Боярин Шуйский, как всегда, говорил то, что от него требовалось. Пройдет немного времени — и он под давлением обстоятельств признает «воскрешение» царевича Дмитрия, а затем, как все, станет обвинять в его смерти Бориса Годунова (что, впрочем, не противоречит словам князя о том, что он своими руками положил в гроб тело настоящего царевича Дмитрия).

Общий ропот о помиловании тех, кого преследовал царь Борис Годунов, возымел действие. В Москву были возвращены пребывавший долгие десятилетия в опале служилый князь Иван Михайлович Воротынский и один из любимцев Ивана Грозного, некогда опасный конкурент на пути к власти самого Бориса Годунова, окольничий Богдан Яковлевич Вельский. После их «реабилитации» они снова должны были претендовать на участие в управлении и в заседаниях Боярской думы. Все это ослабляло влияние Годуновых и заставляло их нервничать. Не все же были столь покладисты, как боярин князь Василий Иванович Шуйский, успокаивавший народ. Сохранилось известие о какой-то ссоре между боярином Семеном Никитичем Годуновым («первым клевретом» царствования Бориса Годунова, по определению Н. М. Карамзина) и главой Боярской думы князем Федором Ивановичем Мстиславским: «Да Симеон Никитич Годунов убил бы Мстиславского, когда б тому кто-то не помешал, и он называл его изменником Московии и другими подобными именами»[147].

Источник этой распри не составлял большого секрета для окружающих. Всему виной были опасения Годуновых за свою судьбу — опасения, как оказалось, не напрасные.

Подобно своему отцу, царевич Федор Борисович прежде венчания на царство захотел завершить неотложное дело войны с Лжедмитрием. Но этот враг был более опасен для него, чем крымский царь, с угрозой войны с которым пришлось столкнуться Борису Годунову сразу же после избрания на царство. Несколько месяцев самозванец вел безуспешную войну за тот самый престол, который достался сыну Бориса Годунова. Казалось, «царевич Дмитрий» застрял в своем добровольном и безнадежном заточении в Путивле. Но все меняется в этом мире, и колесо фортуны сделало нужный Лжедмитрию оборот.

Путивльский затворник

Оказавшись в начале февраля 1605 года в Путивле, Лжедмитрий должен был поставить крест на своих иллюзиях. Совсем неспроста канцлер Ян Замойский язвительно говорил, что следовало бы «бросить в огонь все летописи и изучать только мемуары воеводы Сандомирского, если его предприятие будет иметь хоть какой-нибудь успех»[148]. Первый приступ оказался неудачным, и все, что оставалось самозванцу, — так это ждать, когда армия царя Бориса Годунова, оправившись от трудных зимних кампаний, обрушится на Путивль. Возвращаться в Польшу «царевичу» не позволяла гордость, он просто забыл на время о предавшем его гетмане Юрии Мнишке и всех своих договоренностях с ним. Не сохранилось ни одного письма Лжедмитрия, отправленного в Самбор в это время, равно как и писем сандомирского воеводы в Путивль. Впоследствии польские дипломаты, ездившие к царю Василию Шуйскому, отбивали упреки в поддержке Юрием Мнишком самозванца с помощью удобного им аргумента: «Чому ж вы его в тот час в Путывлю не достали?»

Но Лжедмитрий не порвал окончательно связи со своими покровителями в Речи Посполитой. Более того, он пытался представить дело так, что достиг успеха и отвоевал себе Северское княжество от Бориса Годунова. К королю Сигизмунду III было направлено обращение жителей Северской земли, которое отвез Сулеш Булгаков. В этом послании они просились «под крыло и защиту королевскую»[149].

Самозванец попытался найти поддержку и у сейма Речи Посполитой, отправив из Путивля в Варшаву князя Ивана Андреевича Татева, пышно поименованного князем Стародубским

и воеводою Черниговским. Что правда, то правда: этот воевода сначала по приказу Бориса Годунова убеждал всех, что Дмитрия нет в живых, и сопротивлялся перевороту в Чернигове, однако потом, как видим, стал доверенным лицом самозванца. Теперь он должен был известить об овладении «Дмитрием» своим Северским «господарством» и просить об очной ставке с посланником Постником Огаревым[150]. Кроме того, Лжедмитрий немедленно сообщал нунцию Клавдию Рангони любые сведения об успехах своих сторонников, продолжавших сопротивление царю Борису Годунову в разных городах.

Однако в Путивле ему следовало быть осторожным. Сохранились известия о лазутчиках царя Бориса Годунова, дважды хотевших убить «царевича». Из дневниковых записей и писем отцов-иезуитов Николая Чижовского и Андрея Лавицкого, находившихся в лагере Лжедмитрия с самого начала похода[151], известно, что в начале марта 1605 года в Путивль были присланы три монаха с грамотами царя Бориса Годунова и патриарха Иова, грозившими разными карами путивлянам за поддержку самозванца. По другим известиям, настоящей целью этих монахов Чудова монастыря было обличение и отравление Лжедмитрия[152].

Самозванец очень рано озаботился и тем, чтобы опровергнуть распространявшиеся правительством Бориса Годунова сведения о себе как о Григории Отрепьеве. В Путивле он демонстрировал некого «Расстригу». Отцы Николай Чижовский и Андрей Лавицкий 8 марта 1605 года сообщали главе польских иезуитов: «Сюда привели Гришку Отрепьева. Это — опасный чародей, известный всей Московии. Годунов распространяет слух, будто царевич, явившийся из Польши с ляхами и стремящийся завладеть московским престолом, — одно лицо с этим колдуном. Однако для всех русских людей теперь ясно, что Димитрий Иванович совсем не то, что Гришка Отрепьев»[153].

Своей цели этот маневр достиг. На какое-то время Лжедмитрий заставил замолчать тех, кто принимал официальную версию царя Бориса Годунова. Однако показательно, что лжеОтрепьева видели только в Путивле; когда же надобность в нем отпала, его просто бросили в тюрьму. Автор «Иного сказания», думавший, что это был старец Крипецкого монастыря Леонид, постоянно находившийся при Лжедмитрий, не преминул подчеркнуть это обстоятельство: «…а который старец именем Леонид с ним шел до Путимля, а назывался его именем Гришкиным Отрепьевым, и показал многим его в Литве и в Северских пределех, и в Путимле его в темницы засадил бутто за вину некоторую»[154].

Пребывание Лжедмитрия в Путивле не было веселым. Он

явно тяготился наступившим бездействием. Ему всегда было трудно усидеть на одном месте, он был деятелен и смел, искал приключений в охоте и войне. Но «царевич» оказался в Путивле в дни поста и должен был усмирить свои желания. Николай Чижовский и Андрей Лавицкий рассказывали, что 20 апреля Дмитрий позвал их и стал говорить, что «государь должен отличаться в двух областях: в искусстве войны и в любви к наукам»[155]. После такой неожиданной прелюдии он изъявил желание поучиться философии, грамматике и литературе и уже на следующий день слушал чтение книги древнеримского писателя Квинтилиана — вероятно, его известного наставления в ораторском искусстве.

Нунций Рангони тоже не смог умолчать в своем донесении новому папе Павлу V о похвальном стремлении Дмитрия брать «уроки риторики и диалектики», впрочем, как и о том, что ученика хватило только на три дня. Все дело было в том, что на Дмитрия теперь смотрели очень внимательно, и ежедневные встречи с монахами-иезуитами не могли вызвать одобрения путивлян. Лжедмитрий, по словам нунция Рангони, демонстративно «объявил себя православным и приобщился с ними». Правда, потом тайно исповедовался в своем «грехе», успокаивая иезуитов, которым даны были указания соблюдать предосторожности, чтобы никто не знал об истинной принадлежности Дмитрия к католичеству. Помимо всего прочего в начале мая 1605 года Лжедмитрий заболел какой-то лихорадкой, и капелланы смогли вылечить его с помощью «безоара», известного в русских лечебниках как безуй-камень. Этот камень органического происхождения (его находили в желудках некоторых животных) привозили из Индии, он считался универсальным средством, помогающим при всех болезнях, а также избавляющим от «порчи». Все это могло еще больше утвердить Дмитрия в доверии к отцам-иезуитам и их лекарствам[156].

Каким бы ни представлялось это дело в Ватикане, очевидно, что внешне Дмитрий вел себя как настоящий православный государь. Известно, что из Курска к нему была привезена икона Курской Божьей Матери, ставшая покровительницей всего его похода. Дмитрий любил демонстрировать, что находится под Божественным покровительством. Даже нунцию Клавдию Рангони, пребывавшему далеко от арены военных действий, было известно, что перед каждой битвой Дмитрий преклонял колена и говорил: «Господи, Ты, Который все знаешь, если правда на моей стороне, то помоги и защити меня, если же нет, то пусть на меня снизойдет Твой гнев». Точно так же самозванец вспоминал о

заступничестве высших сил, когда его убеждали быть осторожным и опасаться измены и покушений: «Бог, который спас меня от ножа, защитит меня и теперь»[157]. Со временем это стало его твердым убеждением. В очередной раз оно подтвердилось в апреле 1605 года, когда Путивля достигло известие о внезапной смерти царя Бориса Годунова.

Живой царь Борис был сильным врагом, но его смерть подарила самозванцу надежду. Дела с передачей царской власти в Москве приостановили осаду Кром. Сначала надо было привести стоявшее там войско к присяге, чтобы оно продолжило борьбу с Лжедмитрием именем нового царя из рода Годуновых. 1 мая 1605 года, одновременно с рассылкой грамот по городам о присяге царице Марии Григорьевне и царю Федору Борисовичу, в войско под Кромами были отправлены новые воеводы, бояре князь Михаил Петрович Катырев-Ростовский и герой новгород-северской обороны Петр Федорович Басманов. Следом, 3 мая, из Москвы была отправлена роспись полков, которыми должны были командовать эти воеводы: «А велел им быти под Кромами по полком, а роспись послал царевич после их, майя в 3 день». Этому разрядному документу суждено было стать источником грандиозной ссоры в полках, решившей участь едва начавшегося царствования Федора Борисовича Годунова.

Царевичу, продолжавшему выстаивать заупокойные службы по умершему отцу, было еще недосуг вникать во все детали управления, и он перепоручил их тому же, кому доверял Борис Годунов, — боярину Семену Никитичу Годунову. Тот решил сразу же обозначить, кто будет править при молодом царе. Из родственных побуждений и даже без ведома царя Федора Борисовича, как подчеркивалось потом в разрядных книгах, первый царский боярин назначил своего зятя боярина князя Андрея Андреевича Телятевского командовать сторожевым полком. Это и было той роковой ошибкой, которая обусловила всю последующую цепочку событий, включая переход войска под Кромами на сторону самозванца, гибель Годуновых и воцарение Дмитрия Ивановича.

Но обо всем по порядку. В разрядах сохранилось живое описание реакции воеводы боярина Петра Федоровича Басманова, назначенного по злополучной росписи только вторым воеводой Большого полка. «И как тое роспись прочли бояре и воеводы, — записал составитель разрядной книги, — и Петр Басманов, падчи на стол, плакал, с час лежа на столе, а встав с стола, являл и бил челом бояром и воеводам всем: „Отец, государи мои, Федор Олексеевич точма был двожды болыни деда князь Ондреева, а царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии как меня

пожаловал за мою службу, а ныне Семен Годунов выдает меня зятю своему в холопи, князю Ондрею Телятевскому; и я не хочу жив быти, смерть приму, а тово позору не могу терпети“». Комментируя это известие, С. Ф. Платонов справедливо заметил, что «через несколько дней Басманов тому позору предпочел измену»[158]. Петр Басманов забыл или не хотел помнить, что его отец Федор Алексеевич Басманов возвысился благодаря тому, что ходил в фаворитах у царя Ивана Грозного. У рода тверских князей Телятевских поэтому могли быть свои счеты с бывшими опричниками, отодвинувшими на время родословную знать.

Назначение боярина князя Андрея Андреевича Телятевского перессорило и тех, кто был раньше просто лоялен Борису Годунову, и тех, кто входил в их родственный круг. Недовольным оказался еще и воевода полка левой руки стольник Замятия Иванович Сабуров. Он также отреагировал резко, не стал ссылаться на свою тяжелую болезнь («в те поры конечно лежал болен»), а заносчиво отослал роспись обратно новому главному воеводе князю Михаилу Петровичу Катыреву-Ростовскому со словами: «По ся места я, Замятия, был больши князя Ондрея Телятевсково, а ныне меня написал Семен Годунов меньши зятя своево, князя Ондрея Телятевсково».

Царь Борис Годунов жаловал стольника Замятию Сабурова и даже разрешал ему «задирать» своими местническими претензиями самого боярина князя Василия Васильевича Голицына. Вот и в этот раз под Кромами Замятия Сабуров решил показать, что он думает о местническом положении своего рода, и снова подал челобитную «о местах» на воеводу полка правой руки под Кромами боярина князя Василия Васильевича Голицына (через голову воевод передового и сторожевого полков, в том числе своего обидчика князя Телятевского)[159]. Боярину князю Василию Васильевичу Голицыну повторение местнического наскока Сабурова тоже должно было казаться вызовом, потому что его уже и так обошли, снова, как и в 1598 году, оставив далеко от Москвы во время царского избрания.

Наконец, назначение боярина Петра Федоровича Басманова, в свою очередь, пришлось не по вкусу второму воеводе полка правой руки князю Михаилу Федоровичу Кашину, который «бил челом на Петра Басманова в отечестве и на съезд не ездил, и списков не взял»[160].

Таким образом, несмотря на то, что под Кромами почти все воеводы всех пяти полков (за исключением боярина князя Василия Васильевича Голицына) входили в число заметных сторонников Годуновых, согласия между ними не оказалось.

Надо учесть и то, что в Путивле очень умело

противодействовали официальной версии о расстриге Григории Отрепьеве, показывая там лже-Отрепьева[161]. Самозванец, получив известие о смерти Бориса Годунова, развил бурную агитационную деятельность. Его лазутчики и эмиссары вели переговоры и привозили сведения о том, что происходит в Москве и в армии. Возобновились контакты самозванца с бывшим гетманом его войска — сандомирским воеводой Юрием Мнишком. 1 мая 1605 года «царевич Дмитрий» извещал его из Путивля о смятении, царившем в войске под Кромами, расколовшемся на сторонников Годуновых и тех, кто держался стороны Дмитрия.

Причины поддержки самозваного царевича могли быть самые разные, но настоящую силу ему придавала только убежденность людей в его «прирожденности». Отражением таких размышлений о происхождении внезапно явившегося «царевича» были и метания главных воевод под Кромами — братьев князей Василия и Ивана Голицыных и Петра Басманова, переданные автором «Иного сказания». Московские воеводы тоже видели «бывшее в пол цех сомнение и смятение» и размышляли, склоняясь все-таки к принятию того, кто называл себя сыном самого Ивана Грозного: «А худу и неславну человеку от поселян, Гришке ростриге, как такое начинание возможно и смети начати?»

Действительно, по сию пору трудно оспорить изощренность замысла самозваной идеи. И кто осудит современников, знавших только одно имя претендента на престол и не отдававших ясного отчета о последствиях своего выбора? Принималось во внимание и другое: поддержка, якобы оказанная «царевичу» королем Сигизмундом III: «Да не без ума польский и литовский король ему пособляет». Но это была явная ошибка. Создавалось впечатление, что скорее хотели убедить себя в том, что можно оправдать свое нежелание дальше терпеть униженное положение при Годуновых. Поэтому главным аргументом перехода на сторону Дмитрия стало откровенное стремление к самосохранению: «Да лучше нам неволи по воле своей приложитися к нему, и в чести будем; а по неволи, но з бесчестием нам у него быти же, видя по настоящему времени»[162].

Так решилась участь Борисова сына, которого вместе с прежними присягами царю Борису Годунову и его семье разменяли на обещавшее благополучие царствование «сына Грозного».

Присяга войска под Кромами новой царице Марии Григорьевне и царю Федору Борисовичу закончилась, едва начавшись. Новгородского владыку Исидора, приехавшего для приведения войска к крестному целованию, отослали обратно в Москву[163], а армия разделилась на тех, кто целовал крест новым

самодержцам из рода Годуновых, и тех, кто не стал этого делать.

После такого открытого неповиновения вооруженное выступление сторонников Дмитрия оставалось делом ближайшего времени. Самым удивительным оказалось то, что мятеж возглавили воеводы годуновского войска, устроив настоящий заговор в пользу «царевича Дмитрия». По сообщению разрядных книг, «тово же году майя в 7 день изменили под Кромами царевичю князю Федору Борисовичю всеа Русии, забыв кресное целованье, и отъехали к Ростриге к Гришке Отрепьеву, которой назвался царевичем Дмитреем Ивановичем всеа Русии, а отъехали у Кром ис полков: воевода князь Василей Васильевич Голицын, да брат ево родной князь Иван Васильевич Голицын, да боярин и воевода Петр Федорович Басманов; а с собою подговорили князей и дворян и детей боярских северских и резанских всех городов до одново человека, да новгороцких помещиков, и луцких князей и псковских, и детей боярских с собою подговорили немногих, и крест Ростриге целовали»[164]. Тем, кто не примкнул к этому заговору, оставалось одно — возвратиться в Москву.

До измены под Кромами бояр Голицыных и Басманова у самозванца не существовало никаких параллельных органов власти вроде Боярской думы. Да и не могло существовать по малочисленности его сторонников из числа членов Государева двора. Теперь московская Дума оказалась не просто расколотой политически, ее представители служили разным претендентам на престол. Ситуация не столь редкая, если не сказать, обычная для времени Смуты в целом, но в 1605 году все еще только начиналось.

У преданного своими боярами молодого царя Федора Борисовича не осталось исторической перспективы. Сколь ни готовил его отец к будущему правлению, действовать самостоятельно он, видимо, не мог. Да и самые умудренные опытом бояре на фоне Бориса Годунова выглядели не лучшим образом, о чем позаботились трудная история предшествующих десятилетий и сделанный ею «отбор». Мать царя — дочь главного опричника Малюты Скуратова, безропотный князь Федор Иванович Мстиславский, послушный князь Василий Иванович Шуйский, грубые и алчные представители рода Годуновых — казначей Степан Никитич и дворецкий Степан Васильевич — вот кто оказался рядом с только начинавшим править царем. Другие, как князья Голицыны или Романовы, хотя и могли в этот момент включиться в правительственную деятельность, но уже много лет были на положении гонимых и опальных. Того же, кого приближал царь Борис, — боярина Петра Федоровича Басманова,

вполне готового встать во главе новой «Избранной рады», — так бездарно поссорили с молодым царем первым же разрядным назначением.

Стоит пожалеть, что история оказалась жестокой к царю Федору Борисовичу. Его душа не была отягощена грехами, и на него не падали такие страшные подозрения, как на его отца царя Бориса Годунова. Сам Борис Годунов охранял своего сына, заботясь о лучшей доле для него. А Борис давно доказал, что если чего-то захочет, то сумеет этого добиться. Он научил сына придворным церемониям, поведению на посольских приемах, но, кроме того, у царевича Федора было многое другое, что позволило бы ему со временем стать достойным правителем. Он внутренне был готов продолжить линию «милостивого» периода правления Бориса Годунова, его курс на сближение с западными странами, заведение в России наук и училищ. Известен чертеж Москвы, составленный по рисунку царевича Федора Борисовича. А значит, очень скоро мы бы могли иметь и более подробную карту Московского государства? Но никакого времени не было отпущено царю Федору Борисовичу. Он и его сестра Ксения остались в истории невинными жертвами чужой злобы и зависти, хотя их человеческие лица запомнились современникам.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский дал такую характеристику царю Федору Борисовичу: «Царевич Феодор, сын царя Бориса, отроча зело чюдно, благолепием цветущи, яко цвет дивный на селе, от Бога преукрашен, и яко крин в поле цветущ, очи имея велики черны, лице же ему бело, млечною белостию блистаяся, возрастом среду имея, телом изообилен. Научен же бе от отца своего книжному почитанию, во ответех дивен и сладкоречив велми; пустотное же и гнило слово никогда же изо уст его исхождаше; о вере же и о поучении книжном со усердием прилежаше».

Жалели о судьбе несчастного сына Бориса Годунова и в других странах. Английский дипломат, побывавший в России, даже сравнил его с самым известным шекспировским героем и с сожалением писал о жизни царевича Федора Борисовича Годунова, которая «подобно театральной пьесе… завершается ныне ужасною и жалостною трагедией, достойной стоять в одном ряду с Гамлетом»[165].

Если бы такая пьеса о Федоре была бы действительно написана, то одной из самых сильных сцен в ней должна была бы стать встреча Лжедмитрием в Путивле посольства от армии из-под Кром во главе с боярином князем Иваном Васильевичем Голицыным…

Встреча сына Грозного

Движение из Путивля к Москве, начатое Лжедмитрием 15 (25) мая 1605 года, для самозванца стало временем давно ожидавшегося триумфа, его ждали, как восход «закатившегося солнца»[166]. Он хорошо играл роль сына Ивана Грозного и уже никому не позволил украсть свою победу.

Как известно, «короля играет свита». Посмотрим на окружение «царевича Дмитрия» в период его похода на Москву.

Можно заметить, как «свита» эта увеличивалась по мере движения самозванца к столице. Во время его остановки в Кромах 19 мая 1605 года он с недоумением обнаружил брошенный лагерь и оружие, пополнившее его арсенал. Большинство войска или самостоятельно разъехалось по деревням, не желая участвовать в дальнейших боях, или отошло с главными воеводами в соседний Орел. Намерения самозванца уже в известной степени стали выясняться, и его первые шаги оправдывали ожидания. К «царевичу» снова вернулась его деятельная энергия, и он продолжал привлекать всех недовольных правлением Бориса Годунова. Борьба с оставшимися Годуновыми, их многочисленными родственниками и сторонниками становилась первоочередным делом. В соответствии с этой моделью самозванец делал свои назначения. Первыми в Боярскую думу нового царя вошли те, кто подобно князю Василию Михайловичу Рубцу Мосальскому оказал неоценимые услуги самозванцу во время его боев с правительственной армией царя Бориса Годунова и дальнейшего путивльского стояния. Можно отметить службу другого «боярина» — князя Бориса Михайловича Лыкова, посланного из Путивля к Кромам приводить к присяге остатки годуновской армии. Первым боярином самозванца по своему происхождению, безусловно, стал князь Василий Васильевич Голицын. Другой Голицын, Иван Васильевич, не имевший думного чина, ездил в посольстве из-под Кром в Путивль. Имея на своей стороне столь родовитых людей, самозванец мог надеяться привлечь к себе и других тайных и явных врагов Годуновых.

Маршрут «царевича Дмитрия» от Кром лежал на Орел, Крапивну, Тулу и Серпухов[167]. Если жизнь в Путивле отец Андрей Лавицкий сравнивал с пребыванием «корабля в какой-либо гавани после стольких крушений», то, вырвавшись на открытую воду, корабль этот устремился вперед на всех парусах[168]. В Орле стал очевидным начавшийся лавинообразный переход жителей близлежащих украинных городов, а также членов Боярской думы и Государева двора, других служилых людей на сторону

самозванца. Князь Василий Васильевич Голицын сначала из предосторожности приказал связать себя под Кромами, а потом, отправив брата в Путивль с тысячным отрядом, стал дожидаться вестей от него. Известия оказались самыми благоприятными, и князь Василий наконец-то мог вкусить подобающие значению его рода почести.

Ко времени прихода в Орел окружение царевича Дмитрия (уберем с этого момента кавычки) стало выглядеть уже как полновесное правительство. В него, кроме Голицыных, вошли бояре Михаил Глебович Салтыков и Петр Федорович Басманов, пришедшие к Дмитрию «в дорозе» со своими отрядами по 200 человек. Примкнул к антигодуновскому движению и близкий к Романовым воевода Федор Иванович Шереметев. О значимости переходов именно этих лиц на сторону царевича Дмитрия по дороге из Путивля к Москве свидетельствует то, что в дальнейшем на их добровольную присягу ссылались как на аргумент послы Речи Посполитой на переговорах в 1608 году, отвергая упреки в поддержке королем Сигизмундом антигодуновского движения[169].

Пока самозванец шел походом к Москве, в столице происходили заметные перемены. Всем, начиная от главы Боярской думы князя Федора Ивановича Мстиславского и кончая последним «черным мужиком», нужно было сделать выбор, кому служить дальше. Настроение людей нельзя было определить однозначно. Были и обиженные Годуновыми, были и те, кто видел в них единственных благодетелей. Интересно, что сторонним польско-литовским наблюдателям царь Борис Годунов казался тираном для своих бояр и шляхты, но милостивым правителем для крестьян, которые добром вспоминали его и несколько лет спустя после смерти: «Мужиком чорным за Борыса взвыши прежних господаров добро было, и они ему прамили; а иншые многие в порубежных и в ыншых многих городах и волостях и теперь Борыса жалуют. А тяжело было за Борыса бояром, шляхте; тые потому ему самому, жене и детем его прамити не хотели». Послы Речи Посполитой Станислав Витовский и князь Ян Соколинский имели основание проговорить в 1608 году то, в чем не хотели или боялись признаться сами себе жители Московского государства: «…а именно, тыранства Борисового не могучи и не хотечи долже зносить и терпеть, болши вжо тому Дмитру, ани ж самому Борису прамили»[170].

Царице Марии Григорьевне и царю Федору Борисовичу оставалось только наблюдать за этим нарастающим изменением настроений. Москва оказалась незащищенной не только от войска самозванца, но и от агитации его тайных и явных сторонников.

Все, что смогло тогда сделать оставшееся верным Годуновым стрелецкое войско, — так это остановить движение передовых отрядов царевича Дмитрия у Серпухова.

Перелом произошел 1 июня 1605 года, во время известных событий в Москве, когда Гаврила Григорьевич Пушкин и Наум Михайлович Плещеев привезли, как написано в разрядах, «смутную грамоту» самозванца.

Сначала посланцы Лжедмитрия приехали в подмосковное Красное село, где «мужики красносельцы» с готовностью откликнулись на их призыв поддержать царя Дмитрия и решили пойти в столицу поднимать «мир». Автор «Нового летописца» рассказал о том, как все было еще неопределенно в тот день. Царь Федор Борисович, узнав о выступлении, послал своих людей, чтобы те схватили изменников. Однако царские слуги не смогли справиться с нараставшим бунтом: «испужався, назад воротишася». Толпа двинулась из Красного села на Красную площадь, увлекая за собою тех, кто впервые узнавал о приближении царевича Дмитрия к Москве. Под охраной своих новых сторонников Гаврила Пушкин и Наум Плещеев дошли до Лобного места, где и огласили свою знаменитую грамоту.

Ее текст сохранился и был целиком включен в состав «Иного сказания» для последующего обличения Расстриги. В условиях похода «прирожденного» царевича к Москве появление грамоты оказалось тем сигналом, которого ждали многие, чтобы «мир» снова вступил в свои бунташные права в Московском государстве.

В Москву писал не какой-нибудь Григорий Отрепьев и даже не царевич, а царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси. Жители Москвы хотели услышать и услышали в тексте грамоты нотки подзабытого, но такого знакомого голоса Грозного царя. Обращение было адресовано названным по имени главным боярам князю Федору Ивановичу Мстиславскому и князьям Василию Ивановичу и Дмитрию Ивановичу Шуйским, а вместе с ними всем чинам: боярам, московским дворянам, жильцам, приказным людям и дьякам, городовым дворянам и детям боярским, гостям, торговым и «всяким черным людям». Перечень чинов составлен в соответствии со всеми канонами приказной практики и не мог вызвать никаких подозрений относительно того, что царевич, появившийся из Речи Посполитой, не является природным москвичом. Более того, авторы грамоты даже не обращались к служилым иноземцам, которых царь Борис Годунов жаловал более всего. Нет в перечне чинов и патриарха Иова с освященным собором, вопреки тому как передается начало грамоты, привезенной Пушкиным и Плещеевым и прочитанной ими на Лобном месте, в разрядных книгах[171]. Отсутствие имени

первоиерарха Русской церкви было вполне логичным для царевича Дмитрия, устранившего Иова с патриаршего престола.

В грамоте, появившейся в Москве 1 июня 1605 года, всех призывали вернуться к прежней крестоцеловальной записи царю Ивану Грозному и его наследникам. Излагалась история чудесного спасения царевича Дмитрия от замысла изменников, присылавших в Углич «многих воров» и велевших «нас портити и убити». Обстоятельства спасения царевича от смерти были спрятаны за высоким риторическим оборотом: «…и милосердый Бог нас великого государя от их злодейских умыслов укрыл, оттоле даже до лет возраста нашего в судбах своих сохранил». Острие гнева было направлено на главного изменника — неправедно воцарившегося Бориса Годунова. Жителям Московского государства напоминали, как со времени царствования Федора Ивановича он «владел всем государством Московским, и жаловал и казнил кого хотел». Для каждого находился свой аргумент, чтобы он отказался от прежней службы «изменнику» Борису Годунову: боярам, воеводам, «родству нашему», писал царь Дмитрий, были «укор, и поношение, и бесчестие»; «а вам, гостем и торговым людем, и в торговле в вашей волности не было и в пошлинах, что треть животов ваших, а мало и не все иманы». Как видим, обещание снижения налогов всегда являлось действенным инструментом политической борьбы…

Царь Дмитрий обещал также никому не мстить за участие в войне против него: «На вас нашего гневу и опалы не держим, потому что есте учинили неведомостию и бояся казни». Стоявший некогда во главе годуновской армии князь Федор Иванович Мстиславский и другие бояре, к которым была обращена грамота, вполне могли найти ответ на главный волновавший их вопрос. Чтобы убедить сомневающихся, царь Дмитрий ссылался на те города, которые добровольно принесли ему присягу, и раскрывал перед жителями Москвы картину оказанной ему широкой поддержки (конечно, более воображаемой, чем действительной). Речь шла о присяге «Поволских городов» и Астрахани, усмирении Ногайской орды, якобы уже тогда слушавшейся указов царя Дмитрия. Сильным аргументом стала судьба несчастной Северской земли, потому что всем было известно произошедшее недавно по распоряжению Бориса Годунова разорение Комарицкой волости. Теперь все это зло вернулось царице Марии Григорьевне и царю Федору Борисовичу: «…о нашей земли не жалеют, да и жалети было им нечего, потому что чужим владели». Здесь оказалось уместным вспомнить о неких «иноземцах», которые «о вашем разорении скорбят и болезнуют», а «нам

служат». Но кто тогда мог иметь представление о характере и реальной силе поддержки, оказанной царевичу Дмитрию бывшими непримиримыми врагами Московского государства?

Заканчивалась «смутная грамота» призывом «добить челом» царю Дмитрию Ивановичу и прислать для этого представителей всех чинов (здесь единственный раз были упомянуты митрополиты и архиепископы). Выбор был более чем определенный: «всех вас пожалуем» — в противном же случае «от нашия царьския руки нигде не избыти»[172]. В тексте грамоты в «Ином сказании» еще добавлено: «…и ни в материю утробу не укрытися вам»[173].

Теперь будут понятнее мотивы красносельских мужиков, первыми поддержавших посланников царя Дмитрия и приведших их под своей охраной на Лобное место. «Мир» и так колебался; получив же прощение всех грехов и обещание будущего жалованья, люди бросились на штурм Кремля. Все, что произошло дальше, в Смутное время будет повторяться с удручающей частотой: у «мира» появлялись вожди — и они присваивали власть. Те «черные люди», на плечах которых въезжал в Кремль очередной временщик, имели лишь сомнительное удовольствие короткого грабежа. На несколько дней у участников бунта появилось чувство восторжествовавшей справедливости. После целования креста новому самодержцу возбужденный народ бросился на расправу с Годуновыми и их родственниками. В тот день еще удалось удержаться от кровопролития, царица Мария Годунова и царь Федор Борисович были только сведены с престола и заключены под охраной приставов «на старом дворе царя Бориса». У архиепископа Арсения Елассонского, грека, имевшего чин архиерея кремлевского Архангельского собора, были все основания написать в своих мемуарах, посвященных Смутному времени: «Быстро глупый народ забыл великую доброту отца его Бориса и неисчислимую милостыню, которую он раздал им»[174].

Появление вооруженной толпы в царских покоях, куда в мирное время не пускали ни одного боярина с оружием, опьянило толпу. Патриарх Иов позднее упрекал свою паству, что она свергла с престола царицу Марию и царевича Федора, предав их «на смерть». Он вспоминал, что вооруженные люди смерчем прошлись по всему Кремлю, не пощадив никаких святынь: «и воображение Ангелово, иже устроено было на гроб Спасов, раздробиша и позорующе носили по царьствующему граду Москве». Так начинал рушиться замысел царя Бориса о Москве как о Новом Израиле. Самого патриарха Иова вывели из алтаря Успенского собора прямо во время литургии, а толпа ходила по

храму «со оружием и дреколием». Главу православной церкви, известного своей приверженностью Годуновым, «по площади таская позориша многими позоры»[175].

Продолжением дня 1 июня 1605 года стал грабеж других Годуновых и их родственников Сабуровых и Вельяминовых. По известию в разрядной книге, «и как тое грамоту прочли, и тово ж дни в суботу миром всем народом грабили на Москве многие дворы боярские, и дворянские, и дьячьи, а Сабуровых и Вельяминовых всех грабили»[176]. «Новый летописец» говорит о том же: «Годуновых и Сабуровых, и Вельяминовых переимаху и всех поведоша за приставы. Домы же их все розграбиша миром: не токмо животы пограбили, но и хоромы розломаша и в селех их, и в поместьях, и в вотчинах также пограбиша»[177]. Снова, как после смерти царя Ивана Грозного, дело не обошлось без Богдана Вельского, прощенного и возвращенного на свою беду царем Федором Борисовичем. Богдан Вельский кричал на Лобном месте: «Яз за царя Иванову милость ублюл царевича Дмитрия, за то и терпел от царя Бориса». Ему хотели верить и верили, увлекаясь поддержкой бывшего фаворита Грозного царя.

Мятеж именем царя Дмитрия удался. Боярской думе оставалось послать повинную в Тулу, что она и сделала, отправив туда 3 июня бояр князя Ивана Михайловича Воротынского и князя Андрея Андреевича Телятевского. Если князю Воротынскому, много лет находившемуся в опале от Бориса Годунова, нечего было опасаться, то князя Телятевского, одного из главных воевод под Кромами, да еще зятя временщика Семена Никитича Годунова, ожидал более чем прохладный прием. Создается впечатление, что Дума испытывала царя Дмитрия и хотела посмотреть, выполнит ли он свои обещания и пощадит ли покаявшихся врагов.

Тогда же по приговору Боярской думы были отправлены бить челом «прирожденному царевичу» Сабуровы и Вельяминовы. Таков был ответ ограбленным родственникам Годуновых на просьбу о защите. На следующий день они принесли повинную в Серпухове, однако по приказу «недруга их» боярина Петра Федоровича Басманова были взяты под стражу, «за приставы». Точно так же едва «не убиша» и князя Андрея Телятевского.

О том, насколько посольство Боярской думы было неприятно царю Дмитрию Ивановичу, говорит известный факт: он предпочел прежде них принять донских казаков, приехавших одновременно с боярами. Последним сразу указали их место за прежние измены, поставив выше казацкую поддержку. Но в целом для боярской депутации все закончилось одним церемониальным ущербом. Царь Дмитрий Иванович и его новые бояре

подтвердили, что все их счеты в основном связаны с врагами из стана Годуновых.

В Москве продолжались расправы. При этом не щадили ни живых, ни мертвых. 5 июня толпа совершила еще одно символическое действие, окончательно разрывавшее связи с царем Борисом Годуновым. Как вспоминал архиепископ Арсений Елассонский, оказавшийся свидетелем многих событий в Кремле, тело царя Бориса было низвергнуто из кремлевского Архангельского собора «ради поругания» и отвезено в бедный Варсонофьевский монастырь на Сретенке. Целую неделю продолжался грабеж Сабуровых и Вельяминовых. Только 8 июня в тюрьму посадили из них 37 человек[178].

С этого момента в столице уже правили именем царя Дмитрия Ивановича. Новый царь еще не вошел в Москву, а по стране рассылались грамоты о занятии им престола. Одна из таких грамот «от царя и великого князя Дмитрия Ивановича всеа Русии» была отправлена из Москвы 6 июня 1605 года и через 12 дней получена в далеком Сольвычегодске. В ней царь Дмитрий просто объявлял, что «Бог нам великому государю Московское государьство поручил». Вольно или невольно вводя в заблуждение сольвычегодцев, Новгородская четверть, которой подчинялся этот город, указывала на то, что даже патриарх Иов «в своих винах добил челом».

С самого начала царствования права на престол царя Дмитрия Ивановича подтверждались родством с Иваном Грозным. Подданным нужно было запоминать имя новой царицы и великой княгини, «иноки Марфы Федоровны всеа Русии» — седьмой жены царя Марии Нагой. После этих грамот никто уже не говорил, что у ее сына не было канонических прав на престол. Не менее любопытна и вторая грамота, привезенная в Сольвычегодск. Она запрещала до особого указа тратить собранную казну и запасы: «И того бы естя берегли накрепко, чтоб над нашею казною и над хлебом никто хитрости никакия не делали»[179]. Какой бы ни была новая власть, а начинать ей нужно было с того, с чего начинали и предшественники: с обыкновенных забот по управлению государством и наполнения бюджета Московского государства.

Царь Дмитрий, даже после принесенной ему в Москве присяги, продолжал выдерживать паузу и не спешил с вступлением в столицу. Камнем преткновения оставалась судьба свергнутой царицы Марии Григорьевны и царя Федора Борисовича Годунова. Не решив, что делать с ними, нельзя было даже и надеяться на то, что передача престола завершится мирно. Исполнить тяжелую миссию был послан из Тулы боярин князь Василий Васильевич Голицын. Вместе с ним приехали в Москву

князь Василий Михайлович Рубец Мосальский, а также печатник и думный дьяк Богдан Иванович Сутупов. Им и пришлось выполнить самую черную палаческую работу для самозванца.

Об их тайной миссии, естественно, почти ничего не известно. Все видели, как несколько человек вошли в покои на старом дворе Бориса Годунова, где содержались царица Мария и царь Федор. Автор «Нового летописца» упоминает, что боярин князь Василий Васильевич Голицын и главный приближенный человек царя Дмитрия князь Василий Михайлович Рубец Мосальский «взя с собою» еще двух исполнителей — Михаила Молчанова и дьяка Андрея Шерефединова и «трех человек стрельцов». Ни у одного из них не было оснований любить Годуновых (особенно у бывшего думного дьяка Андрея Шерефединова, низвергнутого в коломенские выборные дворяне), что все они и доказали своими «изменами» царю Борису и его наследникам. Спустя некоторое время к народу вышел боярин князь Василий Васильевич «с товарыщи» и объявил «мирови», «что царица и царевич со страстей испиша зелья и помроша, царевна же едва оживе». Так случился первый из череды «апоплексических ударов» в русской истории, который повторится потом с Петром III и Павлом I.

«Самоубийство» матери и сына Годуновых стало официальной версией нового царя[180], устрашившегося прямой казни тех, кто был главным препятствием на его пути к царскому венцу. Царь Дмитрий уравнялся в «злодействе» с тем, кого он так страстно обличал. Однако у казни Годуновых оказалось слишком много свидетелей, поэтому скоро стало известно о том, что произошло в действительности. Драматичное и тяжелое описание событий на старом годуновском дворе осталось в летописях. Оно может вызвать только сочувствие к страданиям жертв и презрение к убийцам. Описывая это убийство в XIX веке, С. М. Соловьев просто опустил подробности, написав, что отчаянно боровшегося Федора убили «самым отвратительным образом»[181].

Архиепископ Арсений Елассонский, хорошо знавший царскую семью Годуновых, писал о Федоре как о «прекрасном сыне» Бориса Годунова. В его мемуарах говорится, что царь Федор Борисович был убит вместе с матерью спустя пять дней после их сведения с престола. В любом случае эта тяжелая драма русской истории произошла не позднее 6 июня 1605 года, когда Лжедмитрий посчитал «порученным» ему Московское царство.

Участь Ксении Годуновой, «красивейшей дочери» царя Бориса, по словам того же архиепископа Арсения, решилась только пять месяцев спустя, когда ее постригли в монахини под именем Ольги и отправили в ссылку в один из белозерских монастырей (по сведениям «Нового летописца», в «Девич

монастырь» во Владимире)[182]. Столь долгое время, в течение которого она находилась на положении фактической пленницы самозванца, дало повод для толков. Многие, как автор «Иного сказания», были убеждены, что Лжедмитрий оставил ее в живых, «дабы ему лепоты ея насладитися, еже и бысть»[183]. История эта темная и такая же неприглядная, как другие обстоятельства, связанные с устранением Годуновых от власти. Еще один из слухов передавал дьяк Иван Тимофеев, писавший в своей витиеватой манере об удержании Ксении Годуновой самозванцем «в некоем угождаемаго ему и приближна нововельможи дому». Впрочем, слова из «Временника» Ивана Тимофеева «яко несозрела класа (колоса) пожат, во мнишеская облек»[184] все-таки, скорее, относятся к насильственному постригу Ксении Годуновой. Еще один информированный свидетель происходивших событий капитан Жак Маржерет не обратил особого внимания на всю эту историю, указав, что дочь Бориса Годунова «была оставлена под стражей»[185]. Однако присутствие Ксении Годуновой в Москве раздражало будущего тестя Лжедмитрия I воеводу Юрия Мнишка, который требовал ее удаления из столицы. Учитывая отзывы некоторых поляков о том, что царь Дмитрий был не слишком воздержан «в делах богини Венеры» *(«in re venerea»),* надо думать, что подозрения современников относительно судьбы несчастной Ксении Годуновой могли быть небезосновательными.

Следующим делом, которое тоже должен был исполнить боярин князь Василий Васильевич Голицын, стало сведение с престола патриарха Иова. Канонические правила не позволяли светской власти вмешиваться в дела церкви, чей первоиерарх пожизненно занимает патриарший престол. Иначе было в православной России. Первому избранному на патриарший престол патриарху Иову пришлось покидать место своего служения в Москве. Слишком велики были его заслуги в деле избрания на царство Бориса Годунова, слишком близким к нему человеком он был и слишком активно помогал разоблачать появившегося ниоткуда «царевича». Простить этого самозванец не мог. Лжедмитрию I еще только предстояло взойти на престол и пройти обряд венчания на царство. Думая об этом, как и о многом другом — о будущей свадьбе с Мариной Мнишек, роли католической церкви в Московском государстве, он не мог рисковать тем, чтобы все его завоевания разбились об авторитет патриарха Иова и его обличительные слова, сказанные с амвона Успенского собора в Кремле.

По описанию «Нового летописца», с патриарха были сняты святительские одежды, но он и сам не сопротивлялся, покорно отдав себя в руки тех, кто исполнял волю царя Дмитрия.

Патриарх Иов «вернул» свою панагию иконе Владимирской Богоматери, долго молился перед ней и «плакася на мног час». В обычной чернецкой одежде, усадив на телегу, патриарха увезли в ссылку в Старицу, откуда начиналось его церковное служение.

«Добровольный» уход патриарха был обставлен так, что Иов удаляется в старицкий Успенский монастырь «на обещание»[186]. В годы опричнины он служил там игуменом и должен был прекрасно знать судьбу опального митрополита Филиппа Колычева, казненного опричниками Ивана Грозного в Твери…

После всех этих событий другого выбора, как только служить царю Дмитрию, ни у кого не оставалось. 11 июня датируется рассылка окружного послания о приведении к кресту жителей всех городов во имя «прирожения» сына Ивана Грозного. Крестоцеловальная запись повторяет в своих деталях предшествующие присяги, поменялось лишь имя новых правителей — царицы-инокини Марфы Федоровны (она, наверное, еще и не знала об этом) и царя Дмитрия Ивановича. О прежних царях еще говорилось как о живых: «…и с изменники их, с Федкою Борисовым сыном Годуновым, и с его матерью, и с их родством, и с советники, не ссылатися писмом и никакими мерами»[187]. Возможно, что Дмитрий к моменту составления документа еще не успел получить известия о том, что его соперников уже не было на свете, а может быть, ему тоже нужно было сохранить на будущее уверенность, что царь Федор Борисович Годунов никогда не «воскреснет», подобно царевичу Дмитрию.

Царь Дмитрий Иванович оставался в Туле, где началось его признание Боярской думой. Из Тулы в Серпухов был отправлен с войском Петр Басманов и другие воеводы[188]. В Тулу ездили целые боярские депутации, из Москвы в резиденцию царя Дмитрия отсылались богато украшенные экипажи и самые красивые лошади, на которых триумфатору предстояло въехать в столицу. Но пока в Туле продумывали детали церемониала, враги самозваного Дмитрия тоже не теряли даром времени и приготовили ему свою встречу.

Итак, получив все возможные подтверждения признания своего царского статуса, Дмитрий Иванович двинулся из Тулы к Серпухову и подошел к Москве 20 июня 1605 года. Всего пять месяцев прошло от времени его разгрома под Добрыничами — и какая разительная перемена! Народ встречал нового царя и провожал его в Кремль. Со стороны все видится как трудно поддающийся описанию сплошной триумф. Однако у этого триумфа была и оборотная сторона, на которую с самого начала пришлось обратить внимание тому, кто назвался именем

Дмитрия. Сохранилось свидетельство одного польского источника, передававшего слухи из Москвы в июле 1605 года. Оказывается, встреча в Москве не была такой теплой ни для самого Дмитрия, ни для сопровождавших его поляков и литовцев. Годуновым приписывали многие действия: порох, подложенный под проездные ворота и даже в самые царские покои, где должен был жить Дмитрий, а также отравленное питье. Многие из свиты царя Дмитрия, желая, по славянскому обычаю, отметить успех своего предприятия, «выпивку и смерть мешали», заходя в кабаки. «Принципалом» этой измены называли «брата Годунова»[189], видимо хорошо известного Семена Никитича, с которым действительно расправились, отослав его на казнь в Переславль-Залесский. То же сообщается в немецкой «Современной записке о первом самозванце»: по словам ее автора, до коронования Дмитрий не предпринимал никаких действий на этот счет, но после венчания на царство приказал схватить Семена Годунова и 170 его слуг и единомышленников, обезглавить их, а недвижимое имущество и вещи отдать народу[190]. Другие обвиняли князей Шуйских, которые «начали смущать граждан, говоря, что это не истинный царь, но польский королевич, он де хочет нашу веру уничтожить, а установить люторскую». Настроение жолнеров, судя по процитированному письму Яна Вислоуха из Москвы 24 июля 1605 года, быстро изменится, и они уже не будут доверять никому в Москве: «Они также злоумышляли против безопасности нашей, желая погубить всех нас»[191].

Даже сама природа, казалось, сопротивлялась приходу самозванца в Москву. По крайней мере, так позднее переосмыслили события московские летописцы. Царский поезд двигался из Серпухова сначала к реке Московке, где «встретоша его со всем царским чином, и власти приидоша и всяких чинов люди». Потом в Коломенском была последняя остановка перед въездом в столицу: «Дню ж тогда бывшу велми красну, мнози же люди видеша ту: над Москвою над градом и над посадом стояше тма, окроме же града нигде не видяху». Грозовые облака над Кремлем среди ясного дня давали простор для толкований, но не стоит сомневаться, что 20 июня, в отличие от более позднего времени, все предсказания были вполне благоприятны для царя Дмитрия Ивановича.

Торжественную встречу нового царя в Москве описал отец Андрей Лавицкий: «Впереди ехала польская кавалерия, сверкая оружием; за ней следовали в большом количестве московские *sclopetarii* (стрельцы. — *В. К.*), среди которых литаврщики, *rhedos* (царские колесницы. — *В. К.*) и много коней, причем последние были повсюду роскошно украшены золотыми ожерельями и

драгоценными камнями; далее следовала в большом количестве московская конница, позади ее — множество священников со своими епископами, владыками и патриархом»[192]. Конечно, это был уже не сведенный со своей кафедры патриарх Иов, а его местоблюститель рязанский архиепископ Игнатий-грек, первым из церковных иерархов признавший самозванца и щедро вознагражденный им за предательство прежнего святителя. Всю процессию сопровождали выносные хоругви, евангелия и иконы.

Первая встреча в Москве, где Дмитрий Иванович «сниде с коня», была на Лобном месте. Царь оправдал ожидания, первым делом «прииде ко крестом и начат пети молебная». Нарушала торжественность момента «литва» из окружения нового царя: его свита осталась сидеть на конях «и трубяху в трубы и бияху в бубны». Так сообщают московские источники, но и отец Андрей Лавицкий вспоминал, что «едва не оглох» от биения литавр, находясь в толпе зрителей. Однако радость была общей, и тогда еще не думали об обидах и предъявлении счетов.

Сколько раз чернец Григорий Отрепьев проходил этой дорогой от Лобного места до Чудова монастыря! И вот теперь ему впервые приходилось идти по ней с царскими почестями. В глазах людей он уже окончательно — сын Грозного царя. Иначе разве дозволили бы ему коснуться гробов его «родителей» в Архангельском соборе, стали бы слушать молитвы и рыдания, обращенные к отцу и брату? Деталь эта столь же важна, как и молитва Бориса Годунова в кремлевских храмах при вступлении в царский чин для подтверждения преемственности своей несостоявшейся династии с ушедшими Рюриковичами. Присутствовавший при встрече Дмитрия на Лобном месте хранитель Архангельского собора архиепископ Арсений Елассонский описал, как «после великой литии» и «благословения архиереев» все прошествовали в соборный Успенский храм. Сначала там «по чину» царь поклонился святым иконам, а потом пошел в другой «соборный храм Архангелов», где «поклонился» гробам царей Ивана Васильевича и Федора Ивановича и «заплакал». Несмотря на величие момента и тернистый путь, пройденный этим человеком к своей цели, это было всего лишь одно из действий незавершенной драмы. Сходство с актерской игрой состояло в том, что царь Дмитрий Иванович по-прежнему рассчитывал на зрителей, поэтому «громким голосом» произнес давно продуманный и отрепетированный текст:

«Увы мне, отче мой и брате мой, царие! Много зла соделаша мне враждующие на мя неправедно, но слава святому Богу, избавляющему мя, ради святых молитв ваших, из рук ненавидящих мя и делающих мне с неправдою, воздвизающему от

земли нища, и от гноища возвышаяй убога посадити его с князи, с князи людей своих».

Дальше Дмитрий «провозгласил перед всеми, что отец его — царь Иоанн, и брат его — царь Феодор», и присутствовавшие в храме «громогласно» подтвердили это. Вспоминая произошедшее, архиепископ Арсений задумается над словами Писания: «Богатый возглаголал и вси похвалиша, и слово его вознесоша даже до неба»[193]. Но тогда царю Дмитрию Ивановичу, обосновавшемуся в царских покоях в Кремле, оставалось наслаждаться тем, что цель была достигнута. Его признали освященный собор, Боярская дума и все жители столицы.

Часть вторая
ЦАРЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Глава первая
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

Венчание на царство

Царю Дмитрию Ивановичу предстояла еще коронация в Кремле, без которой он по-прежнему не имел полных прав на престол. «Чин венчания» должен был проводить патриарх, но с устранением Иова патриаршее место оказалось вакантным. Поэтому первым делом по вступлении в Москву царя Дмитрия Ивановича стало избрание нового предстоятеля Русской церкви.

Никто прямо не обвинял Иова в том, что он поддерживал Бориса Годунова и обличал «расстригу». Царствование Дмитрия Ивановича началось с того, что он пригласил к себе правящих архиереев и, сохраняя уважительную форму обращения к бывшему патриарху, предложил избрать нового владыку церкви: «Патриарх, святейший отец наш, господин Иов — великий старец и слепец и не может пребывать на патриаршестве, посему обсудите, чтобы назначить вместо него другого патриарха, кого вы изберете».

Однако ни для кого не была секретом истинная причина «слепоты» Иова, стоившая ему патриаршего престола. Правящие архиереи готовы были поддержать нового царя, но в них не сразу исчезла приверженность к опальному Иову. Более того, произошел даже небольшой церковный «бунт», потому что иерархи попытались оставить Иова на патриаршестве: «поговоривши все единодушно друг с другом, решили: пусть будет снова патриархом святейший патриарх господин Иов». Но на большее членов освященного собора не хватило. Под давлением обстоятельств им пришлось «перерешить» и избрать того, кто оказался наиболее подходящей кандидатурой для царя Дмитрия Ивановича. «Законно все архиереи единогласно избрали и нарекли» в патриархи бывшего рязанского архиепископа Игнатия[1]. То, что выбор был несвободным, подтверждается и тем, что избирательный «кодекс» прежде утверждался царем и «синклитом» — Боярской думой. 30 июня, в воскресенье, «на память славнейших 12 апостолов», архиепископ Рязанский Игнатий был поставлен в патриархи Московские и всея Руси. «А преже был Кипрским архиепискупом в Греках и пришел к Москве при царе Федоре, — так излагал биографию второго русского патриарха автор «Нового летописца». — Царь же Борис не позна в нем окаянном ерести, посла его на Рязань»[2]. Однако более

осведомленный архиепископ Арсений Елассонский сообщал о том, что патриарх Игнатий в Греции был «епископом Ериссо и Святой Горы» на Афоне[3]. Сведения источников о времени его приезда в Москву противоречат друг другу; скорее всего, он оказался в Москве как посланник константинопольского патриарха и приехал на венчание на царство Бориса Годунова в 1598 году. С 1603 года Игнатий находился на рязанской кафедре и, как и рязанские дворяне Ляпуновы, первым перешел на сторону самозванца на его пути в Москву[4].

После литургии и чина интронизации нового патриарха царь Дмитрий Иванович устроил большой «стол» во дворце. По воспоминанию одного из участников этого действа, на нового патриарха и других архиереев широкой рекой пролились царские «дары» «и все возвратились домой с великою радостью»[5]. Оказавшийся послушным церковный синклит заседал вместе с Боярской думой и решал многие важные государственные дела. В состав высших церковных иерархов вошел бывший архимандрит Чудова монастыря Пафнутий, возведенный на Крутицкую митрополию (сан митрополита Сарского и Подонского был вторым по значению после патриарха в перечне чинов освященного собора). В церковном соборе времен Лжедмитрия I встречаем будущего патриарха Гермогена (в это время митрополита Казанского), новгородского митрополита Исидора и ярославского Кирилла. Еще недавно все они призывали свою паству к молебнам за умершего царя Бориса Годунова и благословляли приход на царство царя Федора Борисовича[6]. Теперь надо было славить другого царя.

Вопреки распространенным предубеждениям и подписанной им самим «ассекурации» Юрию Мнишку, царь Дмитрий Иванович не стремился искоренить православную веру и привести страну к «латинству». Он не просто не притеснял ни в чем церковь, а вел себя так, как должен был вести себя православный государь. Сразу после смены власти в Кремле возник вопрос о духовнике нового царя. Духовниками прежних государей, начиная с Ивана Грозного, становились протопопы кремлевского Благовещенского собора. Традицию нарушил лишь царь Борис Годунов. Не случайно благовещенский протопоп Терентий сразу же обратился к новому царю с посланием, в котором проповедовал превосходство «священства» над «царством». Однако он не преуспел в своей попытке; его идеи не произвели впечатления на царя Дмитрия Ивановича. Терентия сменили и отправили служить в другой храм.

К сожалению, единственное упоминание в источниках о новом духовнике царя Дмитрия Ивановича содержится в поздней

грамоте 1620 года по спорному делу князя Ивана Михайловича Барятинского с владимирским Рождественским монастырем. Челобитчик ссылался на то, что спор о земле нельзя было решить, «потому что Рожественого монастыря архимарит был Ростриге духовник»[7]. Не исключено, что обиженный князь Иван Барятинский, не получивший спорные земли, мог просто преувеличить степень близости архимандрита Исайи к самозванцу. Однако важнее здесь понятный современникам контекст: они не подвергали сомнению сам факт того, что владимирский архимандрит *мог* оказывать влияние на царя Дмитрия. При выборе царского духовника из владимирского Рождественского монастыря могло иметь значение то, что эта обитель, в которой хранились мощи Александра Невского, высоко стояла в иерархии русских монастырей, ее место было сразу за Троице-Сергиевым монастырем. Архимандрит Исайя происходил из жителей Сольвычегодска, в миру его знали как попа Ивана Лукошкова и «знаменщика» усольской певческой школы. Лжедмитрий-Григорий Отрепьев как бывший «крылошанин» еще ранее мог проявлять интерес к знаменитым образцам «Лукошкова» церковного пения, и это повлияло на призвание Исайи во дворец. Позднее, в 1606 году, упоминался еще один царский духовник; им в соответствии с традицией был благовещенский протопоп Федор.

В дни перед интронизацией патриарха Игнатия в конце июня 1605 года в Москве происходили очень важные события, имевшие отдаленные последствия для всего царствования Дмитрия Ивановича. Их героем суждено было стать одному из первейших бояр, князю Василию Ивановичу Шуйскому. Больше всего в Москве ждали подтверждений истинности царевича Дмитрия именно от Василия Шуйского. Он уже неоднократно свидетельствовал о смерти царевича, начиная с того самого мая 1591 года, когда в Угличе случилось непоправимое несчастье. Шуйский помогал разоблачать расстригу Григория Отрепьева при царе Борисе Годунове, и в столице не должны были забыть его речи, обращенные по этому поводу к народу.

При въезде царя Дмитрия Ивановича в Москву все, конечно, смотрели на будущего самодержца. Были и те, кто узнавал бывшего чернеца Григория Отрепьева, но они, по словам летописца, «не можаху что соделати кроме рыдания и слез». История сохранила имена других людей — тех, кто не слезами, а речами обличения встретил самозванца. О них написал Авраамий Палицын в «Сказании»: «Мученицы же новии явльшеся тогда дворянин Петр Тургенев, да Федор Колачник: без боязни бо того обличивше, им же по многих муках главы отсекоша среди

царьствующего града Москвы»[8]. Однако москвичи, предвкушая радость новых коронационных торжеств, не восприняли предупреждений этих несчастных, «ни во что же вмениша» их казни.

Не менее, чем на царя, люди смотрели на его ближайших бояр, пытаясь понять, действительно ли у них на глазах происходит чудо возвращения «прирожденного» царевича. Самозванец придумал тонкий ход, чтобы обезопасить себя от их возможной нелояльности. Когда он въезжал в Москву, то посадил к себе в карету главу Боярской думы боярина князя Федора Ивановича Мстиславского и боярина князя Василия Ивановича Шуйского. Так, окруженный первейшими князьями крови, оказывая им почет своим приглашением, он одновременно держал под присмотром бывших главных воевод воевавшей против него рати Бориса Годунова.

Встреча царя Дмитрия Ивановича не могла быть свободной от слухов, и лучше всего их могли подтвердить или опровергнуть царевы бояре. Жертвой одного из таких откровенных разговоров, подслушанных соглядатаем, стал боярин Василий Шуйский. Царю Дмитрию Ивановичу быстро пришлось столкнуться с тем, что за видимостью покорности может скрываться измена. Слишком уж неприятным, видимо, было раболепие, с которым встречали «истинное солнышко наше», настоящего царевича, поэтому кому-то из тех, кто подходил с поздравлениями к Шуйскому (говорят, что это был известный зодчий и строитель Смоленской крепости Федор Конь), боярин якобы высказал то, что думал на самом деле: «Черт это, а не настоящий царевич; вы сами знаете, что настоящего царевича Борис Годунов приказал убить. Не царевич это, но расстрига и изменник наш».

Конечно, слова эти прошли через многократную передачу и не могут быть восприняты как протокольная запись сказанного боярином на самом деле. Однако можно обратить внимание на совпадение акцентов в разговоре Шуйского со своим торговым агентом и речами несчастного Федора Калачника, кричавшего собравшейся на казнь толпе: «Се прияли образ антихристов, и поклонистеся посланному от сатаны».

Итак, пришествие «царевича» из ниоткуда явно смущало жителей Москвы, и боярин князь Василий Иванович Шуйский имел неосторожность подтвердить их опасения.

В самые первые дни царь Дмитрий Иванович еще стремился продемонстрировать, что никому не будет мстить за прежние службы Борису Годунову. В «деле Шуйского» в любом случае это выглядело бы как месть. Поэтому царю Дмитрию было выгоднее добиться лояльности князей Шуйских, в то время как другие

бояре были не прочь устранить своих вечных конкурентов руками самозванца. Для решения участи Шуйского было созвано подобие земского собора. Во всяком случае, делу не побоялись придать широкую огласку и именно совместному заседанию освященного собора и Боярской думы предложили решить участь братьев князей Шуйских[9]. Князя Василия Ивановича даже не арестовывали. Он вместе с другими членами Думы приехал в Кремль, не зная, что будет решаться его судьба и что он будет так близок к смерти.

Царь Дмитрий держал на соборе речь как продолжатель «лествицы» князей Московского царствующего дома. Он обвинил весь род Шуйских в том, что «эта семья всегда была изменническою». Дмитрий переходил в наступление и осуждал желание самих Шуйских искать царства («задумали идти путем изменника нашего Бориса»). О самом главном вопросе — своей «прирожденности» — царь говорил вскользь, приводя дополнительные доказательства измены всех трех старших князей — Василия, Дмитрия и Ивана Ивановичей Шуйских: «Не меньшая вина, что меня, вашего прирожденного государя, изменником и неправым наследником (царевичем) вашим представлял Василий перед теми, которых следует понимать такими же изменниками, как он сам; но еще в пути, едучи сюда, после только что принесенной присяги в верности и повиновении, они все трое подстерегали, как бы нас, заставши врасплох, в покое убить, на что имеются несомненные доводы. Почему, хотя и в мощи нашей есть, но мы не желаем быть судьей в собственном деле, требуем от вас и желаем слышать ваше мнение, как таким людям следует заплатить».

В соборном определении по делу князя Шуйского говорилось об умысле на убийство царя Дмитрия Ивановича. Это подтверждается ходившими по Москве слухами о порохе, подложенном в кремлевских покоях. Пример Шуйских должен был показать, как новый царь собирался расправляться с изменниками. Изначально был выбран не обычный для московских царей путь казни по одному царскому слову, а нечто другое — совместное решение бояр, которым была доверена судьба рода Шуйских. И боярин князь Василий Иванович быстро сумел приспособиться и к этим правилам игры. Ход суда над Шуйскими известен в изложении Станислава Немоевского — родственника Мнишков, который рассказал об этом деле в своих записках. По словам мемуариста, боярин Василий Шуйский стал каяться в произнесенных словах перед царем, освященным собором и Думой: «Виноват я тебе, великий князь Дмитрий Иванович, царь-государь всея Руси, — я говорил, но смилосердись

надо мною, прости глупость мою, и ты, святейший патриарх всея Руси, ты, преосвященный митрополит, вы, владыки-богомольцы, и все князья и думные бояре, сжальтесь надо мною страдником, предстаньте за меня, несчастного, который оскорбил не только своего государя, но в особе его Бога Всемогущего»[10].

Однако мольба князя Василия Ивановича Шуйского о предстательстве была тщетной. В источниках сохранились сведения, что за него просила мать царя Дмитрия — инокиня Марфа, но это явная ошибка: царица-инокиня к тому времени еще не успела вернуться в Москву. Даже польским секретарям приписывали заступничество за Шуйских[11]. Правда, видимо, заключалась в свидетельстве «Нового летописца» о том, что все предали в этот момент опальных князей: «На том же соборе ни власти, ни из бояр, ни ис простых людей нихто же им пособствующе, все на них же кричаху»[12].

Дело дошло до плахи. Подобно тому как Борис Годунов наносил удары по старшему в роде, царь Дмитрий также решил наказать первого из братьев Шуйских. Все понимали последствия такой политической казни в самом начале царствования Дмитрия, и это был тот шанс, которым воспользовался боярин князь Василий Иванович. Даже стоя на площади в окружении палачей, с обнаженной шеей, он продолжал просить о помиловании — но не ради себя, а ради славы того государя, в подлинности которого он теперь клялся: «Монархи милосердием приобретают себе любовь подданных», пусть все скажут, что Господь дал «не только справедливого, но и милосердного государя».

Вряд ли это было истинное убеждение боярина князя Василия Шуйского: он торговался, чтобы выговорить сохранение жизни. Тогда, на беду себе, самозванец решил его пощадить. Подобные признания были нужнее новому царю, чем голова его боярина. По сведениям иезуитов из свиты царя Дмитрия, казнь была назначена на 10 июля (или 30 июня по юлианскому календарю). В этот воскресный день на престол вступал патриарх Игнатий, и совсем негоже было омрачать его интронизацию жестокой расправой.

«Подлинный сфинкс тогдашней Москвы», как называл Шуйского о. Павел Пирлинг, сумел устоять и на этот раз, избежав казни в самый последний момент[13]. Конечно, опала все-таки постигла Шуйских: они были лишены имущества и удалены из Москвы, но это не сравнимо с теми последствиями, которые могли бы быть в результате физического устранения суздальской ветви Рюриковичей. К тому же вскоре нашлись поводы для помилования и возвращения князей Шуйских ко двору, где они

будут лояльно вести себя по отношению к царю Дмитрию Ивановичу. Вплоть до того майского дня 1606 года, когда выяснится их настоящая роль в подготовке переворота и устранении Лжедмитрия I от власти.

Опала, наложенная при воцарении Дмитрия на князей Шуйских, могла обезопасить самозванца от дальнейших разоблачений. Царь Дмитрий Иванович выбрал милость, а не грозу в отношении бояр. Боярский заговор удался, но если знать надеялась, что власть упадет в ее руки, то она жестоко просчиталась.

Первый месяц после приезда в Москву царь Дмитрий продолжал подтверждать своими действиями легенду о «прирожденном царевиче». И неважно, что он сам был искренним ее адептом. Царь Дмитрий создал своей победой совершенно новое настроение в жизни людей. Уже совсем скоро придет время, когда, как говорил Авраамий Палицын, царем начнут играть, «яко детищем». Слишком быстрым оказался поворот от обличения «расстриги» к его принятию в московском обществе. Многие под этот шум решали свои собственные задачи. Так расправились со всеми Годуновыми «до малого ребенка», разослали в ссылки их родственников Сабуровых и Вельяминовых. Вместо них в Москву возвращались царские родственники Нагие. Были «реабилитированы» Романовы и другие, кто пострадал от Бориса Годунова. Имущество, конфискованное у Годуновых, равно как их должности, переходило к возвращавшимся из ссылки боярам. В разрядных книгах осталась запись о том, что этот процесс царь Дмитрий начал очень рано, еще во время похода на Москву: «А в Казанские городы с Тулы ж послал по Нагих и по Головиных, и подавал им боярство и вотчины великие и дворы Годуновых и з животы». Инока Филарета (Федора Никитича Романова) новый царь возвел в сан митрополита Ростовского и Ярославского.

Главным событием, конечно, стало возвращение в Москву из отдаленного Никольского монастыря на Выксе матери царевича Дмитрия инокини Марфы — царицы Марии Федоровны Нагой. Патриарх Иов и боярин князь Василий Иванович Шуйский были устранены или устрашены; единственной и самой опасной свидетельницей оставалась инокиня Марфа. На нее и были устремлены все взгляды: признает или нет она в спасенном царевиче своего сына? Четырнадцать лет прошло после смерти Дмитрия в Угличе, и разве можно было проверить подлинность слов того, кто назвался именем царевича? Материнское сердце не могло обмануться. Но как быть с расчетом на то, что, признав Лжедмитрия, царица-инокиня снова смогла бы вкусить царских почестей для себя и всей семьи Нагих? Ведь в противном случае

ее, скорее всего, ждала тайная смерть. Понимали это и современники, поэтому были уверены, что существовал сговор между Дмитрием и Марией Нагой: «И пришел тот вор Ростригa к Москве, и послал боярина своего князь Василья Мосальского к царя Ивана Васильевича к царице иноке Марфе, велел ее привести к Москве; а наперед послал ее уговаривать постелничего своего Семена Шапкина, штоб его назвала сыном своим царевичем Дмитреем, а потому Семен послан, что он Нагим племя, да и грозить ей велел: не скажет, и быт ей убитой»[14].

Инокиня Марфа позволила использовать свое имя в большой игре самозванца и стала его верной сторонницей. «Тово же убо не ведяше никто же, — писал автор «Нового летописца», — яко страха ли ради смертново, или для своево хотения назва себе ево Гришку прямым сыном своим, царевичем Дмитреем»[15].

Царь сделал так, чтобы все видели, как мать встречает своего сына. Он устроил торжественную встречу царице на подъезде к Москве в дворцовом селе Тайнинском. Они обнялись на глазах у присутствующего народа, и дальше царь, демонстрируя сыновье почтение, шел с непокрытой головой во главе процессии, ведя под уздцы лошадь с каретой, в которой ехала инокиня Марфа. В столице ей приготовили кельи в кремлевском Вознесенском монастыре. Туда царь Дмитрий станет часто ездить для совета с «матерью». Марфе Нагой, как и ее братьям, будут оказаны все почести, достойные самых близких царских родственников.

Теперь царь Дмитрий Иванович был готов к венчанию на царство. Церемония состоялась три дня спустя после въезда в столицу старицы Марфы, 21 июля 1605 года. Месяц, проведенный самозванцем на троне в Москве, показал, что он делал все для того, чтобы лишний раз обвинить Бориса Годунова в узурпации своих прав на «прародительский» престол. В этом внутреннем соперничестве стоит видеть причину того, что венчание было проведено сразу, не дожидаясь 1 сентября и начала нового года, как это сделал царь Борис. Кроме того, царь Дмитрий не стал соревноваться с Годуновым в роскоши венчания и последующих пиров. По описанию современников, вся церемония прошла хотя и торжественно, по существовавшему чину, но скромно по сравнению с тем, что видели в Москве в 1598 году.

Венчание на царство Дмитрия Ивановича происходило в Успенском соборе Кремля. Туда царь прошествовал из своего богато украшенного дворца по «затканной золотом бархатной парче» в сопровождении освященного собора и членов Боярской думы. Патриарх Игнатий увенчал царя Дмитрия «царскими регалиями», то есть короной, скипетром и державой. Одна интересная деталь — для коронации была использована новая

корона, заказанная царем Борисом Годуновым в Вене у германского императора[16]. По своему виду корона напоминала императорскую, и это, как оказалось впоследствии, было не случайно. Мысль о соответствующем титуле уже родилась у Дмитрия Ивановича.

Сама церемония, устанавливавшая божественное освящение царской власти, меняла отношение подданных к царевичу[17]. Но и с ним самим должны были произойти изменения. Тайный переход Дмитрия в католичество, о котором знали только немногие посвященные, создавал непреодолимое препятствие для «чистоты» обряда — царь-католик не мог принять причастие из рук православного иерарха. Между тем только таинство миропомазания в соборном храме, совершенное патриархом, давало самое прочное из возможных подтверждений истинности происхождения Дмитрия Ивановича. Если бы этого не произошло, то вряд ли бы «национальная партия», и так недовольная присутствием иноземцев в свите царя, упустила бы из виду такой аргумент, как отсутствие миропомазания во время венчания на царство.

Вторая часть церемонии была перенесена в Архангельский собор. Это были дань традиции и еще одно зримое подтверждение родства с династией московских великих князей. Проводивший службу архиепископ Арсений Елассонский вспоминал: «После венчания всеми царскими регалиями патриархом [царь] пошел в соборный Архангельский храм, поклонился и облобызал все гробы великих князей, вошел и внутрь придела Иоанна Лествичника, где находятся гробы царей Иоанна и Феодора, и поклонился им»[18]. Именно здесь на Дмитрия была возложена архиепископом Арсением древняя «шапка Мономаха» и провозглашено на греческом «Аксиос» — «достоин», как это было необходимо по церковному чину поставления. Из Архангельского собора все снова вернулись в Успенский собор, где была проведена Божественная литургия.

Коронационный день завершился «большой трапезой» и раздачей даров участникам церемонии.

Но мало было получить трон. Царю Дмитрию Ивановичу предстояло еще удержать его.

Императорские планы

Обычно считается, что царь Дмитрий Иванович во время своего недолгого, продолжавшегося менее года правления послушно исполнял волю поляков и литовцев. Но эти обвинения сформировались позднее, под воздействием пропаганды

следующего царя, Василия Шуйского, свергнувшего самозванца с трона. В том-то и дело, что царь Дмитрий Иванович сумел проявить себя явным знатоком московских порядков управления и придворного этикета. Как ни парадоксально, но единственное, что обозначало резкий разрыв с традициями предков в международных делах, — это попытка повышения статуса русского царя и претензии Дмитрия на титул императора. Но если это и была перемена, то такая, против которой не просто не возражали, но за которую готовы были даже сражаться.

Как ни трудно выявить замыслы нового царя, сделать это возможно, если, подобно самому Дмитрию, постоянно учитывать идею об императорском статусе царской власти, означавшем верховенство московского царя над правителями других подчиненных ему царств и княжеств. Как человек, умеющий ставить цели, кажущиеся другим недостижимыми, царь Дмитрий Иванович начал новую большую игру, в которую стремился вовлечь уже не только Московское государство, но и другие страны. Подобно Ивану Грозному, уверенно возводившему свой род «от Августа-кесаря», Дмитрий готов был посоревноваться в славе со всеми героями древности, включая Александра Македонского. Что уж говорить о современных ему императорах и королях, которых ему тоже хотелось заставить считаться с собою.

Об этой его черте вспоминали те иностранцы, которым довелось знать московского Дмитрия достаточно хорошо. «Он желал быть соперником каждому великому полководцу, — писал Станислав Немоевский, — неохотно слушал, когда хвалили какого-либо великого человека настоящего времени»[19]. Думается, что тем самым Станислав Немоевский намекал на «прохладное» отношение царя Дмитрия Ивановича к своему бывшему благодетелю, королю Речи Посполитой Сигизмунду III.

У царя Дмитрия оставались долги и перед королем, и перед папским нунцием Клавдием Рангони и отцами-иезуитами, терпеливо дожидавшимися исполнения планов о распространении католической веры и соединении христианских церквей. Самозванец продолжал обнадеживать отцов Николая Чижевского и Андрея Лавицкого, но им нечем было отчитываться перед Ватиканом. После вступления Дмитрия в Москву им оставалось окормлять польское воинство, ждавшее плату за службу, и тех пленных, которые оставались в Московском государстве еще со времен Ливонской войны. Отцы-иезуиты послали своего человека к Лжедмитрию, но царь ответил им очень неопределенно: «он дал ответ, что надо ждать до тех пор, когда он остальное лучше упорядочит и утвердит»[20].

Не забыли Дмитрия и польские ариане, поддержавшие его в

Литве. Их посол Матвей Твердохлеб тоже отправился в Москву в конце 1605 года, был милостиво принят, но скоро уехал обратно[21].

Лжедмитрий умел обнадеживать тех, в ком продолжал нуждаться. В полной мере относилось это и к отцам-иезуитам. Наверное, не случайно его венчание на царство было приурочено не только к древнему христианскому празднику Собора Двенадцати апостолов, но и ко дню памяти святого Игнатия Лойолы, покровителя ордена иезуитов. Царь знал, что его «посыл» будет понят, так как его католические духовники были уверены, что Дмитрий имел представление о значении этой даты.

Другим делом, подтверждавшим добрые намерения Дмитрия в отношении Римской церкви, стала подготовка послания новому папе Павлу V в Ватикан. Царь намекнул через того же верного человека, что планирует отправить с этим письмом отца Андрея Лавицкого. И действительно, такая грамота была послана 30 ноября 1605 года. В ней Дмитрий поздравлял нового папу с избранием, говорил об обстоятельствах своего счастливого воцарения.

В середине декабря, как он и обещал, были приготовлены документы для гонца в Рим отца Андрея Лавицкого. Последний ехал с инструкцией царя Дмитрия Ивановича, выданным им «опасным листом» и грамотой, в которой отмечались услуги, оказанные иезуитами во время похода: «Они не только не покинули нас среди самого несчастного положения наших обстоятельств, но неоднократно священностью своего сана удерживали в границах повиновения иноземных наших солдат, привыкших к необузданной свободе и несколько раз бывших готовыми поднять восстание».

Мало кто бы мог догадаться, что человек в московской поповской рясе, с византийским крестом, обросший длинными волосами и бородой, приехавший в конце января 1606 года в Краков, — один из отцов-иезуитов. Андрей Лавицкий был принят королем Сигизмундом III, который смог получить от него исчерпывающую информацию о планах бывшего московского претендента.

Планы эти были не менее экзотичными, чем внешний вид отца Андрея Лавицкого. Московский царь выдал наставления своему гонцу в Рим: объявить «о намерении предпринять войну против турок», просить способствовать заключению союза или лиги с императором Священной Римской империи и ходатайствовать о признании его титула императора в Речи Посполитой[22].

После того как царь Дмитрий Иванович вступил на

московский престол, ему можно было не только выслушивать чужие условия, как это было раньше, но и диктовать свои. Поэтому, продолжая поощрять иезуитов и папский престол в их надеждах, царь поменял условия договора. Теперь он требовал от короля Сигизмунда III признания своего императорского статуса и просил в этом поддержки папы Павла V.

Вопрос о царском титуле для московских великих князей относился к числу самых болезненных в отношениях с Речью Посполитой. Непризнание этого титула за Иваном Грозным, первым венчавшимся на царство в 1547 году, положило начало целой исторической полосе войн и конфликтов между соседними странами. Как заметила А. Л. Хорошкевич, даже многие извивы внутренней политики, связанные с боярскими «мятежами» и «изменами», могли объясняться местью царя Ивана IV за ущерб царскому титулу, допущенный его дипломатами на переговорах с Речью Посполитой[23]. Война за титулы велась и при заключении русско-польского перемирия 1602 года: в итоговом документе Бориса Годунова не называли царем, а московские дипломаты отказали польскому королю в праве именоваться еще и королем Швеции, несмотря на принадлежность Сигизмунда III к шведской королевской династии. Когда Дмитрий появился в «Литве», как только его не называли — «сын этого тирана», «московит», «господарчик», «московский государик» (на сейме 1605 года), но никогда — «царевич» или тем более «царь». Этот титул он обрел только вступив в пределы Северской земли, а затем утвердил его венчанием в Успенском соборе. Но в представлении о московских князьях, существовавшем в Речи Посполитой, ничего не изменилось. Поэтому требование именовать себя императором Московского государства было со стороны царя Дмитрия Ивановича вызовом и немыслимой дерзостью одновременно[24].

Станислав Немоевский писал о Дмитрии Ивановиче, что «он был полон заносчивости и спеси». Однако нельзя все списывать на высокомерие и заносчивость Дмитрия, пусть даже эти черты и присутствовали в его характере. Отрицательные личные качества правителя вполне могли совпадать с насущными государственными интересами. Дмитрия с первых шагов в Москве признали «солнышком нашим». Показательны слова, которыми протопоп Благовещенского собора Терентий встречал Лжедмитрия: «Внегда услышим кого, похваляюща нашего преславного царя, разгараемся любовию ко глаголющему, ради яже к своему владыце любве»[25]. При таком отношении подданных к царской власти самозванец мог не сомневаться, что все его шаги будут благословляться и одобряться.

После первых «реставрационных» шагов, связанных с

искоренением памяти о временах правления Бориса Годунова, царь Дмитрий Иванович нашел более великую идею, захватившую его целиком. Недостаток положения Московского государства, соприкасавшегося на своих границах с периферией Османского султаната, он решил превратить в достоинство и возглавить борьбу христианских государей против «варварского» мира[26].

Последний раз дипломаты Московского государства и Речи Посполитой говорили о целях общей борьбы с «бесерменами» (басурманами) в 1602 году. Но тогда это были всего лишь осторожные риторические фразы, не включавшиеся в текст письменного договора, чтобы не раздражить турецкого султана. Самое большее, на что могли надеяться царь Борис Годунов и король Сигизмунд III при заключении перемирия, так это возможность организации общей обороны от татарских набегов. Новый замысел превосходил по размаху все, что до тех пор обсуждалось на переговорах.

Как, наверное, было досадно королю Сигизмунду III увидеть выношенный им самим замысел в грубом исполнении московского выскочки, некогда находившегося в его полной власти! Сигизмунд III первым должен был познакомить с этой идеей Дмитрия, намекнуть на место, которое отводилось московскому царю в будущем новом крестовом походе. Всему этому способствовали и родственные связи Сигизмунда с императорским домом Габсбургов, и прекрасное знание ситуации при дворе султана в Константинополе. Речь Посполитая часто сталкивалась с турецкими янычарами и войском крымского царя не только на своей территории, но и в Молдавии и Венгрии, на ее стороне были воинственные запорожские казаки. И вот правитель Московского государства вместо того, чтобы оставаться в подчинении короля, попытался перехватить инициативу и сам первым организовать крупный поход на Крым и дальше на Восток[27].

Но для этого Дмитрию Ивановичу требовалось признание императорского титула. Уже позднее, в 1612 году, объясняя римскому папе Павлу V причины войны с Московским государством, польско-литовские послы будут говорить, что Сигизмунд III «предпринял ее не столь с намерением распространить свои и королевства своего владения, сколько для того, чтобы утвердить христианство против варваров и самую Московию обратить от раскола к этому святому апостольскому престолу»[28]. Достаточно откровенное признание того, как на самом деле в Речи Посполитой относились к возможному союзнику, ставя его, пока он не присоединился к католичеству, на одну ступень с варварскими странами.

Другие обещания, которые царевич дал в Польше, непосредственно касались уже его самого. Он исполнил то главное условие о занятии московского престола, о котором договаривался в Самборе с сандомирским воеводой Юрием Мнишком. Следовательно, их договор о женитьбе на Марине Мнишек вступал в силу. Для Дмитрия Ивановича, кроме решения важного династического вопроса, это означало оплату выданных векселей, в которых была заложена едва ли не половина Московского царства.

Новому царю предстояло найти выход из сложного положения: как получить свое, желанное, не оттолкнув сторонников в Речи Посполитой и вместе с тем не создав у окружавших его бояр впечатления о предпочтении, оказываемом им в раздаче земель и казны своим будущим родственникам Мнишкам. Как известно, в этом царь Дмитрий Иванович был менее удачлив, дав боярским заговорщикам прекрасный предлог для расправы. Но не мешает задуматься и над общим проектом самозванца, посмотреть на то, что он успел сделать для достижения своих целей.

Отношения с Мнишками должны были стать показательными для положения иностранцев в стране. Царь Борис Годунов тоже любил выходцев из Западной Европы, но был разборчив, отдавая предпочтение протестантам перед католиками и приглашая преимущественно врачей, ювелиров и других искусных специалистов. Хотя в Московском государстве уже существовала корпорация служилых иноземцев, однако большого военного значения она не имела, а скорее, должна была подтвердить статус московского самодержца, которому служили выходцы из благородных сословий других стран[29]. Иноземцев всеми способами поощряли к принятию православия, щедро награждая за это.

Царь Дмитрий Иванович отличался от многих своих бояр тем, что не понаслышке знал о чужих странах и обычаях. Только немногие члены Государева двора, бывавшие в дипломатических миссиях у иностранных королей, могли понять и оценить происходящие перемены. Капитан Жак Маржерет, ставший начальником охраны царя Дмитрия, упоминал дьяка Постника Дмитриева, ездившего при Борисе Годунове с посольством в Данию (а еще раньше в составе посольства в Речь Посполитую). Оказывается, дьяк, «узнав отчасти, что такое религия, по возвращении среди близких друзей открыто высмеивал невежество московитов»[30].

Опыт дипломата, на каждом шагу сознававшего себя защитником чести своего государя и не имевшего возможности

свободного передвижения по чужим странам, все же отличался от опыта вчерашнего неприметного паломника и ученика арианской школы в Гоще. Определенно из знакомства с порядками в Речи Посполитой царь Дмитрий Иванович вынес стремление к большей веротерпимости и к необходимости в Московском государстве не только книжной, богословской, но и светской образованности. Многое он хотел пересадить на Русскую землю, однако принужден был считаться с обстоятельствами.

Тем не менее какие-то осколки его замыслов все-таки можно обнаружить. Очень рано он стал говорить, что хотел бы «соорудить Академию, чтобы и Москва изобиловала учеными мужами»[31]. Капитан Жак Маржерет знал о том, что царь Дмитрий «решил основать университет». Другие источники тоже подтверждают, что он хотел пригласить из Франции «ученых людей»[32]. Остается вопрос: готова ли была аудитория для таких университетов? Но даже опыты Бориса Годунова с отправкой молодых дворян для учебы за границу показывают, что это была не совсем уж безумная затея. Очевидно, что студенты бы нашлись из более молодого поколения сторонников царя Дмитрия, которому самому едва исполнилось 24 года. Прекрасно известно имя вольнодумца князя Ивана Андреевича Хворостинина, бывшего в приближении у Дмитрия Ивановича. Потом много раз его преследовали за начатое тогда знакомство с «латинскими попами», держание в доме «литовских» книг и икон и т. п.[33]

Царь Дмитрий Иванович явно скучал по оставленному им в Речи Посполитой обществу князей Вишневецких, Мнишков и их родственников. Оставались польские секретари Ян Бучинский, Станислав Склоньский, которым была поручена личная «канцрерия» (канцелярия)[34] и дело вызова в Москву невесты Марины Мнишек. В Москве жили двое отцов-иезуитов, прошедших с Дмитрием весь тяжелый путь от начала московского похода до его вступления в столицу, но общение с ними должно было напоминать еще и о неисполненных обязательствах. Весьма скоро в Москву приехал князь Адам Вишневецкий, когда-то первым поверивший в историю самозванца и вознагражденный теперь конфискованным имуществом Бориса Годунова. Но он так же скоро был удален из Москвы из-за неумеренных требований все новых и новых наград[35].

Дмитрий остро нуждался в том, чтобы постоянно получать знаки публичного признания. Как человек умный и умеющий схватывать все на лету, он перестал ценить внешние формы проявления царского почитания подданными, справедливо видя в них больше дань ритуалу, нежели искреннее восхищение. Поэтому-то ему и надо было постоянно испытывать себя и других:

скакать одному без охраны, объезжать диких лошадей, выезжать на медвежью охоту, всюду демонстрируя свою храбрость. Не прочь он был утвердить и свое превосходство над другими правителями, мечтая о великих походах. «По природе Димитрий был ласков, подвижен, вспыльчив, склонен к гневу, почему и казался со стороны жестоким; но затем, при малейшей уступке ему и при покорности, — милостив, — писал о нем Станислав Немоевский. — …К военному делу имел большую любовь и разговор о нем был самый любезный ему; любил людей храбрых»[36]. В одном только явно не соревновался Дмитрий со своим окружением, любя веселье и умную беседу, но не пьянство.

Те же польские знакомые царя поговаривали, правда, что наряду с поисками благосклонности мудрой Минервы царь Дмитрий не без пристрастия относился и к красоте Венеры. Ему так и не могли простить судьбы несчастной Ксении Годуновой. Литовский канцлер Лев Сапега говорил позднее о судьбе всего годуновского семейства, пострадавшего от «апостата» (расстриги): «Бог отомстил через этого человека на сыне Борисове, ибо и сына и мать приказал удавить, а что он сделал с дочерью…» Последние слова осторожный политик Лев Сапега зачеркнул и написал иначе, но тоже с прозрачным намеком на известные всем обстоятельства, осуждая поведение Лжедмитрия: «…а о других вещах не годится и говорить»[37]. Да и голландец Исаак Масса писал, что Дмитрий «в течение некоторого времени проявлял свою волю» над дочерью царя Бориса Годунова, а находившегося в приближении у царя Михаила Молчанова называл сводником, выискивавшим «красивых и пригожих девиц» и тайно приводившим их «через потаенные ходы в баню к царю»[38].

Впрочем, говорили ведь о многом, в том числе о противоестественной связи самозванца с князем Иваном Хворостининым, косо посматривая на молодых людей в окружении самозванца. Строить на таких подозрениях и отзывах современников свои версии — дело неблагодарное. Излишнее доверие к ним приводит в тупик.

Бесспорно одно: подобно тому как раньше в Речи Посполитой московский царевич мог произвести впечатление значительности, отличавшей его от обыкновенных людей, так и в Московском государстве он продолжал доказывать неслучайность своего царственного превосходства. И немало преуспел в этом.

Даже внешность его привлекала к себе самое пристальное внимание современников. Наши «беспристрастные» летописцы, конечно, связаны официальным взглядом на «Росстригу». Иноземные же наемники на русской службе и купцы-иностранцы

в своих мемуарах свободнее рассуждали о царствовании Дмитрия — во всяком случае, находясь в безопасном отдалении от чужой им страны. И оказывается, что Лжедмитрий оказал влияние на всех без исключения: все признавали за ним незаурядные качества, словно еще долго не могли избавиться от гипноза его власти.

Голландский купец Исаак Масса писал о царе Дмитрии Ивановиче: «Он был мужчина крепкий и коренастый, без бороды, широкоплечий, с толстым носом, возле которого была синяя бородавка, желт лицом, смугловат, обладал большою силою в руках, лицо имел широкое и большой рот, был отважен и неустрашим, любил кровопролития, хотя не давал это приметить». Впрочем, Исаак Масса упоминал не только о храбрости, но и об авантюризме Лжедмитрия, собиравшегося зимой штурмовать Нарву (от чего его отговорили бояре) и готовившегося воевать то ли с «Тартарией», то ли с самой Речью Посполитой: он будто бы «втайне замышлял напасть на Польшу, чтобы завоевать ее и изгнать короля или захватить с помощью измены, и полагал так совсем подчинить Польшу Московии»[39].

Другой иноземный купец, оказавшийся в Москве в начале 1606 года, оставил такую характеристику нового царя: «Что же до его особы, он сохранял свое величие очень хорошо: он был человеком среднего роста, смуглый лицом, склонный к разлитию желчи, но быстро успокаивался, он разжаловал многочисленный штат и приговорил к смерти старшин и других офицеров за самое ничтожное уклонение от своих обязанностей, ему нравилось быть верхом, и [он] любил часто ездить на охоту, человек большой поспешности, и что бы быстро ни приказал, любое являлось перед ним, и управлял с отличным предвиденьем даже в малейших делах; он был большой предприниматель, удивительной смелости и внутренне почувствовал, что вся страна Московия не подходит для него, чтобы приобрести какую-либо великую славу, так что он домогался также других стран и монархий»[40].

«Его красноречие очаровывало всех русских, — писал о нем капитан Жак Маржерет, — в нем также блистала некоторая величественность, которой нельзя выразить словами и невиданная прежде среди знати в России и еще менее — среди людей низкого происхождения, к которым он неизбежно должен был принадлежать, если бы не был сыном Иоанна Васильевича»[41].

Но в том-то и дело, что многие искали в царе Дмитрии Ивановиче сходство с царем Иваном Грозным — и не находили его. Самым непонятным образом выглядели столь тесные контакты с Речью Посполитой, совсем не укладывавшиеся в традиционные представления о друзьях и врагах Московского

государства. Нельзя сказать, чтобы Дмитрий совсем не обращал на это внимания. Войдя в Кремль, он отдалил от себя польскую охрану, заменив ее русскими стрельцами. Это, возможно, случилось еще и вследствие конфликта, описанного Станиславом Боршей. В своих записках Борша писал о «великом раздоре», произошедшем «между русскими и поляками» вслед за венчанием Дмитрия Ивановича на царство. История началась из-за польского шляхтича Липского, наказанного за какую-то вину. За него вступились его товарищи, случилась стычка, в ходе которой «многие легли на месте и очень многие были ранены». Царь Дмитрий решил проявить свою волю и приказал «выдать виновных»: «В противном случае прикажу, велел он сказать, привезти пушки и снести вас с двором до основания, не щадя даже самых малых детей».

Такого поворота от Дмитрия его польские сторонники не ожидали, они с прославленным шляхетским гонором ответили московскому царю: «Так вот какая ожидает нас награда за наши кровавые труды, которые мы взяли на себя для царя». Поляки соглашались мученически умереть в надежде, что за них отомстят король и «братья». Дело едва не дошло до исповеди священнику, как это бывает перед боем. Но царь Дмитрий все же погасил конфликт, настояв, чтобы ему выдали нескольких людей, бывших участниками уличной стычки, и обещая, что им ничего не будет[42].

Совсем не случайно, что запись об этом столкновении оказалась последней в воспоминаниях Станислава Борши, уехавшего после этого из Москвы в Краков. Период бури и натиска для поляков, явившихся в Москву вместе с царем Дмитрием, закончился. Наступали другие времена.

«И всех лутче тот образец, что жаловать…»

Царь Дмитрий Иванович прежде всего должен был выбрать, кем он хотел стать для своих подданных. Он был «сыном» тирана Ивана Грозного и мог править, подобно отцу. Но его душа лежала к другому. Ему хотелось прославиться благодеяниями. Но тут Дмитрия поджидала другая опасность: его стали бы невольно сравнивать с Борисом Годуновым. Отголоски таких метаний царя можно услышать в его разговорах с секретарем Яном Бучинским о деле Шуйских. Сам Бучинский напоминал об этом в письме царю Дмитрию Ивановичу: «И сказал мне ваша царская милость, что у тебя два обрасцы были, которыми б царства удержати: един образец быть мучителем («ad tyranidem»), а другой образец не жалеть харчу великого, всех жаловать… И всех лутче тот образец,

что жаловать, а нежели мучительством быти»[43].

Царь Дмитрий хотел показать, что пришли перемены, и на своем примере научить московский двор принимать их. Он изменил дворцовый обиход, решительно отказавшись от его утомительной церемониальной стороны. Он пытался запросто общаться со своими подданными и начал с Боярской думы. Капитан Жак Маржерет вспоминал: «Он вел себя иногда слишком запросто с вельможами, которые воспитаны и взращены в таком унижении и страхе, что без приказания почти не осмеливались говорить в присутствии своего государя»[44]. В заседаниях Думы царь Дмитрий вроде бы стремился сначала выслушать мнение бояр, но выходило все равно по-старому: царь предлагал решение и оказывался во всем прав. «Он заседал ежедневно со своими боярами в Думе, — писал служивший в России с 1601 года выходец из Ливонии, автор «Московской хроники» Конрад Буссов, — требовал обсуждения многих государственных дел, внимательно следил за каждым высказыванием, а после того, как все длинно и подробно изложат свое мнение, начинал, улыбаясь, говорить: „Столько часов вы совещались и ломали себе над этим головы, а все равно правильного решения еще не нашли. Вот так и так это должно быть“».

Похоже, что ему даже нравилось поучать свою Думу, удивляя ее красноречием и подобранными к месту сравнениями из истории других стран и народов, «так что его слушали с охотой и удивлением». Царь Дмитрий предлагал московским боярам съездить поучиться за границу «с тем, чтобы они могли стать благопристойными, учтивыми и сведущими людьми» (опять ссылка на свой опыт)[45]. О том, что Дмитрий «был мудр, достаточно разумен, чтобы выступать в роли школьного учителя для своего Совета», писал Жак Маржерет. В молодой заносчивости царь не замечал, как пропасть между ним и Боярской думой разрасталась все больше.

Ему хотелось все делать самому, и делать лучше всех. Для этого царь Дмитрий ввел изменения в порядок приказного управления: «Он велел всенародно объявить, что будет два раза в неделю, по средам и субботам, лично давать аудиенцию своим подданным на крыльце». Ему казалось, что так можно было найти самый краткий путь к восстановлению справедливости. Прекрасно знающий московскую судебную волокиту, он принял меры к тому, чтобы искоренить «посулы» (взятки) в судах и приказах[46].

К царской строгости легче можно было приспособиться, чем к вольностям в дворцовом этикете: «Он отменил многие нескладные московитские обычаи и церемонии за столом, также и

то, что царь беспрестанно должен был осенять себя крестом, и его должны были опрыскивать святой водой». Но Москва не Краков, и веселящегося за трапезой с музыкантами царя Дмитрия стали подозревать в отступлении от веры.

Даже в походы на богомолье Дмитрий Иванович умел внести дух авантюрности: вместо чинного путешествия в карете он садился на самую резвую лошадь и «скакал верхом». Удивлять других стало настолько необходимым для него, что он стремился отличиться во всем: в государственных делах и на веселом пиру, в военных упражнениях и на охоте.

К январю 1606 года относится реформа личной охраны царя Дмитрия Ивановича. Ее полностью перепоручили служилым иноземцам. Три капитана — Жак Маржерет, Матвей Кнутсон и Альберт Вандтман — возглавили по сотне телохранителей из немцев, французов, англичан и шотландцев. Сотня капитана Жака Маржерета считалась самой привилегированной, на вооружении царских гвардейцев были протазаны (длинные копья с насаженными плоскими металлическими наконечниками) и бердыши с «вычеканенным золотым царским гербом»[47]. Бархатные плащи драбантов Лжедмитрия I, фиолетовые и зеленые камзолы с шелковыми рукавами, блестящее золотом и серебром оружие очень хорошо демонстрировали, что первый «демократический» порыв царя Дмитрия уже прошел.

Менялось и отношение к царю Дмитрию. Первыми, видимо, почувствовали себя ущемленными стрельцы, чьи охранные функции во дворце были переданы иноземным телохранителям. Временем Великого поста 1606 года в источниках датируется стрелецкий заговор, подавленный с помощью верных царю Дмитрию Ивановичу людей. Яркие подробности расправы с недовольными стрельцами, основанные на показаниях царских секретарей Бучинских, вошли в «Иное сказание». Якобы поляки слышали рассказ Лжедмитрия, убеждавшего их, что может расправиться с боярами с помощью верных людей: «В Великий пост поговорили де про меня немногие стрелцы, что я веру их разоряю, и мне де тотчас сказали». Из статьи «Нового летописца», названной «О умышлении и казни стрелецкой», известно, что один из стрельцов донес об опасных разговорах боярину Петру Басманову, а тот рассказал обо всем царю. Было решено пригласить ни о чем не подозревавших стрельцов во дворец, где они не только не стали запираться, но и «говорили встрешно», то есть продолжали обличать царя Дмитрия. Однако еще раньше стрелецкий голова Григорий Микулин напросился на расправу с изменниками, обещая самозванцу: «Освободи де мне, государь, я де тех твоих изменников, не токмо что головы поскусаю, а черева

из них своими руками вытаскаю!» Если верить секретарям Дмитрия, стрелецкая казнь совершилась прямо в царских покоях. Стрельцов, посмевших усомниться в вере царя Дмитрия, растерзали свои же товарищи: «в мегновение ока иссекли на малые части»[48].

Дальнейшей реформе подверглась Дума, которую стали иногда именовать Сенатом, а московских бояр — сенаторами. В дворцовый протокол была введена должность мечника, которой наградили молодого князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского — в будущем одного из самых положительных героев Смуты, а тогда совсем молодого человека, ездившего за царской матерью в далекий Николо-Выксинский монастырь[49]. Царь Дмитрий приблизил многих из тех, кто был обижен ранее Борисом Годуновым, и в первую очередь своих «родственников» — Андрея Александровича и Михаила Александровича Нагих, пожалованных боярством. Другие получали думные чины за прямые услуги, оказанные Лжедмитрию во время борьбы с Борисом Годуновым. Так ближайшими советниками царя Дмитрия оказались бояре Петр Федорович Басманов и князь Василий Михайлович Рубец Мосальский, чином сокольничего и думного дворянина наградили Гаврилу Григорьевича Пушкина. В состав Думы при Лжедмитрии впервые вошли князья Иван Васильевич Голицын, Иван Семенович Куракин, Иван Никитич Большой Одоевский, Иван Никитич Романов и Борис Михайлович Лыков. (Тогда же, кстати, впервые с чином стольника стал упоминаться князь Дмитрий Михайлович Пожарский — будущий герой Смуты и освободитель Москвы[50].) Все эти люди надолго сохранят господствующее положение в управлении государством благодаря Лжедмитрию I, впервые открывшему для них дорогу в Думу и высшие московские чины. В итоге состав Боярской думы расширился настолько, что ее численность значительно превысила ту, что была во времена царя Бориса Годунова[51].

О повседневных делах управления и вообще о том, что происходило в столице Московского государства в дни правления царя Дмитрия Ивановича, известно очень мало. Почти все делопроизводство времен «Росстриги» оказалось утраченным, даже то, что сохранялось, потом активно поправлялось и уничтожалось. Имя царя Дмитрия вычищалось, а на его место вписывалось имя следующего самодержца. Показательна в этом смысле история с грамотами, выдававшимися монастырям на их владения и привилегии. Для того чтобы получить свои «торханные грамоты», освобождавшие от податей, монастырские власти слали в Москву царю Дмитрию, его матери царице Марии Нагой, боярам и другим приказным людям деньги, соболей и

образа в золоченых окладах. По подсчетам В. И. Ульяновского, царь Дмитрий Иванович за неполный год своего правления успел выдать таких грамот более сотни, что оказалось в два раза больше, чем в начале правления Бориса Годунова[52]. Получали грамоты, начиная с августа — сентября 1605 года, патриарх Игнатий, правящие архиереи, крупнейшие монастыри — Троице-Сергиев, Симонов, Новодевичий, Соловецкий, Антониево-Сийский, Кирилло-Белозерский, Спасский-Ярославский. Но потом грамоты были уничтожены или спрятаны. Документы на земли от имени самозваного царя Дмитрия сохранялись в архиерейских и монастырских ризницах в глубокой тайне и не были извлечены оттуда даже при создании Коллегии экономии во времена Екатерины II.

Церковные власти постарались «забыть» о вкладах «Росстриги» в монастыри, хотя выясняется, что он их делал в память о царе Иване Грозном и, наверное, своем «брате» царе Федоре Ивановиче. Косвенным образом о внимании царя Дмитрия к источникам пополнения монастырской казны свидетельствуют распоряжения об изъятии крупных вкладов Бориса Годунова. Самым показательным примером является конфискация во дворец денег, пожалованных царем Борисом в память о своей сестре царице Ирине, осуществленная по указу царя Дмитрия боярином и дворецким князем Василием Михайловичем Рубцом Мосальским 14 октября 1605 года. «А приежжал по деньги з Дворца ключник Богдан Хомутов, — говорилось в помете в монастырских вкладных книгах, — а отвешивал на Дворце те деньги подьячей Богдан Тимофеев с ыными монастырскими деньгами вместе в четырех тысечах рублех»[53]. Следовательно, целью царя Дмитрия не было разорение Новодевичьей обители, обласканной вниманием Бориса Годунова. С его точки зрения, всего лишь восстанавливалась справедливость, и у повергнутого Бориса отнималась надежда даже на посмертное спасение.

Собирание средств в дворцовую казну, конечно, было непосредственно связано и с земными мотивами. Выполняя условия своего договора с воеводой Юрием Мнишком, царь Дмитрий Иванович отсылал в Речь Посполитую значительные денежные суммы, «подъемные» для того, чтобы его невеста как можно скорее прибыла в Москву. Деньги требовались и для отсылки свадебных подарков Марине и ее родственникам, а также для поздравления короля Сигизмунда III.

В Кремле в ожидании приезда будущей царицы царь Дмитрий Иванович затеял большое строительство, о котором вспоминал Исаак Масса: «Он повелел выстроить над большою кремлевской

стеною великолепные палаты, откуда мог видеть всю Москву, ибо они были воздвигнуты на высокой горе, под которою протекала река Москва, и повелел выстроить два здания, одно подле другого, под углом, одно для будущей царицы, а другое для него самого». Голландский купец сумел даже зарисовать эти палаты, «возведенные наверху кремлевской стены в Москве» и стоявшие «на высоких тройных стенах».

Не меньшую ценность представляет и его описание палат царя Дмитрия: «Внутри этих описанных выше палат он повелел поставить весьма дорогие балдахины, выложенные золотом, а стены увесить дорогою парчою и рытым бархатом, все гвозди, крюки, цепи и дверные петли покрыть толстым слоем позолоты; и повелел внутри искусно выложить печи различными великолепными украшениями, все окна обить отличным кармазиновым сукном; повелел также построить великолепные бани и прекрасные башни; сверх того он повелел построить еще и конюшню, рядом со своими палатами, хотя уже была одна большая конюшня при дворце; он повелел в описанном выше дворце также устроить множество потаенных дверей и ходов, из чего можно видеть, что он в том следовал примеру тиранов, и во всякое время имел заботу»[54].

Так замысел царя Бориса Годунова о храме, подобном Иерусалимскому, столкнулся с другим, личным проектом царя Дмитрия, построившим вместо этого свой дворец — наверное, из тех материалов, которые успели приготовить для строительства храма Всех Святых.

«…Хто с цесарем на турского в соединенье?»

Наряду с одним рецептом «тиранского» правления, которому все же последовал царь Дмитрий, — вести грандиозное строительство, был использован и другой — начать великую войну. А. В. Лаврентьев убедительно показал, что царь Дмитрий Иванович готовился к крымскому походу, вникая в самые разнообразные детали. Сделаны были реальные шаги к обеспечению войска запасами и вооружением, проводились «воинские маневры» и «мобилизационные мероприятия». Наконец, успели даже отчеканить наградные золотые для воевод и «голов», от которых ждали подвигов во время крымского похода[55]. В этот ряд нужно включить верстание служилых «городов» денежными и поместными окладами и раздачу жалованья, проведенную в 1605–1606 годах[56]. Разряды не могли обойти вниманием такое событие в жизни служилых людей, но их составители даже в этом увидели злой умысел самозванца: «А в

городех дворян и детей боярских велел для прелести верстат и давать оклады болшие»[57].

Оклады действительно были увеличены. Кроме того, служилые «города» уже получали жалованье от царя Бориса Годунова, выступая в поход против самозванца осенью 1604 года. Стоит согласиться с современниками, объяснявшими такое «валовое» верстание во всей земле желанием царя Дмитрия Ивановича привлечь к себе подданных: «хотя всю землю прелстити и любим быти», как говорил арзамасский дворянин Баим Болтин[58].

Раздачи жалованья начались еще летом 1605 года в Переяславле-Рязанском и Смоленске и объяснялись «царским венцом» (венчанием). Об этом первоначальном стремлении царя Дмитрия щедро наградить служилых людей напоминал царю Ян Бучинский, когда защищал его интересы в Речи Посполитой: «Да и так уже ваша царская милость роздал, как сел на царство, пол осма милеона (то есть 750 тысяч рублей. — *В. К.*), а милеон один по руски тысеча тысечей рублев… А опять служивым, которой имел 10 рублев жалованья, и тому велел дати 20 рублев; а кто тысечю, тому две дано»[59].

О внимании царя Дмитрия к уездному дворянству свидетельствует вызов в Москву представителей «городов» в начале 1606 года: они должны были подавать челобитные «о поместном верстании и о денежном окладе». Возможно, что за этим стоит не просто стремление удовлетворить насущные нужды дворян, но и нечто большее. Такие выборные люди могли потом принять участие в заседании Земского собора, решение которого могло потребоваться ввиду планов ведения чуть ли не трехлетней военной кампании против турок и крымцев.

От времени правления царя Дмитрия сохранилось всего два законодательных акта, и оба они касаются вопросов о крестьянах и холопах, более всего интересовавших мелких землевладельцев. 7 января 1606 года был составлен приговор Боярской думы, запретивший оформлять служилую кабалу одновременно на двух владельцев. Суть и обстоятельства появления этого приговора представлялись «загадочными» для специально изучавшего историю холопства В. М. Панеяха[60]. Возможно, что ключ к разгадке лежит в том, что постановление коснулось только одной, непривилегированной, части холоповладельцев, упомянутой в преамбуле: «…которые дети боярские, и приказные люди, и гости, и торговые всякие люди учнут имати на людей кабалы…» Тем самым был поставлен заслон служилой мелкоте и торговым людям, пытавшимся вопреки смыслу постановлений о холопах, принятых еще при царе Федоре Ивановиче в 1597 году, закрепить

за собой слуг в наследственное владение. Им было сложнее оформить не одну, а сразу несколько отдельных служилых кабал: на отца и сына, на братьев, на дядю и племянника. Во время голода многие холопы были отпущены без выдачи всяких отпускных, и бояре явно стремились закрепить новый порядок. Поддерживал их в этом и сам царь.

Другой известный указ царя и великого князя Дмитрия Ивановича о беглых крестьянах от 1 февраля 1606 года запрещал выдавать обратно беглых крестьян, ушедших от своих владельцев в «голодные лета». Аргументация приводилась жестокая, но справедливая: «А про которого крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика или от вотчинника збрел от бедности, что было ему прокормитися не мочно, и тому крестьянину жити за тем, хто его голодное время перекормил, а исцу отказывати: не умел он крестьянина своего прокормите в голодные лета, а ныне его не пытай».

Оставляли у своих новых владельцев и тех крестьян, которые от бедности «били челом в холопи». Считалось, что это могло случиться только в крайнем случае: «а не от самые бы нужи в холопи он не пошел». (Напомним, кстати, что в биографии Григория Отрепьева был эпизод с холопской службой на романовском дворе.) В остальном царь Дмитрий Иванович подтверждал пятилетний срок сыска беглых, после которого не принимались никакие иски об их выдаче: «А на беглых крестьян по старому приговору дале пяти лет суда не давати»[61].

Царь стремился к тому, чтобы его войско не только было обеспечено всем необходимым, но и училось воевать. Это было совсем необычно для московских порядков. Особенно смущал москвичей выстроенный на льду Москвы-реки «гуляй-город». Его описание дал Исаак Масса: «Крепость, двигавшаяся на колесах с многими маленькими полевыми пушками внутри и разного рода огнестрельными припасами, чтобы употребить против татар и тем устрашить как их самих, так и их лошадей». Царь Дмитрий приказал штурмовать отряду польских всадников хитроумное сооружение, выставленное под окнами его нового дворца в Кремле. Однако прежде татарской конницы это сооружение перепугало всех жителей столицы, ставших называть его «исчадием ада»: «На дверях были изображены слоны, а окна подобны тому, как изображают врата ада, и они должны были извергать пламя, а внизу были окошки, подобные головам чертей, где были поставлены маленькие пушки».

Оказалось, что царь Дмитрий перехитрил самого себя. Полное символики сооружение, предназначавшееся для того, чтобы показать варварам ожидающий их Тартар, стало в глазах

подданных предвестием судьбы самозваного самодержца. «И сотвори себе в маловремянней сей жизни потеху, а в будущей век знамение превечного своего домовища, — так писал об этом чудовищном укреплении автор «Иного сказания», — …ад превелик зело, имеющ у себе три главы. И содела обоюду челюстей его от меди бряцало велие: егда же разверзет челюсти своя, и извну его яко пламя престоящим ту является, и велие бряцание исходит из гортани его; зубы же ему имеющу осклаблене, и ногты яко готовы на ухапление, и изо ушию его яко же распалавшуся». В «Ином сказании» тоже говорится, что этот «ад» стоял на Москве-реке перед окнами царского дворца, «дабы ему ис превысочайших обиталищих своих зрети на нь»[62], и такое совпадение деталей двух описаний не было случайным. Можно не сомневаться, что «чудище» на льду было предметом многих разговоров в Москве и вызывало разные толки — от восхищения будущими победами до проклятия тому, кого недавно приняли как «истинное солнышко наше».

На Масленицу, в конце февраля 1606 года, царь Дмитрий перенес военные забавы под Москву, в Вяземы, где устроил взятие снежного городка. Он заставил свою немецкую стражу брать крепость из снега, внутри которой сидели русские князья и бояре. Единственным оружием были снежки. Царь Дмитрий сам предводительствовал иноземным войском и лихо взял штурмом крепость, которую обороняли его воеводы («немцы» коварно утяжелили снежки разными предметами, грозя превратить забаву в побоище). Самозванцу так понравился его успех, что он произнес, обращаясь к воеводе снежного городка: «Дай Бог, чтобы я так же завоевал когда-нибудь Азов в Татарии и так же взял в плен татарского хана, как сейчас тебя»[63]. Известно, что взятие Азова станет делом Петра I только 90 лет спустя, причем он также будет проводить подготовительные «Кожуховские маневры» перед этим походом.

Даже веселясь, царь Дмитрий Иванович не забывал о целях будущего похода. Подготовка к нему заняла всю зиму 1605/06 года. Царь полагал, что его жена Марина Мнишек успеет приехать в Москву со своим отцом сандомирским воеводой Юрием Мнишком еще до начала поста и весенней распутицы. Когда стало ясно, что этого не произойдет, царь написал угрожающее письмо своему тестю воеводе Юрию Мнишку, которое едва не стало поводом для разрыва. Узнав, что свадебный поезд может приехать в Москву только после Троицына дня, то есть чуть ли не в середине июня 1606 года, царь Дмитрий сообщал тестю: «И ежели бы так случилось, сумневаемся, дабы милость ваша нас в Москве застал; ибо мы с Божиею помощию скоро, по прошествии Пасхи

(после 20 апреля. — *В. К),* путь воспринят намерены в лагерь, и там через все лето пребывать имеем»[64].

Вряд ли бы Дмитрий исполнил свою угрозу. Но ссылка на предстоящий поход тоже не была блефом. Часть поместной конницы готовилась выйти весной в назначенные для службы города, а другая, из дальних городов, например Великого Новгорода, собиралась под Москвой. Новые отлитые мортиры стояли в Китай-городе как напоминание о готовности к войне, а у самых ворот Кремля люди развлекались тем, что измеряли величину «большого и длинного орудия, в котором рослый мужчина может сесть, не сгибаясь». («Я сам это испытал», — напишет один из польских дворян в свите Марины Мнишек[65].)

Базой будущего похода стал Елец. О том, что именно туда отправляются все новые и новые крупные орудия, мортиры и пушки, было хорошо известно даже немецкой охране царя Дмитрия Ивановича. Автор «Московской хроники» Конрад Буссов рассказывал об этих военных приготовлениях царя Дмитрия: «Зимой он отправил тяжелую артиллерию в Елец, который расположен у татарского рубежа, намереваясь со всем этим навестить следующим летом тамошних татар и турок». О посылке в Елец «амуниции, припасов и провианту» писал Исаак Масса: «Все это свозили туда, чтобы сопровождать войско, так что к весне запасли много муки, пороху, свинцу, сала и всяких других вещей на триста тысяч человек, и было велено все сберегать до его прибытия». Наконец, в русских источниках тоже упоминается подготовка весеннего крымского похода и посылка «на Украйну во град Елец с нарядом и со всякими запасы»[66].

Около 1 марта 1606 года уже были расписаны воеводы будущих полков, собиравшиеся по двум росписям — «украинной» и «береговой». Царь Дмитрий Иванович возвращался к традиции, прекращенной в 1599 году указом Бориса Годунова, и снова назначил главного воеводу большого полка в Серпухове и расставил полки в городах по реке Оке. Первым воеводою большого полка был назначен боярин князь Федор Иванович Мстиславский. Если бы поход состоялся, то ему были бы приданы полк правой руки в Алексине во главе с боярином князем Василием Ивановичем Шуйским и передовой полк в Калуге под командованием его брата боярина князя Дмитрия Ивановича Шуйского. Князья Шуйские снова заняли подобающие им места во главе полков русской армии и больше не вызывали никаких подозрений у царя Дмитрия Ивановича. Сторожевой полк в Коломне возглавил боярин князь Василий Васильевич Голицын, а полк левой руки в Кашире — его брат князь Андрей Васильевич Голицын. Младший из братьев Шуйских — боярин князь Иван

Иванович Шуйский — был назначен в большой полк Украинного разряда в Мценске.

Итак, вся верхушка Боярской думы должна была в конце весны — начале лета 1606 года покинуть Москву. Это могло сильно испугать бояр Шуйских и Голицыных, не знавших, что ждать от такого назначения. Не случайно потом как на одно из главных оправданий майского переворота ссылались на запланированное «Расстригой» убийство всех бояр во время их отъезда из Москвы «бутто для стрельбы» в воскресенье 18 мая 1606 года. При этом приводились слова, якобы произнесенные свергнутым самозванцем: «А убити де велел есми бояр, которые здеся владеют, дватцать человек; и како де их побиют, и во всем будет моя воля»[67].

Лед недоверия между царем и его боярами так и не был растоплен до конца. Молодой царь, никого не ставивший вровень себе ни по уму, ни по знаниям, ни по воинским умениям, должен был казаться боярам, привыкшим к чинному и размеренному этикету Кремлевского дворца, выскочкой, испорченным своими «литовскими» советниками. Автор биографической книги о Лжедмитрии 1 Р. Г. Скрынников считал, что «главной чертой Отрепьева была его приспособляемость. Царствовать на Москве ему пришлось недолго, и главная задача, поглощавшая все его силы и способности, заключалась в том, чтобы усидеть на незаконно занятом троне»[68]. Это рассуждение основано на знании последующих событий. Между тем очевидно, что у самого Дмитрия не было никаких сомнений в отношении своих прав на московский престол. Он намеревался править долго и не просто удержаться на троне, а переделать оказавшуюся в его власти страну.

Глава вторая
МОСКОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Посольство в Речь Посполитую

Недовольными и ущемленными чувствовали себя не только шляхтичи из польской свиты царя. Боярская дума тоже имела основания для обид, так как была устранена от участия в делах с Речью Посполитой. Ее совет оказался лишним на этом направлении внешней политики Московского государства. Царь сам знал, как ему действовать, и странно было бы, если бы он посвятил кого-то в свои тайные договоренности с воеводой Юрием Мнишком. Поэтому московские бояре должны были испытать некоторое недоумение, когда к ним, нарушая дипломатическую традицию, напрямую обратился с письмом один из сенаторов Речи Посполитой Юрий Мнишек.

Присланного от него в посланниках Яна Бучинского Боярская дума принимала 21 августа 1605 года по дипломатическому этикету: спрашивали о здоровье, звали гонца к руке, принимали грамоту, выслушивали его речь, говорили ответные речи и, наконец, послали своего гонца Петра Чубарова с ответной грамотой.

Из письма сандомирского воеводы бояре узнали, что он «помощником был царю его милости в дохоженье господарьства, правам прироженым ему належачого». На «похвалу» и «дякованье» (благодарность), выраженные Юрием Мнишком, бояре отвечали тем же, наказывая Петру Чубарову 21 сентября 1605 года: «И мы… бояре думные и все рыцерство московское, грамоту твою приняв любительно, выслушали есмя, и тебя, пану-раду Юрья Мнишка, в том похваляем и о том тебе дякуем, что ты о великом государе нашем цесарском величестве преж сево об нем государе радел и промышлял, да и ныне радеешь и доброхотаешь, и вперед по тому же хочешь радети и ему великому государю нашему цесарскому величеству служити хочешь»[69].

Уже первые дипломатические контакты с Речью Посполитой после воцарения Дмитрия Ивановича стали существенным отступлением от традиции во многих смыслах. Грамота воеводе Юрию Мнишку была отправлена от имени первых двух бояр князя Федора Ивановича Мстиславского и Ивана Михайловича Воротынского с упоминанием дополнительных титулов наместников Владимирского и Нижегородского, употреблявшихся обычно в дипломатическом протоколе, а также запечатана

боярскими печатями. Очевидно было, что царь Дмитрий хотел поощрить сандомирского воеводу за оказанную поддержку, но планы будущей женитьбы на Марине Мнишек пока еще должны были держаться в тайне. Убеждает в этом то, что царь Дмитрий Иванович намеренно изъял всю переписку по этому делу из ведения Посольского приказа, перепоручив ее личной «канцрерии» и своим польским секретарям. Кроме того, посол в Речь Посполитую дьяк Афанасий Власьев, отправленный для получения согласия короля Сигизмунда III на брак Дмитрия Ивановича с Мариной Мнишек, должен был говорить об этом *in secretis.* Как это ни покажется неожиданным для тех, кто уверен в версии польского происхождения самозванца, царь Дмитрий всерьез опасался, что «панну» Марину к нему не отпустят.

Для таких опасений были основания. Незаметно для окружающих царь Дмитрий Иванович уже начинал исполнение своего «цесарского» проекта, в котором отводил себе первенствующую роль, явно не желая оставаться вечным должником и просителем короля Сигизмунда. Даже дьяки Посольского приказа с трудом перестраивались, чтобы поспеть за мыслью своего нового самодержца. Когда они готовили наказ Петру Чубарову, то им приходилось дополнять текст документа упоминаниями о «цесарском» обычае, по которому Дмитрий Иванович венчался на царство, и менять слова «царь» и «царский» на «цесарь» и «цесарский».

В отличие от доверительных поручений, которые посылались воеводе Юрию Мнишку с секретарями царя Дмитрия на польском языке, посольский дьяк Иван Грамотин давал гонцу, направлявшемуся к сандомирскому воеводе, традиционный наказ о соблюдении осторожности и проведывании «всяких вестей». Петр Чубаров прежде всего должен был узнавать об обмене посольствами короля Сигизмунда III с германским императором, турецким султаном, с Крымом, Данией и Швецией. Посольский приказ особенно интересовало, не ведется ли война с Крымом и Турцией, а также будет ли продолжаться война или готовится договор о мире между цесарем Рудольфом II и турецким султаном: «И чего вперед меж их чаять — миру ль или войны; и будет вперед меж их чаять войны, и хто с цесарем на Турского в соединенье? И король литовской цесарю помогает ли, и хто иных государей с цесарем стоят за-один против Турского?»

В Москве начинали осторожно прощупывать и возможность заключения в будущем «вечного мира» с Речью Посполитой. Для этого Петр Чубаров должен был узнавать о настроении людей в Литве и их отношении к «цесарю» Дмитрию Ивановичу: «И что ныне говорят в Литве про государя цесаря и великого князя

Дмитрея Ивановича всея Русии, и как король з государем хочет быти на какове мере — то ли мирное постановенье хочет держати до урочных лет, которое учинено во 109-м (1601-м. — *В. К.*) году, или вечным миром миритись хочет?»[70]

В связи с воцарением Дмитрия Ивановича возобновился обмен полномочными посольствами с королем Сигизмундом III. В Москву с поздравлениями был отправлен посланник королевский секретарь и дворянин, велижский староста Александр Госевский. Впоследствии он станет очень заметной фигурой в делах между двумя государствами. Достаточно сказать, что в 1610–1612 годах Госевский будет командовать гарнизоном польско-литовских войск в Москве. Но 21 августа 1605 года его отправляли из Кракова с верительной грамотой, адресованной от короля Сигизмунда III «великому государю и великому князю Дмитрию Ивановичу всея Руси».

Король хотел получить точные сведения («певную ведомость») от своего доверенного лица о «добром здоровье» и «фортунном повоженьи» своего бывшего протеже. Но еще больше его интересовали некие дела «до приватные розмовы», на обсуждение которых старосте Александру Госевскому были даны полномочия в отдельном «листе». О содержании этих тайных переговоров московские бояре тоже узнали задним числом. После свержения с престола царя Дмитрия Ивановича перевод речей Госевского, «что говорил от короля розстриге, как у него был наодине втайне», будет включен в комплекс тех документов, которые были прочитаны с Лобного места для обличения казненного самозванца, наряду с договором с Юрием Мнишком и письмом папе Павлу V.

Начало тайных переговоров короля Сигизмунда III с царем Дмитрием Ивановичем было ошеломлящим. Московского государя извещали о появлении в Речи Посполитой человека, распространявшего сведения о том, что Борис Годунов… жив! Этим человеком был некий крестник Бориса Годунова Олешка, происходивший из иноземцев и привезенный в Москву «маленек». После крещения в православную веру он служил в крестовых дьячках (вероятно, был членом причта домовой церкви) и в подьячих в Стрелецком и Казанском приказах. Он рассказывал о неком предсказании волхвов царю Борису Годунову, «что покаместа сам Борис будет сидеть на столице, и того царства никак в миру не здержит». Все происходило еще в то время, когда царевич Дмитрий был в Путивле, поэтому Борис Годунов якобы приказал умертвить своего двойника («человека прилична собе») и похоронить его вместо себя, рассказав обо всем только жене и Семену Годунову, «а дети его того не ведали». Нагруженный

золотом и «дорогими чепями», Борис Годунов будто бы бежал в «Аглинскую землю», «и ныне де там жив». Сигизмунд III посылал в Англию к королю Якову I своих агентов, чтобы проверить этот рассказ, а пока «для береженья» предупреждал обо всем царя Дмитрия Ивановича.

Однако к этому времени у царя Дмитрия существовали уже вполне налаженные связи с представителем Московской торговой компании английских купцов Джоном Мерриком. Последний был среди тех, кто поддержал Лжедмитрия еще в то время, когда будущий царь находился в Туле, на пути в Москву. Этот шаг Джона Меррика оказался очень дальновидным и немало помог англичанам. 8 июня 1605 года из «царского лагеря в Туле» Джону Меррику была выдана грамота, в которой царь обещал оказывать подданным английского короля предпочтение перед всеми другими иноземцами: «Наше царское решение пребывать отныне в более тесном союзе и дружбе с славным королем Иаковом, чем кто-либо из наших предшественников состоял в таковых со всеми прочими государями»[71]. К находившемуся в Холмогорах английскому послу Томасу Смиту, приезжавшему к царю Борису Годунову с извещением о восшествии на престол короля Якова I, немедленно послали, чтобы забрать у него прежние грамоты и обсудить новые привилегии английским купцам. Томас Смит, оставивший известие о своем путешествии в Московию, с радостью поверил в правдивость истории спасшегося Дмитрия и даже успел перед отъездом в Англию послать подарок новому царю. Обещания Лжедмитрия не оказались голословными: английские купцы получили от него то, что безрезультатно просили у Ивана Грозного и Бориса Годунова, — позволение на проезд через Московское государство для торговли с Персией. Царь Дмитрий Иванович готовился отправить своего посланника в Англию — царского секретаря Станислава Бучинского. Он на месте мог выяснить, откуда пошел слух о якобы спасшемся Борисе Годунове[72].

Показательно, как быстро идея самозванства стала повторяться и примеряться к разным именам, проникая в обычно закрытые от непроверенных слухов дипломатические документы. Подьячий Олешка передал, скорее всего, те слухи, которыми обросла внезапная смерть Бориса Годунова. Ему, наверное, даже не было известно о том, что в Москве надругались над телом царя Бориса, извергнув его из Архангельского собора. Но и дипломаты Речи Посполитой не были столь наивны в том, чтобы просто передать слух, распространяемый неким москвичом. Для них важно было на этом примере показать дружеское расположение, подкрепленное королевским указом всем воеводам пограничных

городов Речи Посполитой «готовым быти на всякое надобное дело вашей царской милости».

Между тем приготовления на границах Московского государства могли быть истолкованы и иначе. Царя Дмитрия Ивановича не могло удовлетворить и чувствительное указание на то, что король оказывает ему помощь «начаючися того, что не все люди в одной мысли в государствах вашие царские милости». Все это давно уже стало прерогативой самого царя Дмитрия, который вправе был посчитать, что успешно победил всякое разномыслие самим фактом венчания на царство.

Король Сигизмунд III ждал для себя некоторых услуг. Конечно, прежде всего его интересовали шведские дела, так как он не оставлял надежды на возвращение королевского престола в Швеции. Сигизмунд спешил объявить изменником своего племянника «Карлуса Шведцкого», рассказывал о тех войнах, которые вел с ним в Лифляндии. Далее следовало хотя и непрямое, но недвусмысленное предложение взаимного союза в действиях против Швеции: «пригоже то к любви вашей царской милости с королем его милостью, чтоб ту обиду короля его милости, ведал ваша царская милость, как брат любительный и приятель его королевской милости». Короля Сигизмунда продолжала волновать судьба Густава, «который называется сыном короля Шведского Ирика» (Эрика). Он просил, чтобы этому королевичу, зазванному Борисом Годуновым в Московское государство, не оказывали никаких почестей как королевскому сыну и не содержали бы «в такой чести, как он сказываетца, чтоб где он скрыт был и держан». Но что означала бы отсылка шведских послов в Речь Посполитую, если бы они приехали в Москву к царю Дмитрию, как предлагал сделать от имени короля Александр Госевский? Конечно же войну.

Из других важных дел заслуживает упоминания то, что король выступил ходатаем за тех польских и литовских людей, которые помогли Дмитрию Ивановичу взойти на престол. Он просил, чтобы эти люди были достойно награждены и отпущены домой (королю «о том жены их и племя бьют челом»). Другое недоразумение было связано с торговлей, так как, вопреки ожиданиям, граница свободного перемещения купцов и их товаров была установлена царем Дмитрием Ивановичем в Смоленске. 17 июля 1605 года смоленский воевода князь Иван Петрович Ромодановский извещал оршанского старосту Андрея Сапегу о разрешении «литовским торговым купетцким людям» приезжать в Смоленск «со всякими товарами» и торговать там. Смоленский воевода ссылался на государев указ, следовавший «прежнему договору» и «перемирным записем»[73]. Посланник

короля Сигизмунда III Александр Госевский должен был обсудить эту проблему. Торговых людей из «Литвы» не устраивало, что их не пускали «из Смоленска к Москве и до инших городов торговати повольно». Еще король просил за дворян Хрипуновых, которых преследовал Борис Годунов: они вынуждены были бежать в Польшу и теперь намеревались вернуться в Московское государство.

На каждый из этих пунктов были даны краткие ответы. В смерти Бориса Годунова были уверены, и «страху никакова не боимся», благодарили лишь за посылку «для смирости» к «украинным старостам». «О Каролюсе» тоже соглашались послать «лютой ответ и отказ», но обращали внимание короля Сигизмунда III на убавление царского «именованья и титла». «И какова в том любовь с королем его милостью?» — спрашивал царь Дмитрий Иванович. Так же осторожно высказывался царь и о судьбе принца Густава, говоря, что станет держать его «в ыном береженье, не как князя, либо королевича Шведцкого, но как человека в таких делех смышленого». В ответе «о послех Карлусовых» было дано обещание вместе с королем «думати», в случае если они приедут в Москву. Дело «о служилых жолнырех» виделось в Москве совсем по-другому, чем в Польше. Царь Дмитрий Иванович подтверждал, что никого не задерживал, «и ныне на волю всех отпущаем». В этом было лукавство, поскольку позднее секретарь царя Ян Бучинский на приеме у короля Сигизмунда III лично передавал слова Дмитрия, задерживавшего выплаты «того для… что панны не выпустят». Царь Дмитрий Иванович обещал изменить условия торговли, разобраться в спорных делах и начать отпускать «гостей королевства Польского» в иные города. Принимал он во внимание и другие просьбы[74].

Посланник короля Александр Госевский дал царю Дмитрию Ивановичу прекрасный повод для начала разговора о том, что его волновало больше всего, — о получении разрешения женитьбы на королевской подданной Марине Мнишек. Король Сигизмунд III извещал Дмитрия Ивановича о своей будущей свадьбе с Констанцией Габсбургской и, «полагая, что он будет сочувствовать всякой его радости», приглашал московского государя на свадьбу в Краков (это относилось к публичной, а не тайной части переговоров Госевского)[75]. Воепользовавшись этим поводом, в Речь Посполитую отправили опытного дипломата думного дьяка Афанасия Власьева. Он должен был официально известить короля Сигизмунда III о вступлении царя Дмитрия Ивановича на престол и поздравить его с новым браком. Об этом 5 сентября 1605 года один сердечный друг — *intimus amicus Demetrius* — извещал другого письмом на латыни. В латинском

тексте титул Дмитрия Ивановича передавался как «caesar et magnus dux totius Russiae», что было близко к употреблявшемуся в России «царь и великий князь всеа Русии». Однако было бы наивно считать, что польско-литовские дипломаты смогут поставить знак равенства между словами «цесарь» и «царь», как это делали в Москве. В посольском наказе, выданном Афанасию Власьеву, тоже употреблялся титул цесаря. Он подтверждался программной речью, приоткрывавшей грандиозный замысел Дмитрия Ивановича и показывавшей, чего следовало ожидать дальше от столь необыкновенно возникшего союза между Московским государством и Речью Посполитой. Если Борис Годунов мечтал сделать из Москвы второй Иерусалим, то царь Дмитрий вознамерился встать во главе нового крестового похода за освобождение первого, древнего Иерусалима от мусульман. Видимо, все же не случаен был интерес того, кто сначала назывался Григорием Отрепьевым, к Святой земле. Не прошли даром и разговоры с папским нунцием Клавдием Рангони о силе объединенного католического и православного мира. Только, в отличие от самого Дмитрия, никто не видел во главе этой священной войны московского царя.

Известив Сигизмунда III о воцарении Дмитрия, Афанасий Власьев на приеме 18 ноября 1605 года произнес посольскую речь, обращенную к королю: «И впредь з вами великим государем хотим быти в дружбе и любви мимо всих великих государей, штоб Божьею милостью, а нашею цесарскою любителною дружбою крестиянство з рук бусурманских высвобожено было, и вперод бы всим хрестияном быти в покою, и в тишине, и в благоденственном жытью, наша бы великих государей рука вызшылась бы, а басурменьская нижилась».

То, что это не обычная риторическая фигура, становится ясно из последующих речей посла, аргументировавшего от имени своего «великого господаря» и «цесаря» причины будущего похода на Восток. Афанасий Власьев упоминал, что турецкий султан завладел многими христианскими государствами, прежде всего Грецией, а также Вифлеемом, Назаретом, Галилеей и другими землями. И «самое там-то святое место Ерусалим, где пан наш Иисус Христос много чудов учинивши, муку и смерть для збавленья нашого доброволне подъял, и встал з мертвых», тоже оказалось «отримано» (то есть захвачено) «Измаилскими гордыми руками». Поскольку московский царь узнал о войне цесаря Рудольфа II с турецким султаном в Венгерской земле, то он предлагал объединить усилия, «жебы нашим господарским старанием християнство з рук поганьских высвобожено было»[76].

Остальная часть посольства о Марине Мнишек должна была

первоначально остаться в тайне. Царь Дмитрий извещал Сигизмунда III, что, получив благословение своей матери — царицы-инокини Марфы, выбрал в жены дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишка «для того, как есмо были в ваших государствах и воевода сендомирский к нашему цесарскому величеству многую свою службу и раденье показал, и нам служил».

Как видим, в действительности все выглядело не так романтично, как на страницах литературной драмы. Посольский документ не содержал ни единого намека на куртуазность. Действительно, выбор царицы тогда был делом государственным, а не личным.

Подходила ли кандидатура Марины Мнишек на роль жены русского царя? Не лучше ли было выбрать кого-то из боярских дочерей или, может быть, даже договориться о женитьбе на иноземной принцессе? Позднее, когда Марина Мнишек все-таки приедет в Москву, учтивые поляки вспомнят, что матерью Ивана Грозного была княжна Елена Глинская, тоже происходившая из знатного «литовского» рода (детали бегства князей Глинских на службу в Москву при этом не вспоминали). Такой прецедент царь Дмитрий вполне мог учитывать в своих расчетах. Ссылка на него была сильным аргументом, чтобы утихомирить недовольных.

Главная сложность заключалась не в том, что Марина Мнишек происходила из «Литвы», а в том, что она была католичкой и подданной короля Сигизмунда III. Поэтому Дмитрий Иванович просил разрешения для сандомирского воеводы и его дочери приехать в Москву. Он также делал ответный жест и приглашал короля Сигизмунда III в свою столицу на будущую «радость», как называли свадьбу в русских источниках.

Посольство Афанасия Власьева было успешно только в этом единственном пункте. По всем другим вопросам король Сигизмунд III обещал подумать, что означало завуалированный отказ. Возник и давний спор о титулах. Дмитрия по-прежнему не хотели именовать не только присвоенным им именем цесаря, но и царем. Афанасий Власьев не хотел даже брать ответного королевского «отказа» и «листа» из-за того, что в них «тытулу царского государовы его не написано». Но разрешение на свадьбу царя Дмитрия и Марины Мнишек было дано. Кроме того, нашли выход и из главного вероисповедного затруднения. К католической вере принадлежали не только невеста, но и жених, поэтому для Бога все должно было происходить по обряду римской церкви. Но сделать это в Москве было невозможно. Более того, царь Дмитрий Иванович не оставил сомнений

относительно возможности смены Мариной веры для венчания на царство. Через своего секретаря Яна Бучинского он передал подробные инструкции сандомирскому воеводе Юрию Мнишку относительно «панны Марины», вплоть до того, чтобы она «волосов бы не наряжала». Некоторые пункты документа касались приготовления Марины Мнишек к переходу в православие.

Приведем этот примечательный текст полностью.

«Память секретарю нашему Яну Бучинскому, как ему говорити, именем нашим, воеводе Сендомирскому:

1-е. Чтоб воевода у ксенжа у легата папина промыслил и побил челом о волной позволенье, чтоб ее милость панна Марина причастилась на обедне от патриарха нашего; потому что без того коронована не будет.

2-е. Чтоб пан воевода, после обрученья, тотчас о том нам ведомо учинил чрез гонца; а перстень обручалной прислал бы не з жильцом и не с слугою, но с честным человеком.

3-е. Чтоб ей милости панне Марине позволено до греческие церкви ходити; а набоженство и чин свой волно будет держати, как похочет.

4-е. Чтоб ея милость панну Марину звали наяснейшею и всякую честь государскую воздавали и чтоб была во всем предостережена.

5-е. Волосов бы не наряжала.

6-е. Чтоб нихто ее не водил, толко пан староста саноцкой да Бучинской, или которой иной со племяни.

7-е. Промыслити о волности, чтоб Марина в суботу мясо ела, а в середу б постилась.

8-е. После обручанья не ела ни с кем, толко особно, или с воеводою, или с воеводиною и с хоружею, и служили б у ней крайчие»[77].

Память Лжедмитрия I секретарю Яну Бучинскому регламентировала разные вопросы, связанные с соблюдением «государской чести» после обручения и подготовкой венчания Марины Мнишек на царство. Уже в самом первом пункте воеводу просили обратиться к нунцию Клавдию Рангони, чтобы тот исходатайствовал у папского престола разрешение будущей жене и московской царице Марине Мнишек принять причастие из рук православного патриарха («потому что без того коронована не будет»).

Письмо по этому поводу было действительно послано в Рим, но оно оказалось там в тот момент, когда умер прежний папа Климент VIII, благословивший дело московского «царика». Выборы следующего папы, Павла V, только происходили, и ему еще предстояло сформировать свое мнение по не самому

первостепенному вопросу о контактах папского престола с Русским государством. Воевода Юрий Мнишек долго ждал ответа, оттягивая отъезд в Москву. Когда все же инквизиционный суд рассмотрел этот вопрос и вынес твердый отрицательный вердикт, в этом уже было мало смысла, поскольку Марина Мнишек находилась в дороге в Московское государство.

Но раньше ей предстояло пережить невиданный триумф. 22 ноября 1605 года, сразу же за переговорами Афанасия Власьева с королем, в Кракове состоялась свадебная церемония Марины Мнишек с царем Дмитрием Ивановичем. Брак заключался *per procura,* то есть с женихом, которого замещал во время обряда уполномоченный от него человек. С точки зрения католической церкви заключенный таким образом брак ничем не отличался от полноценной свадьбы; в глазах же русских подданных это была всего лишь помолвка и прелюдия к настоящей церемонии в Москве[78].

В архивных делах Польской короны осталось подробное описание краковского торжества под названием «Церемониал или описание обручения *(sponsaliorum)* посла великого князя Московского Димитрия Ивановича с дочерью сандомирского воеводы Мнишка панной Мариной, 1605 года, ноября 29, в Кракове». Обручение состоялось в доме, расположенном на главной, рыночной площади Кракова, неподалеку от Мариацкого собора. В одной из зал этого дома был специально приготовлен «прекрасный алтарь». Церемонию проводил двоюродный дядя Марины Мнишек краковский кардинал Бернард Мациевский. Но главной особенностью свадьбы стало то, что ее посетили сам король Сигизмунд III, его сестра шведская королевна Анна, королевич Владислав, нунций Рангони и многие высшие сановники Речи Посполитой. Все это создавало трудности с точки зрения дипломатического этикета, но их успешно обошли тем, что московский посол со своей пышной свитой в 200 всадников сначала дожидался приезда из Вавельского дворца короля, а потом был у него на приеме и целовал ему руку.

«Царица венчалась в белом алтабасовом, усаженном жемчугом и драгоценными камнями платье, очень дорогом; на голове у нее была небольшая корона, усыпанная очень дорогими каменьями» — такой предстала Марина Мнишек гостям. Когда ее привели, посол Афанасий Власьев повторил от имени царя Дмитрия просьбу благословить его брак с Мариной Мнишек: «перед венчанием посол стал говорить речь, в которой говорил, что прибыл для этого дела по воле своего государя и просил у Сендомирского воеводы его дочери и родительского благословения».

Особую торжественность моменту должны были придать ораторские выступления канцлера Льва Сапеги и других высших сановников Речи Посполитой. Судя по изложению этих речей в цитируемом «Церемониале», многие хвалили «славный дом девицы, ее воспитание и богатство добродетелей» и обращали внимание на верность слову царя Дмитрия: «что он по раз принятому намерению и обещанию в знак благодарности за благорасположенность, какую видел к себе со стороны Сендомирского воеводы и при дворе, вступает в брак с дочерью воеводы».

Целую проповедь сказал, как и положено перед венчанием, кардинал Бернард Мациевский. Он также хвалил достоинства жениха — великого царя и государя великой России (царский титул заранее написали на бумаге). Его «удивительная речь» о предстоящем браке царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек была посвящена обстоятельствам воцарения русского царя с помощью самого короля Сигизмунда III. В день свадебного торжества можно было проговорить то, о чем обычно предпочитали не упоминать. «Бог так часто наказывал их разномыслием, — говорил кардинал о русских, — что они то замышляли искать себе государя за морем или в соседних странах, то сажали на престол своих великих государей незаконных наследников. Теперь Божиею милостию и устроением они нашли себе надлежащего государя в государствах его величества, нашего милостивого государя. Не место здесь говорить, какие милости и какую помощь получил царь от его величества. Сам его величество царь Димитрий, помня это, зная также планы его величества короля и этого королевства, открыл благочестивому государю свои намерения прежде всех государей и, кроме того, желая еще больше доказать свою благодарность, берет через тебя, господин посол, супругу себе (слова, положенные в чине венчания) в этих государствах, берет свободную шляхтенку, дочь благородного сенатора из благородного рода».

После этого все запели одну из самых торжественных и возвышенных католических молитв *«Veni Creator Spiritus»* («Приди, о Дух всезиждущий»). Этот гимн пелся при избрании пап, коронации королей и других самых важных событиях. Теперь этой чести удостоилась Марина Мнишек при своем обручении с царем Дмитрием. Король Сигизмунд III и вся его свита пали на колени, остались стоять только шведская королевна Анна, бывшая протестанткой, и московский посол Афанасий Власьев.

Свадьба запомнилась пышными церемониями, танцами и дарами, присланными от московского царя. А еще неуклюжим

поведением московского посла Афанасия Власьева. Сначала он удивил всех своими непосредственными ответами на положенные в обряде венчания вопросы и пререканием с кардиналом Бернардом Мациевским: «Когда кардинал, в числе других вопросов, спрашивал посла: „Не обещался ли великий царь кому другому“ — он отвечал: „Разве я знаю; царь ничего не поручил мне на этот счет“, и уже после напоминаний стоявших подле него при этом торжестве он сказал: „Если бы он дал обещание другой девице, то не посылал бы меня сюда“. Но он восставал против того, что кардинал говорил по латыни, — на это он не соглашался. Когда кардинал сказал: „Господин посол, говорите за мной, как требует наша католическая церковь и ваша…“ то посол говорил за кардиналом и хорошо произносил слова, впрочем, он не вдруг стал говорить. Он говорил: „Я буду говорить с девицей Мариной, а не с вами, ксендз кардинал“».

Оберегая в меру своего понимания царскую честь, думный дьяк Афанасий Власьев очень необычно обменялся кольцами с невестой и долго противился тому, чтобы прикоснуться к руке новой московской царицы, соглашаясь сделать это только через чистый платок. «Когда пришлось давать перстни, то посол вынул из маленького ящика алмазный перстень с большой и острой верхушкой, величиной в большую вишню, и дал его кардиналу, а кардинал надел его невесте на палец, а от невесты посол взял перстень не на палец и не на обнаженную руку, но прямо в вышеупомянутый ящик. Когда кардинал хотел связать епитрахилью руки жениха и невесты, то посол послал к жене воеводы Мнишка за чистым платком и хотел обернуть им свою руку и исполнить таким образом этот обряд, а не прикасаться к руке невесты своею голою рукою, но ему не дозволили этого сделать, и он должен был дать свою руку от имени своего царя, князя московского». Во время всего обряда венчания король Сигизмунд III стоял рядом с кардиналом Бернардом Мациевским и, должно быть, со сдержанной усмешкой наблюдал за действиями московита, не знакомого с галантным обхождением.

«Когда кончилось венчание, то все отправились в столовую, — продолжает автор цитируемого нами описания, — впереди шла царица, за ней шведская королевна, за ней посол. Все эти лица стали на возвышенном месте у стола, царица — по правой стороне, королевна — по левой, а король, придя к столу, сел посередине. В это время подошли около сорока человек москвитян, неся драгоценные подарки от царя, которые посол отдавал. Принимала их жена львовского хорунжего Тарлова, бабка царицы, стоявшая подле нее, потому что мать невесты была больна».

Настоящему жениху, Дмитрию, удалось искупить все неловкости поведения своего посла богатыми и затейливыми подарками, славу о которых разнесли послы разных стран при польском короле, немедленно обратившие внимание на сближение Речи Посполитой и Московского государства. Царь Дмитрий Иванович сумел поразить как свою невесту Марину Мнишек, так и гостей церемонии «украшением в виде Нептуна», «портретом богини Дианы, сидящей на золотом олене», золотыми пеликаном и павлином, у которого перья качались, как у живого. И это не считая разных кубков, чарок, перстней, крупных жемчужин, соболей, парчи и бархата. Особенно удивили гостей присланные часы «со слоном с башней», игравшие по «московскому обычаю»: «слышны были разные громкие и отчетливые звуки, удары в бубны, трубили двенадцать труб; долго их приводили в движение, доставляя наслаждение присутствующим. Они потом играли на флейтах, а затем ударили два часа»[79]. Для Марины Мнишек часы стали отсчитывать время до встречи с ее «царевичем».

Оставалось рассадить гостей. В присутствии короля послу царя Дмитрия опять следовало быть осторожным, чтобы не нанести урона государской чести: «По поднесении подарков стали садиться к столу: в правом углу стола посажена была царица, и когда она садилась, король приподнялся и приподнял шапку; на другом углу, слева, села королевна. Одновременно с царицей сели: посол подле царицы, пониже, а королевич подле королевны, немного ниже, напротив посла. Когда посол садился, король не двигался». Имело значение даже то, в каком порядке гости должны были умыть руки: сначала это сделал король Сигизмунд III (при этом все встали), затем Марина Мнишек (она делала это, сидя за столом), и только после этого сосуд для умывания и одно общее полотенце предложили послу Афанасию Власьеву, который, однако, отказывался сделать то же, что и царица. Дело, конечно, было не в том, что посол боялся допустить оплошность и не знал, как управляться с рукомойником. Напротив, во всем его поведении было вполне осмысленное и настойчивое стремление подчеркнуть, что главная церемония должна состояться в Москве, а не в Кракове, и поэтому он не может заместить царя.

Также одновременно подавали «яства»: «одни ставили перед королем, другие перед царицей». По этому случаю из дворца была привезена королевская посуда, поставленная перед новой московской царицей Мариной Мнишек и ее «женихом». И опять Афанасий Власьев больше следил не за сменой блюд, а за следованием посольскому обычаю. «Так как молодая ничего не ела, то и посол не хотел ничего есть; он, кроме того, боясь царя,

остерегался, как бы не дотронуться своею одеждою до ее платья, — он даже не хотел и садиться за стол, так что уже сендомирский воевода убедил его сесть, сказав, что это нужно сделать. За столом, когда король пил вино, все встали. Король пил за здоровье государыни, сняв шапку и немного приподнявшись со стула. Царица и посол стояли».

Поведение посла Афанасия Власьева, видимо, очень развеселило короля Сигизмунда III, и он решил немного позабавиться с ним, четырежды провозглашая здоровье царя Дмитрия, но каждый раз наливая себе совсем немного вина. Однако московский посол оказался готов и к этому: как заметили окружающие, «посол пил и после, но мало и осторожно, часто поглядывая на невесту своего государя. Когда пили за здоровье царя или царицы, он вставал со стула и, как слуга, бил челом».

Царица Марина, напротив, с удовольствием «пила здоровье» королевны Анны, королевича Владислава, а о своем муже царе Дмитрии вспомнила только тогда, когда ей напомнил об этом отец, что тоже не ускользнуло от внимательного взгляда: «Когда царица обратилась к послу и пила за здоровье царя (это она сделала по приказанию отца, перед которым, когда он подошел к ней, она не встала, привстала только немного, когда он отходил от нее), то посол встал со стула и, стоя подле него сбоку, выпил за здоровье королевича из другого бокала (из того, из которого пила царица, не хотел пить)».

После обеда маршалы королевского двора расчистили пространство, и король Сигизмунд III с царицей Мариной открыли бал, посвященный ее обручению. Московский посол отказался от предложения танцевать с царицей, твердя, что «не достоин того, чтобы прикасаться» к ней. Кроме того, он высказал свое недовольство тем, что «во время танцев царица падала к ногам короля». Но Афанасию Власьеву объяснили, что так происходит, потому что «король — ее благодетель и что она — его подданная, пока находится в королевстве». Молоденькая дочь сенатора Юрия Мнишка сполна могла насладиться танцами, наяву воплощавшими ее девичьи грезы. Все глаза были обращены только на нее (кроме Марины Мнишек, из придворных дам осмелилась танцевать лишь некая девица Осветимская), следом за танцем с королем московская царица пошла танцевать и с сестрой короля, и с королевичем Владиславом. Королевичу было в то время всего десять лет, а его партнерше — «уже» шестнадцать. Марина Мнишек была маленького роста, и издали, со стороны, могло казаться, что танцуют дети. Так оно, по сути, и было. Никто тогда и представить не мог, что царица и жена двух самозванцев, чье имя будут проклинать долгое время, танцует с

еще одним будущим московским царем, которому пять лет спустя присягнут в Москве.

Понимая необычность момента, сандомирский воевода еще раз вмешался в церемониал и подошел к дочери, чтобы вместе испросить королевское благословение: «Марина, поди сюда, пади к ногам его величества, нашего милостивого государя, моего и твоего благодетеля, и благодари его за столь великие благодеяния и пр.». Это Марина Мнишек сделала более охотно. «Она подошла к королю (король встал), вместе с отцом они бросились к ногам его величества, и отец благодарил короля». Так описывал всю сцену автор «Церемониала». «Король поднял царицу, снял шапку, а потом надел ее и стал говорить царице речь, в которой поздравлял ее с браком и новым званием и внушал, чтобы она своего мужа (так он выразился), чудесно данного ей Богом, вела к соседской любви и дружбе для блага этого королевства, потому что если тамошние люди (подлинные слова короля) прежде сохраняли с коронными землями согласие и доброе соседство, когда не были связаны с королевством никаким кровным союзом, то при этом союзе любовь и доброе соседство должны быть еще больше. Его королевское величество внушал ей, чтобы она не забывала, что воспитана в королевстве, что здесь Бог возвеличил ее настоящим достоинством, что здесь ее родители и близкие и дальние родственники, что она должна заботиться о сохранении доброго соседства между этими государствами и вести своего супруга, чтобы он своим дружелюбием, добрым соседством и готовностью оказывать услуги вознаграждал все то, что с любовью сделано ему… Король убеждал ее помнить приказания и наставления родителей, оказывать им должную честь, помнить Бога и жить в страхе Божием, так как за это ниспослано будет Божие благословение; своему потомству, если Бог даст ей его, чего король желал ей, убеждал внушать любовь к польским обычаям и вести его к хорошей дружбе с польским народом. Затем, сняв шапку, перекрестил ее, а она заплакала и опять с отцом упала к ногам его величества. То же она делала, подходя к королевне и королевичу. Посол внимательно слушал, когда король говорил к царице»[80].

На следующий день московского посла Афанасия Власьева принимали в королевском дворце. Канцлер Лев Сапега снова поздравлял царя Дмитрия Ивановича с вступлением на престол и говорил о будущем «союзе против турок». Не обошлось без обычных, ставших уже «ритуальными» в отношениях двух стран споров о царском титуле, в котором было отказано уже при самом начале переговоров с посланниками московского государя. Время

свадебных торжеств закончилось, и начинались обычные дипломатические будни.

Получив известие об успешной миссии Афанасия Власьева в Речь Посполитую, царь Дмитрий Иванович поспешил накануне Рождества 12 (22) декабря 1605 года отправить в Краков своего доверенного секретаря Яна Бучинского[81]. Тот приехал с деньгами и подарками для Марины Мнишек 3 января 1606 года. Отцу жены было привезено, как записал один из секретарей воеводы Юрия Мнишка, 300 тысяч золотых. Среди новых подарков были усыпанные алмазами изображения Христа и Марии, золотая цепь с бриллиантами, жемчужные четки и браслет с алмазами, золотой ларец с жемчугом, которым Марина Мнишек любила украшать свои волосы, а также перстень с тремя бриллиантами. Царь Дмитрий слал золото в слитках и золотой набор посуды, выказывавший царскую заботу об отправлявшейся в путь невесте: блюда, тарелки, солонку, бокал и даже украшенные «искусными изображениями» таз с рукомойником[82].

Для московской казны щедрость царя Дмитрия Ивановича, конечно, была обременительной. Причем расточительность, похоже, была присуща самозванцу с самого начала его воцарения в Кремле. 10 июля 1605 года английский купец Джон Меррик отправил целый отчет по исполненным им финансовым поручениям от Лжедмитрия. Царя интересовала покупка «у некоего Эдуарда Паркьюста камня сапфира», стоившего не менее 250 рублей. Джон Меррик также писал, что получил сумму в пять тысяч рублей, на которые должен был приобрести десять тысяч золотых. Еще тысячу рублей золотом царь требовал от английских купцов в уплату за проданных им из казны соболей[83]. Возможно, что именно эти деньги, собранные Джоном Мерриком, потом окажутся в Речи Посполитой. Кстати, письмо английского торгового агента дает возможность оценить курс рубля, на который можно было купить венгерские золотые (весом около 3,5 грамма золота), ходившие и в Московском, и в Польском государствах. Воевода Юрий Мнишек, следовательно, получил от своего зятя 150 тысяч русских рублей. Для сравнения: средний годовой оклад одного боярина, получавшего жалованье из четверти, в 1604 году составлял 250 рублей, а окольничего — около 150 рублей, рядовых дворян — от пяти до семидесяти рублей[84]. Словом, суммы, которые выплачивались «в Литву», обычному служилому человеку трудно было даже представить.

Исполняя поручения царя Дмитрия, его секретарь получил аудиенцию у короля Сигизмунда III и увидел, что за всеми внешними успехами с разрешением женитьбы на Марине Мнишек при королевском дворе накопилось немало раздражения против

его патрона. Кто-то из ближнего польского окружения Дмитрия постоянно доносил в Краков обо всем, что происходило не только в Москве, но даже в его кремлевских покоях («что делается в комнате у тебя, и то все выносят»). Бучинскому пришлось пережить неприятные минуты, когда он узнал, что даже его льстивые слова, сказанные то ли в шутку, то ли всерьез царю Дмитрию, — «что будешь ваша царская милость королем польским», — тоже оказались известны при дворе. Перлюстрировалась их переписка с царем Дмитрием, так что Ян Бучинский уже не мог написать о «больших делех». Он подозревал в предательстве одного из секретарей царя Дмитрия.

Король Сигизмунд III, получая такие противоречивые донесения, видя приезжавших из Москвы бывших сторонников царевича, считавших, что им недоплатили заслуженного жалованья, не спешил извещать сенат о московских делах и о результатах миссии А. Госевского. Слухи, распространявшиеся приехавшим из Москвы рыцарством, питали и недовольство сенаторов Речи Посполитой. Отношения с «московским цариком» развивались вопреки решению сейма 1605 года. Ян Бучинский писал в середине января 1606 года царю Дмитрию Ивановичу из Кракова: «А ныне пишу, что добре не любо было некоторым нашим паном приезд с тем вашим наказом, потому что еще король и первые грамоты вашей, которую Гасевский принес, паном-радам не казал». Вельможи короля Сигизмунда III упрекали его, что он помогает неблагодарному человеку, считая, что король мог успешнее действовать самостоятельно в отношениях с Московским государством: «И многие паны королю говорили, что вы его королевской милости за его великие добродетели злым отдаешь; а толко б он тебе не помогал, и он бы за то много дел на Борисе взял. А от тебя ничего доброго не чает: в одной грамоте пишешь, чтоб с тобою случитись и совокупитись против Турского, а в ыной пишешь с отказом и грозячи его королевской милости».

Ян Бучинский откровенно говорил о том, что вызывало наибольшие затруднения в делах. Рассматривался вопрос о том, выдать ли приехавшему тогда же гонцу Ивану Безобразову грамоту «с царским титлом или без титла». Что уж говорить о титуле «непобедимого цесаря», присвоенном Дмитрием! В Речи Посполитой его упрекали «в великой спеси и гордости», пророча, как это делал, например, познанский воевода, что скоро его свергнут с престола: «И надобе то указать всему свету и Москве самой, какой ты человек. А и сами москвичи о том догадаютца — какой ты человек и что им хочешь зделати, коли ты не помнишь добродетели короля его милости».

О самом опасном для царя Дмитрия обвинении Ян Бучинский узнал со слов Станислава Борши, приехавшего в Краков вместе с другими жаловаться королю на недоплаченные злотые. По дороге Борша встретился с одним из дворян Хрипуновых, взявшим с него крестное целованье, что он, Борша, никому не расскажет про Дмитрия, «что уже подлинно проведали на Москве, что он не есть прямой царь; а увидишь, что ему зделают вскоре». Вопреки обещанию, Станислав Борша стал рассказывать о поведанной ему тайне, и все очень быстро дошло до царя Дмитрия.

Яну Бучинскому приходилось долго открещиваться перед королем и всеми сенаторами от упреков рядовых «жолнеров», вернувшихся с началом нового года в Речь Посполитую. Солдаты «добре лаяли и сказывали, что они имеют письмо с подписью руки твоей, — писал Ян Бучинский царю Дмитрию об очной ставке с его польскими воинами в Кракове, — и целовал им крест заплатить за их службу и отпустить опять назад тотчас; ино что им заплатил, то они и проели, потому что жили тамо на Москве без службы полгода, и что взяли, то опять тамо и оставили». Здесь выясняются интересные детали того, как пожаловал своих сторонников из Речи Посполитой царь Дмитрий Иванович: «А обещал ты им, как придешь на Москву, назавтрее того дати им покольку тысеч золотых, и ты де им того не дал, а дал только покольку сороков соболей, да покольку сот золотых». Яну Бучинскому пришлось оправдываться и убеждать, что все уже «проплачено». Больше всего наградили тех гусаров, которые служили «три четверти году», то есть с самого начала похода царевича Дмитрия из Речи Посполитой, им «дано по сороку золотых на один кон». Пятигорцам (литовской шляхте), служившим «с 11 недель или болыпи», то есть со времени путивльского стояния, «дано за пять четвертей году по 30 по 7 золотых». А дальше случилось то, что иногда бывает с легкими деньгами, нажитыми войною: гусары и жолнеры пустили свои капиталы в распыл: «И как им то дано, и они, взяв деньги, учали держати по 10 слуг, которой преже того 2 не имел, и почали им камчатое[8] платье делати, и стали бражничать и битися, и то все пропили и зернью проиграли, и хотели опять на вашей царской милости взяти». Ян Бучинский подтверждал, что тем, у кого имелись долговые расписки царя Дмитрия, все будет заплачено: «А слышел яз то не одинова из ваших уст, что и те обогатяца, которые письмо твое имеют, хотя ныне и в Польше, только б вам панну пустили». Сам Ян Бучинский заметно обогатился, а потому ему завидовали и его ссылка на собственный пример оказалась неубедительной. Шляхта уличила Дмитрия в самом главном грехе: «хочет де воевать и славен быти, а рыцерских людей не

жалует»[85].

Король Сигизмунд III находился в явном затруднении. Польский секретарь русского государя пытался убедить его в том, что Дмитрий Иванович «государство свое удержал вскоре» и что его «уже боятца и добре любят». Русский же гонец Иван Безобразов тайно передавал совсем другое. Об этой дополнительной миссии Безобразова, в присутствии которого Ян Бучинский защищал царя Дмитрия Ивановича, рассказал в своих записках гетман Станислав Жолкевский. Оказалось, что гонец имел доверительное поручение от бояр Шуйских и Голицыных к литовскому канцлеру Льву Сапеге, «что они думают, каким бы образом свергнуть его (самозванца. — *В. К.*), желая уж лучше вести дело так, чтобы в этом государстве царствовал королевич Владислав»[86].

Известие гетмана Жолкевского уникально и не имеет подтверждения в других источниках. Он сам позднее немало сделал для приведения жителей Московского государства к присяге королевичу Владиславу, заключив соответствующий договор об этом с Боярской думой в августе 1610 года. В момент избрания на русский престол королевичу Владиславу было лишь пятнадцать лет, и его отец, Сигизмунд III, побоялся отпустить сына в Россию (хотя, как известно, главной причиной было желание польского короля самому владеть русским престолом). Тем менее шансов было у пропольской партии в Боярской думе, когда они предлагали сменить Лжедмитрия десятилетним королевичем. Видя участие во всем этом деле князя Василия Шуйского — будущего главы заговора против царя Дмитрия, можно лишь предположить, что короля Сигизмунда III пытались успокоить тем, что после свержения его ставленника в России для союза с Речью Посполитой могут настать еще более благоприятные времена.

Таким образом, императорские мечты Дмитрия оставались только его собственными мечтами. За полгода своего правления в Москве он успешно растерял поддержку пришедшего с ним рыцарства, своими неуемными претензиями раздражил короля и сенат Речи Посполитой. Да и в Боярской думе у царя Дмитрия Ивановича оказались весьма влиятельные враги, не желавшие безропотно во всем следовать царю, ими же самими посаженному на престол.

В ожидании Марины Мнишек

Царь Дмитрий Иванович легко вмешивался в старые порядки и нарушал традиции. Но он преследовал прежде всего

собственные интересы. Когда ему не удалось сыграть свадьбу с Мариной Мнишек до наступления Великого поста, царь нашел повод повеселиться и женил князя Федора Ивановича Мстиславского. В том, что это был политический брак, просчитанный самим царем Дмитрием, убеждает выбор невесты — близкой родственницы царской «матери» из рода Нагих. Должна была решиться и холостяцкая судьба боярина князя Василия Ивановича Шуйского, свадьба которого была назначена после венчания на царство Марины Мнишек.

Потом в «Чине венчания» мы увидим, что княгине Мстиславской отводилась почетная роль вести невесту к обручению «под ручку» вместе с ее отцом воеводой Юрием Мнишком. Если бы это делала другая боярыня, тогда появилось бы основание для местнической ссоры. Так одним решением царь Дмитрий Иванович создавал себе славу правителя, жалующего своих бояр, и решал важную проблему свадебной церемонии.

Начальник его охраны капитан Жак Маржерет писал об этом интересе Дмитрия к матримониальным делам членов Боярской думы: «Он разрешил жениться всем тем, кто при Борисе не смел жениться: так, Мстиславский женился на двоюродной сестре матери указанного императора Димитрия, который два дня подряд присутствовал на свадьбе. Василий Шуйский, будучи снова призван [из ссылки] и в столь же великой милости, как прежде, посватался уже к одной из этого же дома, его свадьба должна была праздноваться через месяц после свадьбы императора. Словом, только и слышно было о свадьбах и радости ко всеобщему удовольствию, ибо он давал им понемногу распробовать, что такое свободная страна, управляемая милосердным государем»[87].

Тем досаднее для Дмитрия становились доходившие слухи о заговорах. Великим постом 1606 года, когда случился малый стрелецкий бунт, царь Дмитрий Иванович поставил точку в долгой истории другого царя — Симеона Бекбулатовича. Поначалу он был нужен Дмитрию как еще один свидетель обвинений против Бориса Годунова. И Симеон оправдал ожидания, рассказав о том, как он ослеп, выпив чашу, присланную царем Борисом. Симеона Бекбулатовича с особой пышностью встречали в Москве. Ему навстречу высылали бояр и окольничих, а запись об этом событии внесли в разрядные книги. Однако впоследствии бедному старику что-то такое наговорили и он, по словам автора «Нового летописца», «начат многим людям говорити, чтоб не предали православные християнские веры в латынство», что очевидно для всех имело в виду недостаточное православие царя Дмитрия Ивановича.

Очевидно, что Симеон Бекбулатович по-прежнему признавался одним из возможных претендентов на русский престол, а потому представлял угрозу для самозванца. В. И. Ульяновский уверен, что за спиной царя Симеона стоял заговор митрополита Ростовского и Ярославского Филарета Романова[88]. Но это всего лишь версия, одних известий о властолюбии митрополита Филарета для ее обоснования недостаточно.

Пострижение царя Симеона в Кирилло-Белозерском монастыре было опалой, но опалой мягкой. Царь Дмитрий своим указом 29 марта 1606 года направлял Симеона Бекбулатовича в сопровождении приставов в монастырь и просил игумена Кирилло-Белозерской обители, чтобы он «царя Симеона постриг со всем собором честно». 3 апреля Симеон прибыл в монастырь в сопровождении приставов. В тот же день был совершен необходимый обряд «и дано ему имя во иноцех Стефан». В монастыре инок Стефан находился в привилегированном положении, так же как раньше «покоили» другого знатного старца и его тестя — Иону Мстиславского, бывшего боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского, отправленного в опалу и постриженного в Кирилло-Белозерском монастыре в 1585 году[89].

Каковы бы ни были мотивы пострижения царя Симеона Бекбулатовича, устранение даже гипотетических претендентов на власть было важным шагом в преддверии все той же коронации Марины Мнишек и будущего крымского похода, в который собирался отправиться царь Дмитрий Иванович.

Если бы Марины Мнишек не было в истории царя Дмитрия Ивановича, ее стоило придумать. Даже без появления польской шляхтенки сюжет с возникновением из небытия московского царевича затмевал иные подвиги мифических героев. Сначала осуществился смелый поход одиночки, к ногам которого упал великий колосс Московского царства. Потом состоялся приезд свадебного поезда Марины Мнишек из Речи Посполитой. Для многих только эти события тогда и запомнились, определив отношение ко времени правления самозваного царя Дмитрия. Одиннадцать месяцев, отпущенных ему на русском престоле, казались досадным перерывом традиции истинных, «национальных» государей. «Прирожденность» Дмитрия, бывшая самым главным аргументом для его восшествия на царство, со временем стала казаться блефом. Женитьба самозванца на «девке-иноземке» чужой веры, кажется, дала лучший повод для его обличения. Но не все было так просто в этой истории.

Превращение Марины Мнишек в русскую царицу и даже императрицу Марию Юрьевну, венчанную по всем канонам в Успенском соборе Кремля, только начиналось. Естественно, что в

жизни юной дочери Мнишков не могло все произойти в одну минуту. Сама она пока не выбирала свой путь, за нее это делали другие. У нее не было сомнений в том, что она шла по великой дороге прославления своего рода. Марина Мнишек была готова послужить как оставляемой родине, так и Московскому государству. Ее благословил на это король Сигизмунд III, она была ободряема самим папой Павлом V. В ее великой будущности не сомневались канцлер Лев Сапега и многие другие сановники Речи Посполитой. «Московская царица» Марина Мнишек расписывалась в книге почетных гостей Краковской академии сразу вслед за королями и королевами Речи Посполитой. Этим невозможно было шутить. Все, что с нею происходило, хотя и выглядело невероятным, но было освящено законом. По отношению к ней, начиная с заключения брака в Кракове в ноябре 1605 года, уже соблюдался дипломатический и придворный церемониал, подобающий русской царице.

После продолжительных сборов и дороги, занявшей больше месяца, Марина Мнишек со своей свитой въехала в пределы Московского государства 8(18) апреля 1606 года.

Все это время царь Дмитрий Иванович готовился к встрече жены. Между ним и тестем воеводой Юрием Мнишком шла оживленная переписка. Посол Афанасий Власьев тоже не мог считать свою миссию выполненной, пока Марина Мнишек не приехала в Москву. В Смоленск давно уже были наперед отосланы готовить встречу царицы бояре царя Дмитрия Михаил Александрович Нагой и князь Василий Михайлович Рубец Мосальский. Один из них был родственником царской матери инокини Марфы Федоровны, другой — ближним боярином и дворецким. Дипломатический статус и значение данного им поручения подчеркивались титулами наместников.

Нагому и Мосальскому и довелось первыми встретить Марину Мнишек на дороге к Смоленску и передать ей царские письма и подарки. Тогда же Марина и ее польская свита начали знакомство с настоящими московскими церемониями. Автор так называемого «Дневника Марины Мнишек» (его текст написан вовсе не ею, а каким-то дворянином, служившим в свите Мнишков) сообщил о первой встрече с царскими боярами: «Они оба, как только царица появилась, вошедши в избу с несколькими десятками своих дворян, сразу ее приветствовали и низко челом били до земли»[90].

В Москве тоже готовились к встрече, продумывая самые разные детали. Решалось, где будет жить Марина Мнишек до свадьбы, в каких домах разместятся ее отец и родственники, приехавшие на коронацию. Слухи о щедрости царя Дмитрия

успели распространиться после краковской свадьбы, поэтому в Москву ехали иностранные купцы из Кракова, Милана, Аугсбурга. В торговые операции пустилась также сестра короля Сигизмунда III принцесса Анна, приславшая со своим торговым агентом «узорочья» на многие тысячи талеров. Маршалок королевского двора пан Николай Вольский торговал «дорогими шитыми обоями и шатрами» (впоследствии дипломатам двух стран придется потратить немало времени, чтобы учесть его претензии по возмещению ущерба). В огромном количестве заготавливался провиант, чтобы хватило для угощения на все время свадебных торжеств. Царь приказал дворянам готовить самые красивые кафтаны и упряжь для лошадей, а стрельцам выдали новое обмундирование — «красные кармазиновые[9] кафтаны, повелев каждому быть готовым к встрече царицы». Не забыли построить «костел у Стретенья на переходех подле Николы Явленского», куда могли приходить поляки и литовцы. (Затем в разрядах тоже не забудут упомянуть этот «грех» царя Дмитрия.) По дороге от Смоленска к Москве все было устроено для проезда более двух тысяч человек, сопровождавших царицу[91].

Первым в Москву, отдельно от дочери, приехал воевода Юрий Мнишек. Это случилось 24 апреля 1606 года, то есть в середине Светлой недели. Воеводе была устроена встреча, напоминавшая своею торжественностью, по словам Исаака Массы, встречу датского принца Иоганна при Борисе Годунове. Возглавлял московскую процессию, выехавшую навстречу воеводе Юрию Мнишку, боярин Петр Федорович Басманов. Следуя моде на польское платье, введенной царем Дмитрием, он был одет по-гусарски. Царского тестя провезли по «диковинному мосту», устроенному через реку Москву без всяких опор, на одних канатах.

Символично, что сандомирский воевода был размещен в бывшем годуновском дворе в Кремле. Царь Дмитрий инкогнито встречал отца Марины Мнишек, его заметили в окружении московских всадников и в сопровождении польской роты. Он должен был блюсти «царскую честь», поэтому прием воеводы мог состояться только во дворце. Но царь всячески выказывал внимание приехавшему в Москву родственнику, Дмитрий Иванович по обычаю прислал спрашивать «о здоровье» кравчего князя Ивана Андреевича Хворостинина. С царского стола на золотых блюдах были присланы разные кушанья, что тоже было признаком высочайшей милости.

В тот же день царь продемонстрировал приехавшим полякам свое почтительное отношение к старице Марфе Нагой. Ему было важно доказать им то, что он уже доказал подданным: мать

царевича Дмитрия относится к нему как к настоящему сыну. Поэтому от царского дворца в Вознесенский монастырь проследовала целая процессия, сам царь ехал в белых одеждах на каштановом коне в окружении нескольких сотен алебардщиков и русской охраны. Стоит ли удивляться, что свита сандомирского воеводы заметила такой эффектный проезд?

На следующий день был официальный прием. Царь Дмитрий Иванович принимал сандомирского воеводу Юрия Мнишка в парадном царском одеянии, сидя на золотом троне, увенчанный короной и другими царскими регалиями — скипетром и державой. Он был окружен Боярской думой, рядом сидели патриарх Игнатий и весь освященный собор. Присутствовавший на приеме автор «Дневника Марины Мнишек» описал его так: «Там пан воевода, поцеловав руку царскую, обратился к царю с речью, которая так его растрогала, что он проливал в три ручья слезы[10], часто утирая себе очи платком. От имени царя отвечал посол Афанасий. Потом пан воевода сел за несколько шагов перед царем, на другой же лавке сели его приближенные паны, между этими лавками проходили мы по реестру целовать руку царскую. Когда это закончилось, царь, подозвав к своему трону пана воеводу, пригласил его на обед, а его приближенных приглашал Басманов»92.

Текст речи сандомирского воеводы Юрия Мнишка, заставившего разрыдаться царя Дмитрия, сохранился. Обращение сенатора Речи Посполитой к «пресветлейшему цесарю» в Кремле трудно было раньше представить. Воевода очень хорошо знал, на что должен отозваться царь Дмитрий Иванович. Дело не только в том, что он согласился называть Дмитрия «цесарем» (хотя и это было немало). Юрий Мнишек открывал перед всеми трудную историю восхождения Дмитрия так, как, наверное, и сам царь не мог бы объяснить ее. «Ибо что может кому-либо быть более утешительным, — вопрошал отец Марины Мнишек в начале своей речи, — как то, когда он видит уже счастливое исполнение, желанный конец всех дум, работ, трудов, издержек, риска здоровья и имущества, видит в счастливой и желанной пристани, уже от всяких бурь защищенной?!» Далее говорилось о повергнутом враге — Борисе Годунове, но имя того, кто был «стерт вместе с потомством», уже не звучало, остался один нравоучительный пример: «Сам он увяз в тех силках, которые ставил, будучи слугою, — на государя своего». Зато дела Дмитрия радовали весь «христианский мир», чающий «вместо старого разъединения — единение церкви Божией», то есть конец вражды между католичеством и православием. Воевода Юрий Мнишек объявлял в своей речи тот великий замысел, который предстояло

исполнить «цесарю» Дмитрию: «Радуются обширные христианские области — одни будучи в тяжелом поганском ярме, другие — встревоженные суровою их судьбой, понимая, что уже подходит время соединения христианских монархов в единомыслии и избавлении церквей Божиих из мерзких и срамно идолопоклонством осквернённых рук». Как видим, царь Дмитрий и его тесть Юрий Мнишек согласно действовали в рамках исполнения большого замысла о новом крестовом походе в Святую землю.

Много говорилось в речи сандомирского воеводы о ближайших выгодах, которые сулил союз Московского государства и Речи Посполитой. Само обращение Юрия Мнишка к царю было свидетельством невиданных перемен и лучше всего подтверждало его слова: «Уже наступают счастливые времена: вместо острого оружия — любовь, вместо грозной стрельбы — доверие, вместо жестокого и поистине поганского пролития крови — взаимная симпатия, вместо лукавого коварства — с обеих сторон радость утешения, а если бы и оставалось еще недоверие, то отношение и узы родства его погасят».

Юрий Мнишек должен был объяснить московским людям, почему выбор царя Дмитрия «для совместной жизни, для участия в любви и благословении» пал именно на «подругу в дому их милостей господ Мнишков». Царский тесть не жалел красноречия, чтобы показать выдающееся значение своего рода «уже от многих лет». И так удачно выходило, что род Мнишков прославился «в борьбе с поганством», о чем написали историки в своих книгах для памяти будущим поколениям. Воевода с гордостью описывал достоинства воспитания своей дочери: «Вы благоволили отметить в том доме воспитание достойного потомства во всех добродетелях — в богобоязненности, в стыдливости, в скромности». Здесь к месту было упомянуто, что эти качества Марина Мнишек получила от своей благочестивой матери Ядвиги из рода Тарлов, а также объяснено отсутствие последней в Москве по причине «столь слабого здоровья» (болезнь не позволила ей быть даже на краковской свадьбе своей дочери). Здоровье воеводы Юрия Мнишка тоже было неважным, но, преодолевая себя, он привез цесарю свою дочь и его «нареченную» жену: «От таких-то родителей и с такою, украшенною всеми добродетелями, девицею, уже нареченною вашему цесарскому величеству супругою, приехал его милость господин воевода» в «чаянии великого утешения, лучше сказать — твердой надежде, что ваше цесарское величество за благожелательство, которое ты узнал в его доме, соизволишь ответить признательностью»[93].

После приема во дворце сандомирский воевода Юрий

Мнишек вместе со своими приближенными прошествовал на службу в церковь. Здесь на переходе они подходили под благословение к патриарху Игнатию и целовали крест. В тот же день был еще пир в Столовой палате: царь и все бояре принимали сандомирского воеводу и родственников царицы Марины Мнишек. Всех слуг рангом поменьше усадили вперемежку и они угощали друг друга стоявшими на столе кушаньями. Посредине обеда воевода Юрий Мнишек почувствовал себя плохо, и ему пришлось покинуть пир и удалиться в царский дворец, а оставшиеся наслаждались диковинным зрелищем — приемом лапландцев (саамов), привезших дань русскому царю.

Когда закончились все церемонии этого дня, царь Дмитрий и сандомирский воевода еще раз отдельно обсудили церемониал встречи Марины Мнишек.

Пока нареченная царица медленно двигалась к столице, ей слали самые разные подарки, дабы скрасить последнюю, всегда самую утомительную часть путешествия. А царь Дмитрий Иванович и воевода Юрий Мнишек тем временем развлекались. Недавно закончился Великий пост, и для Дмитрия завершилось время, когда он не мог открыто демонстрировать свои пристрастия к тому, что успел полюбить в Речи Посполитой. Царь наслаждался игрой целого оркестра из сорока музыкантов, привезенного его другом саноцким старостой Станиславом Мнишком. Сын воеводы Юрия Мнишка и брат Марины был ровесником царя Дмитрия. Будущий царский шурин, он по опыту хотя бы Никитичей (Романовых) и того же Бориса Годунова мог в будущем рассчитывать на многое при русском дворе.

Царь Дмитрий Иванович наконец-то мог одеться по-гусарски в парчовый кафтан с красным плащом, отделанным жемчугом. Но ему пришлось несколько раз переодеваться в этот день, так как он еще успел вместе с сандомирским воеводой съездить в Вознесенский монастырь к инокине Марфе Федоровне и потом уже веселился до утра.

Кроме этого пира запомнилась еще медвежья охота, которой царь Дмитрий «угостил» тестя. Не зря все время своего правления он упражнялся в охотничьем мастерстве: Дмитрию Ивановичу удалось убить с одного удара рогатиной большого медведя и отсечь ему саблей голову под восторженные крики свиты. Если бы царь мог знать тогда, что вскоре и сам он будет в положении такой же загнанной жертвы, а охотниками выступят те люди, которые теперь находились рядом с ним!

Торжественный въезд в Москву Марины Мнишек состоялся 2(12) мая 1606 года. Несколькими часами раньше в столицу приехали послы Речи Посполитой Николай Олесницкий и

Александр Госевский[94]. Именно из-за них, прибывших для участия в свадебных торжествах, и замедлили немного прием в Москве царской жены.

В источниках сохранилось описание этого великолепного зрелища, посмотреть на которое собралась вся Москва. Рано утром, как писал Исаак Масса, были разосланы биричи, объявлявшие, чтобы все «нарядились в самые богатые одежды и оставили всякую работу и торговлю, ибо надлежит встретить царицу». Сам царь Дмитрий, переодевшись, тайно ездил распоряжаться, чтобы все было в порядке. Навстречу Марине Мнишек выехала Боярская дума во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским. От имени Думы «кратко, с робостью, — по словам Станислава Немоевского, — и по записке, вложивши ее в шапку», Марину Мнишек приветствовал боярин князь Василий Иванович Шуйский. Для царицы была прислана роскошная карета, запряженная в двенадцать белых «в яблоках» лошадей невиданной красоты. Всю дорогу через Москву Марину Мнишек, одетую в белое атласное платье «по французскому обычаю», развлекал подаренный ей красивый арапчонок, игравший с обезьянкой на золотой цепочке. Был небольшой спор, где идти отрядам польских гусар и пехоты: впереди или позади кареты Марины Мнишек. Свита сандомирского воеводы не хотела уступить царю Дмитрию и настояла на том, чтобы возглавлять, а не замыкать процессию, как того хотел царь.

И еще одно обстоятельство омрачило, уже в прямом смысле, въезд царицы Марины Мнишек. Когда она проехала Никитские ворота, как записал Конрад Буссов, «поднялся такой же ужасный вихрь, как и при въезде Дмитрия, что многими было истолковано как дурное предзнаменование».

Марину Мнишек вместе с ее свитой поместили в Кремле в Вознесенском монастыре, где целую неделю до венчания на царство инокиня Марфа Нагая наставляла свою «невестку», или «сынову», как она звала Марину, московским обычаям и нарядам[95]. Бывал там, по слухам, каждый день и Дмитрий, что сторонний иноземный наблюдатель нескромно истолковал как «обучение другому катехизису»[96].

Следующие дни в Кремле были посвящены дипломатическим приемам. Сначала была оказана честь тем родственникам и приближенным Мнишков, которые приехали с царицей Мариной и еще не были в кремлевском дворце. Лжедмитрий предстал перед ними во всем великолепии, восседая на золотом троне, в окружении своего двора. Духовник Марины Мнишек отец Каспар Савицкий оставил подробное описание этого приема:

«Мы вошли в обширный и великолепный дворец, где

Дмитрий ожидал нас с целым своим сенатом и высшим духовенством. По левой руке был поставлен в приемной зале упирающийся на двух серебряных львах трон, который Димитрий недавно перед тем приказал сделать. Богато украшенный золотом, серебром и драгоценными каменьями, по мнению золотых дел мастеров, он стоил 150000 злотых. На нем сидел царь, возложив на себя знаки царского достоинства и блистая золотом и драгоценными каменьями. Перед ним с каждой стороны стояли по два человека, которые имели платье, шляпы и сапоги белые, и которые держали в руках символы государства. Пятый же, стоявший подле самого царя, держал обнаженный меч. По обеим сторонам сидел сенат Московский. Направо от царя сидел патриарх с митрополитами и владыками, каждый по своему сану, а подле патриарха стоял один священник с блюдом, на котором лежал крест. С левой стороны сидели высшие дворяне, приглашенные в сенат. Далее, по обеим сторонам залы были бояре, числом сто, одетые в золотое платье»[97].

Все участники приема были по списку вызваны для того, чтобы приложиться и поцеловать царскую руку. От имени польского двора Марины Мнишек к царю Дмитрию обратился ее гофмейстер Мартин Стадницкий. Мотивы и образы его речи перекликались со словами самого воеводы Юрия Мнишка, накануне торжественно сказанными царю Дмитрию Ивановичу. Снова говорилось об «устрашении басурманов», о соединении двух близких народов, «мало разнящихся в языке и обычаях». «А светлой памяти отца вашей милости не Глинская ли родила?» — учтиво спрашивал Мартин Стадницкий. В конце он выражал надежду, что царь свергнет «полумесяц из восточных краев» (очевидный намек на традиционную мусульманскую символику) и «озарит полуденные края своей славой»[98]. Так уже бывало и ранее: когда две страны сближались, то начинались воспоминания о том, что их объединяет. Моековские дипломаты были свидетелями того, как не кто иной, как канцлер Лев Сапега говорил при подтверждении перемирия в Вильно в 1602 году: «Люди есмя все Божьи, как вы, так мы; вера одна, язык один, а живем меж собою поблиску»[99].

В отличие от Мнишков и их двора, частным образом осуществлявших свою миссию и поэтому свободных в употреблении титулов и в произнесении любых слов, обращенных к «его цесарской милости» Дмитрию Ивановичу, послы Речи Посполитой Николай Олесницкий и Александр Госевский вернули замечтавшегося «императора» к обсуждению разногласий между двумя государствами. Исполняя свою миссию 3(13) мая, они не могли согласиться с тем, что требовал от них царь

Дмитрий Иванович, и в соответствии с выданными им листами королевской канцелярии отправляли посольство к московскому «господарю». Рассказывали, что царь, принимая от них королевские подарки, в сердцах отбросил письмо, в котором не был указан титул императора. Когда возник спор о титулах, то посол Николай Олесницкий отвечал резко, говоря, что сначала «великому князю Дмитрию» следовало бы завоевать «Империи великой Татарии или попробовать подчинить себе скипетр Турецкого императора, и тогда его может признать Императором и Монархом весь мир»[100]. В ответ польско-литовские дипломаты едва сами не получили от Дмитрия московский царский скипетр, которым тот, казалось, готов был их поразить. Послы, однако, остались тверды и последовательны. В своем отчете они записали: «13 мая мы были у государя на аудиенции, на которой он принимал нас с великой гордостию и высокомерием, не хотел принять письма его королевского величества и приказал не называть его королевское величество королем за то, что в этом письме он сам не назван кесарем [императором]. Но когда мы осадили его надлежащими доказательствами, то он в смущении замолчал и принял письмо его королевского величества»[101].

Временное дипломатическое поражение царя Дмитрия Ивановича на самом деле объяснялось тем, что он был заинтересован в королевских послах. Они представляли короля Си-гизмунда III на его свадьбе с Мариной Мнишек и были включены в «Чин венчания». Однако тень этого столкновения по поводу титулов периодически возвращалась во все время свадебных торжеств.

8(18) мая в четверг на русский престол взошла императрица Мария Юрьевна[102]. Свое православное имя она получила по принятому обычаю менять имена царских невест. До момента свадьбы Марина Мнишек находилась в Вознесенском монастыре, из которого ее только накануне всех событий, ночью, при свете свечей и факелов перевезли во дворец. Марину Мнишек готовили к совершению таинства венчания по православному обряду, поэтому она не могла встречаться с католическими священниками. Хотя отец Каспар Савицкий присутствовал на коронации и, видимо, немало смутил жителей Московского государства тем, что ему было дозволено приветствовать речью царицу Марину в Успенском соборе. На венчании она была «в русском платье», но после этого предпочла предстать перед гостями в более привычном для нее наряде, пошитом к свадьбе по моде, принятой в европейских дворах.

Сохранился «Чин венчания» Марины Мнишек, где подробно расписано ее участие во всех положенных церемониях, «как идти

государыне к *обручению* (выделено мной. — *В. К.*)». В соответствии с этим царь Дмитрий и Марина Мнишек должны были сначала принять причастие из рук патриарха Игнатия, а потом царскому духовнику благовещенскому протопопу Федору предстояло их обвенчать: «…а архидиакон и протодиакон зовут государыню цесареву на помазание и к причастию, и государыня пойдет к причастию, а государь пойдет с нею ж. И после совершения обедни, туго же, перед царскими дверми, быти венчанью, а венчати протопопу Федору, а патриарху и властем стояти на своем месте»[103].

Этот пункт являлся ключевым — как бы при этом ни пытались запутать присутствовавших на свадьбе архиереев, духовенство, собственных бояр, польских родственников Марины Мнишек и других гостей. Иноземные гости видели в происходившем именно коронационные торжества, так как брак царя Дмитрия и Марины Мнишек был уже освящен католической церковью в Кракове в 1605 году. Большинству же жителей Москвы об этом ничего не было известно, подробности дипломатических контактов с Речью Посполитой держались в тайне. Для всех, кто недавно встречал Марину Мнишек, она была невестой, а не женой их государя, и они прежде всего ожидали увидеть свадебную церемонию[104].

Было очевидно, что с принятием причастия «по греческому обряду» Марина Мнишек должна была отказаться и от католичества, чего она делать явно не хотела. Наступало время определенности и для тайного католика царя Дмитрия, но он плохо выдержал это испытание. Соблюсти одновременно интересы всех не удалось, приходилось чем-то жертвовать.

Интересные детали свадебной церемонии, показывающие, насколько по-разному смотрели на царскую свадьбу подданные царя Дмитрия и польские гости, сообщил Станислав Немоевский. Он видел выход царя Дмитрия Ивановича из государевых покоев в соборную Успенскую церковь в Кремле и отметил сходство царских палат с Вавельским дворцом короля Сигизмунда III: «Это было, как из королевских покоев в Кракове, именно из замковых ворот». Видимо, тех самых, особенно памятных Лжедмитрию, откуда начиналась его история… Полякам приказали ждать в стороне, собрав их «в сводчатом помещении, где обыкновенно заседают бояре». Но они разглядели, как шла вся процессия во главе с царем Дмитрием, ступавшим по дорожке из красного голландского сукна и турецкой парчи. Перед царем шли члены Боярской думы: «около шестидесяти думных бояр, все в парчевых армяках, вложивши руки в рукава, с жемчужным обручем на шее, в три пальца ширины (они его называют „ожерельем“); головы у

всех оскоблены, в жемчужных ермолках[11], более бедные — в парчевых, и в чернобурых шлыках[12], сделанных некрасиво, по мере достатка». Станислав Немоевский отметил обычай русских людей к празднику «оскоблять» себе лбы, что означало очищение от грехов. «За боярами шли четверо в белом бархате, в рысьих, из передних частей, шлыках, с широкими секирами на плечах, а перед самым великим князем мечник Михайло Шуйский… Все они имели на себе немалые золотые цепи, а многие из них и по две, крестом» — от взгляда польского мемуариста не ускользнуло и это новшество с введением чина ношения меча в торжественных случаях по образцу Речи Посполитой.

Царь Дмитрий Иванович продумал подробности коронационного шествия. Сам он был облачен по-императорски: «в короне, в парчевом, [с] жемчугом и сапфирами, небольшом армяке, с руками в рукавах, а равно с воротником на плечах». Соблюдая принцип представительства от двух государств, подтверждающих союз царским браком, с правой стороны царя Дмитрия сопровождал посол Речи Посполитой малагощский каштелян Николай Олесницкий, с левой — конюший и первый боярин Михаил Федорович Нагой (ему эта честь досталась по праву «родства» (он приходился «дядей» царю). Всех их окружала иноземная охрана царя Дмитрия, состоявшая из «немцев-алебардщиков с алебардами».

Новая московская царица Марина Мнишек шла следом, она была одета «по-московски, в парчевом, вышитом жемчугом платье по лодыжки, в подкованных червонных сапожках». Ее вели под руки отец — сандомирский воевода Юрий Мнишек и княгиня Мстиславская (жена боярина князя Федора Ивановича Мстиславского). За царицей «шли дамы — приятельницы государыни и четыре московских дамы. Остальной женской челяди не приказано выходить из их помещения». Так они пришли в храм, где многоопытный посольский дьяк Афанасий Власьев предотвратил возможный казус с послом Николаем Олесницким, гордо шествовавшим в своей магерке[13]. Москвичи уже видели, что поляки заходят в церковь с оружием и с собаками, не говоря уж о том, что не снимают там шапок. Поэтому дьяк вызвался на время подержать шапку посла и не отдавал ее под разными предлогами до тех пор, пока посол не вышел из храма. От поляков не укрылось и то, как русские хитро посмеивались над ними, довольные тем, что соблюли честь государя и православные обычаи. «Надули мы „литву“», — говорили они.

Наконец в Успенском храме была проведена служба, и на Марину Мнишек возложили царскую корону, крест и «чепь злату

Манамахову», то есть регалии, которыми с древних времен короновались великие князья и цари: «двое старейших владык взяли корону, которая стояла перед алтарем на позолоченной миске, затем бармы, что на другой, и понесли на трон к патриарху, который, благословив и окадив корону, возложил ее на голову стоявшей великой княгини и, благословив ее самое, поцеловал в плечо. За сим, наклонивши голову, великая княгиня, со своей стороны, поцеловала его в жемчужную митру. Как скоро патриарх отошел на свое место, все владыки попарно поднимались на трон и благословляли великую княгиню, касаясь ее двумя пальцами — ее чела и плечей, крестом; взаимное же целование с владыками отбывалось тем же порядком, как с патриархом». С такими же церемониями на плечи Марины Мнишек возложили еще и царские бармы.

Всю эту часть церемонии польские гости видели своими глазами, им она и предназначалась больше всего, чтобы показать, что царь Дмитрий проводит именно обряд коронации русской царицы. После этого, по свидетельству Станислава Немоевского, к полякам подошел думный дьяк Афанасий Власьев и предложил им выйти из Успенского собора. Здесь опять было лукавство со стороны дьяка: он сказал, что царь Дмитрий уже вышел. «Мы удовлетворили его требование; но государь задержался в церкви, а двери за нами заперли, — писал Станислав Немоевский в своих записках. — Спрашиваем мы, что же там будут делать с нашей девицей? Но москвитяне нас утешают:

— Не бойтесь, ей ничего не будет!

Позже мы узнали, что государь приказал нам выйти затем, что устыдился брачной церемонии, которая, как передавали нам после наши дамы, что оставались при государыне, была такова.

Оба стали пред патриархом, который, благословив, дал им по кусочку хлеба, чтобы ели, потом чашечку вина; наперед пила государыня; что осталось, то, взяв от нее, выпил государь, а чашечку бросил о землю на сукно; но она не разбилась, и патриарх ее растоптал, и такими церемониями бракосочетание закончилось… Вплоть до своих комнат шли в коронах великий князь и княгиня, в сопровождении всех нас, кроме господ послов его величества короля, которые, проводивши до церкви, сейчас же отъехали в свое помещение. Обед высокие молодые имели *privatim* у себя в комнате, даже и в спальню, кроме некоторых дам из родни, которые провожали молодую, никто не входил»[105].

Судя по словам остававшихся дам из свиты царицы Марии Юрьевны, венчание дочери сандомирского воеводы с русским царем Дмитрием все-таки произошло по православному обряду. Убежден в этом был и автор «Дневника Марины Мнишек»,

написавший, что «по совершении богослужения было утверждение брака и обмен перстнями, потом была коронация *инксуа more Graeco* (миропомазание по греческому обряду, *лат. — В. К.*)»[106]. Те же известия отложились в дневниках отцов-иезуитов, находившихся вместе с Мариной Мнишек в Москве, а они были более чем внимательны к деталям происходящего. Однако возможно, что все не было так однозначно. Участник церемонии архиепископ Елассонский Арсений, напротив, запомнил, что царская чета отказалась от миропомазания: «После венчания своего оба они не пожелали причаститься Святых Тайн… Итак, не показалось приятным патриарху, архиереям, боярам и всему народу, видевшим царицу, одетую в неизвестную и иноземную одежду, имеющую на себе польское платье, а не русское, как это было принято в царском чине и как это делали цари прежде него. Все это весьма сильно [всех] опечалило. Это послужило причиною и поводом ко многим бедствиям, к погибели царя и всего народа обеих национальностей, русских и поляков»[107].

Наиболее убедительное объяснение этим противоречиям в оценке происходящего предложил Б. А. Успенский. Он показал, что и Лжедмитрий, и Марина Мнишек дважды должны были проходить через миропомазание. Первый раз этот обряд был необходимой частью коронационного торжества, и он действительно состоялся. Второе миропомазание было необходимо как часть чина присоединения иноверцев к православию[108]. От этой-то смены веры и отказалась Марина Мнишек. Ее последовательная приверженность католичеству стала очевидной для церковных иерархов, поэтому они так тревожно восприняли случившееся в Успенском соборе.

Кровавая свадьба

Пышная свадьба царя Дмитрия Ивановича с царицей Марией Юрьевной в Успенском соборе, вокруг которого все было устлано красным сукном «с золотым и шелковым шитьем», стала последним запоминающимся событием царствования самозванца. Отношение к царю Дмитрию изменилось, причем изменения эти накапливались постепенно, начиная с самого его воцарения. Сначала он был нужен для того, чтобы сместить Годуновых, потом оказалось, что в Москву пришел действительно продолжатель если не рода, то дела Ивана Грозного. Опалы и казни, коснувшиеся прежде всего годуновской семьи, быстро стали угрожать другим первым родам в Боярской думе — князьям Шуйским и всем тем, кто поддержал Дмитрия по принципу выбора меньшего из двух зол. Появилось то, на что бояре всегда

смотрели ревниво, — «ближняя дума» из любимчиков царя Дмитрия Ивановича. Сменились только имена, а суть управления осталась неизменной, перейдя от бояр Степана и Семена Годуновых к боярам Петру Басманову и князю Василию Мосальскому, которые стали управлять ключевыми ведомствами — казной, дворцовыми приказами, аптечным делом и стрелецкой охраной.

К этому, как и к тому, что самодержавный царь станет поучать своих бояр, подданные еще могли приспособиться. Но они так и не поняли, почему ключевые дипломатические дела, связанные с Речью Посполитой, решаются без их участия, при помощи личной канцелярии Дмитрия Ивановича, состоявшей из польских секретарей. Почему награждаются огромными суммами польско-литовская шляхта и солдаты? Почему они позволяют себе эпатировать рядовых обывателей своими надетыми «не по чину» дорогими одеждами, спускают деньги в кабаках и в игре «зернью»? Почему царь Дмитрий окружил себя иноземной охраной, жалуя «немецких» драбантов больше, чем своих стрельцов?

Все разговоры и недовольство уравновешивались до времени «правильным» поведением самого царя, хотя и вводившего новшества, но не трогавшего самую чувствительную сферу, связанную с православием. Кроме того, в Московском государстве была поставлена близкая цель крымского похода, и это позволяло легче воспринимать разные новшества вроде «царь-пушек» и гигантского «гуляй-города» на реке Москве, оправдывать широкую раздачу жалованья из казны.

Приезд многочисленной свиты Марины Мнишек нарушил спокойное течение жизни. Сам вход в столицу вооруженных гусар и солдат подавал новый повод для недовольства. Шведский дворянин Петр Петрей был одним из немногих, кто заметил это, критически смотря на сближение московского царя с подданными короля Речи Посполитой. В «Истории о великом княжестве московском» он писал: «В этот день москвитяне были очень пасмурны и печальны, что нажили себе такое множество иноземных гостей, дивились на всадников в латах и в оружии, спрашивали иностранцев, долго служивших и проживавших у них, нет ли обычая у них на родине приезжать на свадьбу вооруженными; предавались странным мыслям, особливо когда увидали, что поляки достали из своих телег с оружием несколько сот привезенных с собою пистолетов и ружей»[109].

На боярские дворы и рядовых москвичей легла тяжесть постойной повинности и обеспечения приехавших всем необходимым. Несмотря на попытки, которые буквально с самой

границы делал воевода Юрий Мнишек, принять какой-то устав или свод правил поведения в чужой стране, тщетно было урезонивать рядовых людей его свиты. Они по своей славянской натуре предвкушали праздник и веселье и в буйстве ничем не отличались от русских, кроме высокомерного отношения к тем, к кому они приехали в гости. Еще на подъезде к Москве, в Можайске, в каком-то споре был убит некий родственник самого могущественного боярина князя Василия Мосальского. Но настоящая неприязнь возникла у жителей Москвы, когда они столкнулись с бесцеремонным вторжением польско-литовской шляхты и жолнеров в свою повседневную жизнь на улицах, рынках и в церкви. «В поляках не было доброты, но они столь же злы, как русские», — скажет про это время один из иностранцев[110].

Пока шли свадебные торжества, в столице было совсем неспокойно. До царя Дмитрия Ивановича дошло дело об изнасиловании одним из поляков боярской дочери, в Кремле ловили и казнили лазутчиков. Разрядные книги обобщили все главные преступления: «А литва и поляки в Московском государстве учали насилство делать: у торговых людей жен и дочерей имать силно, и по ночем ходить с саблями и людей побивать, и у храмов вере крестьянской и образом поругатца»[111]. Воевода Юрий Мнишек и его свита быстро поняли, чем это может им грозить. Воевода пытался предупредить царя Дмитрия о «явных признаках возмущения» и принес ему целую сотню челобитных, но тот безудержно веселился и не хотел признавать перед гостями и приехавшими послами очевидных признаков нараставшего недовольства своим правлением[112]. Станислав Немоевский рассказал о разговоре, состоявшемся между царем и его тестем буквально накануне московского восстания. Царь Дмитрий был убежден, что «здесь нет ни одного такого, который имел бы что сказать бы против нас; а если бы мы что заметили, то в нашей власти их всех в один день лишить жизни»[113].

Подобное бахвальство и гордыня быстро стали определяющими чертами личности вчерашнего скромного чернеца, вынужденного долго подавлять свои недюжинные таланты. То понимание самодержавия, которое усвоил царь Дмитрий Иванович, его более старшие и опытные современники испытывали на своей судьбе еще при Иване Грозном и Борисе Годунове. И они не хотели повторения, ожидая по крайней мере благодарности за оказанную ими поддержку царю Дмитрию при завоевании им престола. Новый царь сначала по образцу многих правителей пытался проявить себя либерально. По отзывам некоторых иностранцев, «он был очень любезен, давая свободный

доступ самым незначительным лицам». Ничем хорошим это не кончилось, царь стал «примечать и понимать проделки русских» и отгородился от своих подданных иноземной стражей[114]. «Солнышко», радушно встреченное москвичами, быстро стало светить только для самого себя и редко баловать подданных «милостями», как это делал, по контрасту с Грозным царем, Борис Годунов. Молодой человек, сомнения в истинности происхождения которого так и не исчезли, восседает на троне и поучает седовласых думцев во всех делах — картина малосимпатичная. Но ее хотя бы можно объяснить расплатой за предательство по отношению к Годуновым. Но когда царь Дмитрий стал демонстрировать предпочтение своим польским приятелям перед боярами, это они восприняли более чем серьезно. Потом в подтверждение своей версии переворота распространили «расспросные речи» секретарей Станислава и Яна Бучинских, передававших слова своего патрона: «Убити де велел есми бояр, которые здеся владеют, 20 человек. И как де тех побью, и во всем будет моя воля»[115].

История с подготовкой царем Дмитрием убийства всех бояр выглядела правдоподобно только в глазах тех, кто торопился оправдать свое участие в расправе над Лжедмитрием. Слишком уж очевидно в ней стремление подогнать факты и оправдать свои действия. Как это обычно бывает в таких случаях, правда и вымысел здесь искусно перемешаны в пропорциях, хорошо известных заговорщикам. Действительно, в Московском государстве многое еще зависело от бояр, и они быстро сумели продемонстрировать это. Иноземным гостям, приехавшим на свадьбу Лжедмитрия, ничего не оставалось, как принять крах того царя, на которого они возлагали столько надежд. Случись в истории царя Дмитрия и Марины Мнишек все по-другому, его сторонники из Речи Посполитой продолжали бы славить основателя нового союза. Но скорая смерть мнимого сына «тирана Ивана» позволила авторам дипломатических донесений и мемуарных записок не сдерживать свои перья.

Больше всего царь Дмитрий раздражал своих несостоявшихся союзников претензией на императорский титул. При приеме польско-литовских послов дело доходило до совсем нешуточных нарушений протокола, связанных с личным вмешательством царя в ход переговоров. Он неоднократно оскорблял послов Николая Олесницкого и Александра Госевского и вообще поставил под угрозу отношения с королем Сигизмундом III. Все это еще больше подогревало подозрения в том, что московский царь не прочь теперь сесть еще и на королевский престол Речи Посполитой[116].

Совсем незавидная судьба оказалась у самозванца, который

начинал с того, что всем хотел оказывать «милость» и повсюду привлекал к себе людей. В итоге от него отвернулись как русские люди, так и его польско-литовские друзья. Произойти это могло лишь в том случае, если словам царя Дмитрия перестали верить. Действительно, если по сохранившимся крупицам попытаться восстановить, что же больше всего вызывало недовольство жителей Московского государства, то это будет отступление от традиций предшествующих царствований. Царь Борис Годунов и даже его сын царевич Федор Борисович успели запомниться своей щедростью, о Дмитрии же этого не говорили. Он всегда стремился к достижению своих целей, много думал о своей будущей свадьбе, о своей будущей войне, о своем будущем месте в мире. Но править завоеванной у Годуновых страной ему надо было здесь и сейчас. Желание превратить Боярскую думу в Сенат на деле оборачивалось недоверием к ней и непониманием причин затруднений боярских тугодумов, оставлявших все решения на волю царя. Постепенно презрение к окружающим становилось второй натурой самозванца. Он любил роскошь, украшения и не хотел мириться с тем дворцовым бытом и окружением, в котором по-старинному жили московские цари. Разве могли красные стрелецкие кафтаны соперничать с изяществом иноземного платья его телохранителей-драбантов? Думая о внешнем украшении дворца и красоте своих церемониальных выходов, не забыл ли он, что его враги уже начинали использовать каждый его промах в своих целях? Отсюда и пошли разговоры о том, что царь «искажает» веру предков, а серьезнее обвинения тогда быть не могло.

Когда же с приездом поляков и литовцев на свадьбу Марины Мнишек предпочтения, которые Лжедмитрий оказывал иноземцам перед русскими людьми, вышли наружу, то заговорщикам во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским понадобилось совсем немного, чтобы разжечь огонь возмущения черни. Основные мотивы выступления против царя переданы Петром Петреем: «Этот Шуйский велел тайком позвать к себе на двор капитанов и капралов с некоторыми дворянами и богатейшими гражданами, которые были самые искренние его друзья. Он объяснил им, что вся Россия каждый час и каждую минуту находится в великой опасности от нового великого князя и иностранцев, которых набралось сюда такое множество: чего давно боялись русские, теперь сбылось, как они сами узнают на деле. Желая прежде всех на что-нибудь решиться для этого дела, он едва было не потерял своей дорогой головы, и во всей Москве не нашлось бы никого, кто бы сделал что-нибудь для того или отважился на что для себя и государства. Но теперь они ясно

видят, что из того выходит, а именно: погибель и конец всем русским; они будут крепостными холопами и рабами поляков, подвергнутся их игу и службе… Потому что он любит иностранцев, ненавидит и гонит своих собственных земляков, поносит святых, оскверняет церкви, преследует духовных лиц, выгоняет их из домов и дворов и отводит там жилище чужеземцам. Когда он ходит в церкви, к Деве ли Марии, или к святому Николаю и другим святым, за ним тащатся и поляки со своими собаками и оскверняют святыню; он не пускает к себе ни одного русского, высокого или низкого звания, без воли и согласия поляков, которые скоро заберут себе все что ни есть в казне, и она вскоре совсем опустеет. Из того всякому смышленому человеку легко заключить и видеть, что он наверное замышляет отменить древнюю греческую веру, а вместо нее установить и распространить католическую»[117]. То, что передавал в своем сочинении Петр Петрей, стало официальной версией следующего царствования, так как князь Василий Шуйский всем говорил, что желал опередить Дмитрия и не дать ему до конца разорить страну и убить всех бояр.

В день Николы Вешнего, 9 мая 1606 года, на следующий день после свадьбы, был дан обед как для своих бояр, так и для сандомирского воеводы Юрия Мнишка и всех родственников императрицы Марии. Опять царю Дмитрию следовало быть более осторожным: он знал, что свадебные торжества будут продолжаться несколько дней, и не обратил внимания на то, что один из этих дней совпадает с любимым в народе церковным праздником. «Банкет» несколько задержался из-за того, что молодые по обычаю мылись в бане. (В Москве не верили уже и этому, приписывая царю и другие нарушения обрядов: он будто бы не очистился от «греха».)

С другой стороны, во все время свадебных торжеств продолжались трения из-за непризнанного императорского титула Дмитрия. Царскому тестю пришлось сразу вступить в конфликт с зятем, потому что царь Дмитрий так и не уважил его просьбу и не пригласил на обед послов Николая Олесницкого и Александра Госевского. В итоге пир проходил не только без послов, но и без воеводы Юрия Мнишка. Но что за шутки отпускал царь Дмитрий! От него досталось по какому-то малозначительному поводу королю Сигизмунду III. Стремясь исправить положение, царь Дмитрий Иванович «прошелся» по болезненной страсти к затворничеству германского императора Рудольфа II, сказав, что тот еще «больший дурак». Не пощадил царь и самого главу католической церкви. «Даже и папы не оставил за то, что он приказывает целовать себя в ногу», — писал

участник царских пиров Станислав Немоевский. А ведь не так давно сам Дмитрий готов был целовать туфли даже папскому нунцию!

От неделикатных шуток доставалось и тем, кому самозванец был многим обязан. От его острого языка пострадал отец-бернардинец Франтишек Помасский, наставлявший некогда царевича в духовных беседах в Самборе. Прямым намеком возвращенному из опалы боярину князю Василию Шуйскому было высказанное на обеде замечание, что «монархи с удовольствием видят предательство, но самими предателями гнушаются». И дело объяснялось отнюдь не хмелем и не тем, что царь Дмитрий потерял голову от счастья. Его пьянила и делала до конца счастливым только одна страсть — к власти. Соперников себе среди живущих монархов и королей он не видел. Поэтому часто, в том числе и во время этого обеда, он возвращался в своих речах к Александру Македонскому, о котором заметил, «что в виду его великих достоинств и храбрости, он и по смерти ему друг». Заметим, как выдает иногда человека особенность построения фразы: Лжедмитрий говорил: «он мне друг», а не «я ему друг», ставя себя выше и самого Александра Македонского.

Кончился этот памятный обед рыцарскими ристалищами, устроенными рядовыми солдатами, которых Дмитрий специально пригласил присоединиться к праздничной трапезе. Он подбодрил их обещанием жалованья и целой речью о том, «как он желает приобрести любовь людей-рыцарей, добавил, что все государи славны солдатами и людьми рыцарями, ими они стоят, ими государства распространяются, монархии утверждаются, они — врагам гроза»[118]. Такое демонстративное предпочтение, оказанное рядовому жолнерству, тоже стало причиной недовольства. Бояре думали, что повторение рыцарских поединков, назначенное на следующее воскресенье 18 мая, будет им «на беду». В расспросных речах Станислава и Яна Бучинских эта дата тоже называлась как день грядущей расправы с боярами. Значит, от этого пира в Николин день уже пошел отсчет времени у бояр-заговорщиков.

17 (27) мая 1606 года случился, по словам автора «Дневника Марины Мнишек», «злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились, составляя конфедерации и присягая»[119]. План заговора состоял в том, чтобы под благовидным предлогом впустить в Кремль толпу людей, расправиться с охраной царя Дмитрия Ивановича и убить его самого. Что при этом делать с царицей и приехавшими из Польши родственниками Марины Мнишек, — не продумали, положившись на стихию выступления всем «миром». На руку восставшим было то, что в Москву уже

начали съезжаться дворяне и дети боярские из дальних городов, в частности из Великого Новгорода. Вместо крымского похода для них нашлась новая служба, и служилые люди, имевшие необходимое вооружение, выступили на стороне главы заговора, боярина князя Василия Ивановича Шуйского. Шуйский только что исполнял самые почетные обязанности тысяцкого на свадьбе царя Дмитрия Ивановича, а теперь именно он стал направлять действия толпы.

Ранним субботним утром 17 мая по направлению к Кремлю бежали люди с криками: «В город! В город! Горит город!» Во всех кремлевских храмах ударили в набат. Небольшая стрелецкая охрана у ворот Кремля была сметена и быстро разбежалась. Около двухсот заговорщиков бросились к дворцу, где находились царь и царица. Там немецкие алебардщики тоже не оказали никакого сопротивления, так как их длинные протазаны красиво выглядели в церемониях, но были бесполезны против сабель и ручных пищалей. Единственным, кто обнажил саблю и вступился за царя Дмитрия, был дневавший и ночевавший у царских дверей боярин Петр Басманов. Но он тут же и погиб вместе с несколькими оставшимися верными царю Дмитрию людьми. Все они могли находиться во внутренних царских покоях только без оружия, а потому им нечем было сопротивляться ворвавшейся во дворец вооруженной толпе. Самозванец хватился меча, хранителем которого был мечник князь Михаил Васильевич Шуйский. Говорили, что этот меч всегда находился рядом с ним, но в тулочь его не оказалось на месте; молодой мечник, скорее всего, тоже оказался участником заговора.

Суматоха у дверей царских покоев позволила царю бежать через другой ход в коридоры дворца и попутно предупредить Марину Мнишек, которой он крикнул в окно ее покоев: «Сердце мое, измена!» Загнанный в угол, царь Дмитрий выпрыгнул из одного из дворцовых окон во двор, чувствуя, что именно в этом его единственный шанс на спасение. Но высота была слишком большой, он пролетел 20 локтей, то есть семь-восемь метров, и сильно ушибся, потеряв сознание. На звук набата в Кремле высыпали люди, услышавшие, что «Литва бояр бьет! На помощь боярам!». Среди них были стрельцы. Они схватили Дмитрия и привели его в чувство, облив водой. Во дворце заговорщики могли сделать все тайно. А здесь, схваченный на дворе людьми, не посвященными в цели заговора, царь Дмитрий сам попытался опереться на «мир», умолял защитить его от Шуйских и привести на Лобное место. Он обещал пожаловать стрельцов за эту службу дворами бояр-изменников и поженить их на боярских женах. Произошла стычка между стрельцами и участвовавшими в

заговоре дворянами. Однако заговорщики стали угрожать, что пойдут в город и захватят стрелецких жен и детей, что было реальнее царских обещаний, поэтому стрельцы «опустили свои пищали».

Фортуна уже отвернулась от царя Дмитрия. «Видно, так угодно было Богу, не хотевшему долее терпеть гордости и надменности этого Димитрия, который не признавал себе равным ни одного государя в мире и почти равнял себя Богу», — заключили послы Николай Олесницкий и Александр Госевский, составившие по горячим следам самое достоверное донесение о перевороте в Москве 17 мая. О том же говорил впоследствии отец Каспар Савицкий, которого неприятно поразили перемены, произошедшие с Дмитрием после памятных ему бесед в Кракове с новым сыном католической церкви: «Это была воля Божия, которая, допустив такое ослепление и упрямство, скрытно приготовляла заслуженную и справедливую погибель Димитрия. Ибо Димитрий много изменился и не был уже похож на того Димитрия, который был в Польше… Он возгордился до такой степени, что не только равнялся всем монархам христианским, но даже считал себя выше их и говорил, что он будет, подобно какому-то второму Геркулесу, славным вождем целого христианства против турок»[120].

Царь остался один на один со своими боярами. На этот раз не он, а они сами судили его, обвиняя в том, что он «не действительный Димитрий, а Гришка Отрепьев». То, что раньше убеждало всех, — ссылка на признание его «матерью» Марфой Нагой, больше не действовало, а боярин князь Василий Голицын объявил от ее имени, что «она сознается и говорит, что он не ее сын, что ее сын Димитрий действительно убит, и тело его лежит в Угличе». Неизвестно, сколь долго могли бы продолжаться препирательства, но точку в истории самозванца поставил дворянин Григорий Валуев, протиснувшийся в толпе к боярам и выстреливший «из-под армяка» в Дмитрия из ручной пищали. Царь Дмитрий был убит, и толпа бросилась терзать уже мертвое тело.

Многозначительной была сцена, когда тело повергнутого самодержца поволокли туда, куда он просил, — к Лобному месту. У стен Вознесенского монастыря остановились и снова обратились к матери царя с вопросом, который всех так долго мучил, «ее ли он сын». Она же ответила: «Нужно было спрашивать меня об этом, когда он был жив, а теперь, как вы его убили, то он уже не мой сын». Так она отреклась только от мертвого, но не от живого Дмитрия, и в этом был недобрый знак на будущее. Самозванческая история еще могла повториться, и она

повторилась.

Тело Дмитрия положили «на Пожаре» (так тогда называли Красную площадь), бросив его на какое-то наспех сколоченное возвышение из досок вместе с оставшимся верным ему Петром Басмановым: «вывезоша его на Пожар и лежав на Пожаре три дни всему народу на показание, и Петр Басманов с ним же»[121]. Чтобы убедить жителей Москвы в справедливости свершившегося цареубийства, распустили слухи о колдовстве и чародействе Дмитрия. Для этого на мертвое тело положили маску, привезенную краковским парфюмером Марсильо и изъятую из покоев Марины Мнишек. Когда эти маскарадные принадлежности обнаружились, их, не зная назначения, вынесли «с радостными криками» и предъявили народу: «Смотрите, говорили они, на идолов того убитого татя (похитителя) душ, которых он величал богами, поклонялся им и нас желал было принудить, да и мы уверуем в таких же богов»[122].

Вместе с царем Дмитрием погибли и многие поляки и литовцы, соблазнившиеся приездом в Москву на царскую свадьбу. Его жене Марине Мнишек в тот день повезло: ее искали, но не нашли. Будучи маленького роста, она смогла спрятаться в широких юбках своей гофмейстерины и спастись. Повезло и сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, жившему на старом годуновском дворе. Толпа рвалась туда, но была остановлена начальниками заговора. На дворах близких родственников Марины Мнишек происходило то же самое: нападение толпы было отбито сначала собственными силами, а потом уже у Мнишков, Вишневецких, Тарлов, Стадницких и других появлялась усиленная стрелецкая охрана. Не пострадали и послы Речи Посполитой Николай Олесницкий и Александр Госевский. Похоже, что в Москве понимали, каким предлогом для войны могла стать их гибель, и пытались предотвратить это. Уже к полудню все начало успокаиваться, а вечером воевода Юрий Мнишек даже смог поехать и увидеться с дочерью во дворце. Кого не могли спасти от грабежа и расправы толпы, так это рядовых шляхтичей, их слуг, купцов и даже музыкантов. Среди множества трагедий, разыгравшихся в этот день, особенно выделялась гибель отца Франтишка Помасского, раненного во время мессы и умершего несколько дней спустя[123]. «Кровавую резню» в Москве 17 (27) мая 1606 года, когда было убито 500 человек поляков и литовцев, уже не забыла в Смутное время ни та ни другая сторона.

Три дня лежало тело бывшего царя Дмитрия на всеобщем обозрении в Москве. Многие, как голландец Исаак Масса, приходили на Красную площадь убедиться в том, что царь

действительно мертв. «Я сосчитал его раны, их было двадцать одна, и сверх того череп его был рассечен, так что оттуда вывалились мозги, — писал Масса, — и на третий день его бросили в яму, а Басманова похоронил его брат, получивший разрешение от правительства»[124]. Именно тогда у поколения Смуты произошел невидимый перелом в отношении к царской власти, стало исчезать отношение к царю как к Божьему помазаннику. Легкость расправы с царем породила соблазн дальнейшей игры с именем самозванца. За несколько минут сомнительного триумфа черни Московское государство заплатило годами самых тяжелых неустройств.

Тело самозваного царя Дмитрия зарыли, по словам капитана Жака Маржерета, «за городом у большой дороги», но и там оно оставалось недолго. Все эти дни москвичей пугали дурные предзнаменования. Многие мемуаристы писали о сильнейших заморозках, ударивших после расправы с царем: «В ночь после того, как он был убит, наступил великий холод, продлившийся восемь дней, который погубил все хлеба, деревья и даже траву на полях. Такого прежде не бывало в это время, поэтому… спустя несколько дней Димитрия вырыли, сожгли и обратили в пепел»[125]. Говорили в Москве и о сильном вихре, поднявшемся в столице, когда поруганное тело самозванца везли к месту последней расправы на Котел (по дороге к селу Коломенскому). Этот слух записал архиепископ Арсений Елассонский: «После четырех дней, извлекши труп его, сожгли вне Москвы, и в тот час, в который извлекли труп за город, пала вся крыша великих ворот крепости. Кровля была большая, высокая и прочная. Это послужило признаком начала ужасных бедствий»[126].

Действительно, к самозванцу, видимо, стали относиться как к «заложному покойнику», сопричастному самым темным силам[127], и все самые плохие ожидания москвичей оправдались. Но предзнаменования хороши только тогда, когда их понимаешь сразу. Выстрел пушки, заряженной прахом самозванца, в сторону «Литвы» вернулся Москве сторицей. Повсюду поползли слухи, что Дмитрий снова спасся. Оказалось, что можно расправиться с телом, но с мифом вокруг имени царя Дмитрия Ивановича поделать ничего было нельзя. Самозванство никуда не исчезло, оно продолжало существовать и жить своей особенной жизнью. Вступивший на престол новый царь и великий князь Василий Иванович Шуйский поймет это очень скоро.

Эпилог. ПРЕВРАЩЕНИЕ В «РОСТРИГУ»

Лжедмитрий оказался нужен как разрушитель, но нетерпим как строитель. Короля Речи Посполитой Сигизмунда III не могла не поразить метаморфоза человека, сначала обязанного ему троном, а потом собиравшегося со временем едва ли не короноваться в Кракове. Никто не мог подозревать в этом юноше в гусарском костюме будущего «Императора»!

Напряженные и умные глаза Дмитрия-«царевича» можно рассмотреть на дармштадтском портрете (размещенном на первом листе фототетради этой книги). Таким его увидел неизвестный художник, рисовавший Лжедмитрия в Речи Посполитой в 1604 году. Но искусный актер может сыграть все, даже ауру собственного величия. Дмитрий сросся со своей ролью борца с узурпатором Годуновым как с любимым иноземным костюмом, отделявшим его от соплеменников. Без реквизита он уже не мог обойтись. Однако жизнь все-таки отличается от театра. Может быть, еще и поэтому так яростно срывали с него царские регалии и платье, считая их осквернеными прикосновением простолюдина?

И что же все-таки это была за жизнь, каковы ее маршруты, каким-то чудом вычисленные по запутанным следам или придуманные историками? Где родился этот человек — не знаем, где крестился — не знаем, все остальное — детство, постриг, появление в Чудовом монастыре — опять одни загадки. И это русский царь?! Даже если часть биографии взять от настоящего Дмитрия, то что было потом, в хронологических рамках 1591–1603 годов, от момента гибели царевича — сына Ивана Грозного до появления московского «господарчика» с тем же именем в Литве? Лжедмитрий не рассказал, а Годуновская пропаганда широкими мазками нарисовала портрет «Ростриги». Приговоренный к ссылке на Белоозеро монах был обречен, по словам самого патриарха Иова, на казнь. Но когда это провинившихся монахов казнили и объявляли об этом на всю страну? Обычно все обходилось епитимьями и другими церковными наказаниями. Что за торопливые обвинения в адрес того, кого надо было представить «исчадьем ада»? После подобных трюков в обличительных грамотах, освященных именами царя и патриарха, даже скептики должны были задуматься об отсутствии доказательств у тех, кто стремился показать, что «царевич» и был Гришкой Отрепьевым.

Не исключено, что стремление сильнее кольнуть врага заставляло играть с неблагозвучной семантикой родового имени Отрепьевых, в чем можно было усмотреть «знак», — дескать, «Бог шельму метит». Еще в XVII веке Отрепьевы по царскому указу получили другую фамилию — Нелидовы[1]. Но произошло бы это, если бы их постоянно не попрекали «Гришкиным воровством», царем-расстригой из их рода? «Расстрига», «Гришка», «Отрепьев» — все это работает в нашей культурной памяти веками, и археология знания об этих именах может стать отдельной темой.

Даже с портретами самозванца, получившего привилегию быть запечатленным на прижизненных картинах, гравюрах и наградных монетах, происходит что-то необычное. Общее сходство всех изображений чаще всего исчерпывается внешними деталями вроде гусарского костюма, да некоторыми бросающимися в глаза приметами вроде бородавки на лице царя. А на самом известном, каноническом портрете Дмитрия, происходящем из Вишневецкого замка, нет ни того ни другого! Вместо *лица* самозванца для всех следующих поколений, знающих об эпилоге его истории, проявляется *обличье* неудачника и лжеца. И мы — как это и было рассчитано теми, кто боролся с Лжедмитрием, — уже не можем избавиться от отрицательного смысла, заложенного в его прозвище — «Расстрига».

Почему же тогда многие современники восприняли этого неизвестного человека как царевича Дмитрия, оставив отзывы о его сильном и недюжинном характере? В одном из первых таких словесных портретов, приведенном нунцием Клавдием Рангони в письме папе Павлу V в 1605 году, говорилось: «Димитрию около двадцати четырех лет; он — бритый, красивый, смуглолицый, с бородавкой на носу наравне с правым глазом; у него длинные, белые руки, которые служат доказательством благородного происхождения; у него живой ум, и он обладает красноречием, в его походке и разговоре много благородства. В нем всегда замечалась склонность изучать словесность и много скромности, и умение скрывать свои слабые стороны»[2].

Те, кто видел и знал самозванца позднее, когда он стал царем, тоже испытали гипноз его имени.

Капитан Жак Маржерет, охранявший царя Дмитрия Ивановича, был уверен в том, что тот настоящий сын Ивана Грозного: «Покойному Императору… было около двадцати пяти лет, бороды совсем не имел, был среднего роста, с сильными и жилистыми членами, смугл лицом; у него была бородавка около носа под правым глазом; он был ловок, большого ума, был милосерден, вспыльчив, но отходчив, щедр, наконец был государем, любившим честь и питавшим к ней уважение. Он был

честолюбив, намеревался стать известным потомству… Короче, христианский мир много потерял с его смертью…»[3] Немецкий наемник на русской службе Конрад Буссов тоже отмечал несомненную храбрость царя Дмитрия: «В этом покойном государе был героический и мужественный дух и проявились многие хорошие, достойные похвалы добродетели». Однако автор «Московской хроники» справедливо заметил и два «порока», погубившие этого правителя, «а именно: беспечность и тщеславие, из-за чего, без сомнения, благой Бог и наложил на него эту кару. Беспечность приняла у него такие размеры, что он даже гневался на тех, кто говорил об измене московитов и о том, что они намереваются убить его вместе с поляками. Тщеславие ежедневно возрастало и у него, и у его царицы, оно проявлялось не только в том, что во всякой роскоши и пышности они превзошли всех других бывших царей, но он приказал даже именовать себя „царем всех царей“»[4].

Даже у русских авторов-современников, писавших о Лжедмитрии уже с положенным обвинительным уклоном, тоже прорываются отзывы о его талантах. Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский включил портрет самозванца в «Написание вкратце о царех Московских, об образех их, и о возрасте и о нравех», составленное в 1620-е годы: «Ростригa же возрастом (то есть ростом. — *В. К.*) мал, груди имея широкы, мышцы толсты; лице же свое имея не царсково достояния, препростое обличив имея, и все тело его велми помраченно. Остроумен же, паче и в научении книжном доволен, дерзостен и многоречив зело, конское рыстание любляше, на враги своя ополчитель смел, храбрость и силу имея, воинство же велми любляше»[5].

Лжедмитрий все-таки *играл* свою роль. Самозваный царь проклинаем в веках, и, если бы не было причины для таких проклятий, давно бы ушла прежняя несправедливость и потомки оказались бы более чуткими к отзывам о храбрости и книжной премудрости нашего героя. К чему была вся эта история, такой нечеловеческий накал, побег в Литву, вовлечение в свою изначально безумную игру других жертв, от простого чернеца Мисаила Повадина до несчастной дочери сандомирского воеводы Марины Мнишек, которой померещилось в мечтах Московское царство?! Как же можно было выдержать, не расслабиться ни на минуту, не отступиться от затеи уничтожения Годуновых? Борис был первый политик, достигший у нас «высшей власти», не имея на то главного, родословного основания. Фавориты, руководители Думы были и раньше, но никто из них не дерзал обладать престолом. Лжедмитрий стал другим политиком, которого тоже открыла для себя Москва, правда, тут же

отвергнув. У самозванца было придуманное родословное обоснование и не было ничего другого — ни опыта власти, ни, главное, силы правды, которой он мог бы править. Потом он станет изобретать «образцы» своего правления, но московский «мир» их также отвергнет.

Главные обвинения Дмитрию — измена православию и попытка отдать Московское царство во власть иноземцев — не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Лжедмитрия может скорее судить католическая церковь за политическое лицемерие в смене веры. Самозванец не сделал заметных шагов, чтобы исполнить свои обещания. Правда состоит в том, что Лжедмитрию, когда он достиг Москвы, постелили красную дорожку вокруг кремлевских храмов, что все иерархи Русской православной церкви благословили нового царя и венчали его в Успенском соборе с соблюдением литургических тонкостей, включая «помазание» на царство. Правда также состоит в том, что в канцеляриях нового царя немедленно выстроилась очередь из архиерейских и монастырских чиновников, подтверждавших по установленному порядку свои вотчины и льготы. И никому не было отказа…

Существовала ли опасность в поглощении православия католической церковью или в переподчинении паствы от московских патриархов римскому папе, если бы подобного захотел в будущем Лжедмитрий? Самозванец был убежден в «невежестве» греков, но при этом стремился навсегда утвердить чин поставленного ими московского патриарха. Готовился он и к крестовому походу в Константинополь, куда его подданные пошли бы только с православными знаменами и иконами. Само введение новой веры Лжедмитрий рисовал перед нунцием Рангони как соревнование и диспуты православных и католических иерархов. «Дмитрию хотелось в присутствии знатных московских людей созвать своих митрополитов и католических на диспут и за сим самому рассудить, что последние лучше понимают истину (как оно в действительности есть), и таким образом ловко заставить первых присоединиться к его мнению, как к лучшему»[6]. Как Лжедмитрий собирался убедить освященный собор и своего патриарха-грека в необходимости перемены веры, осталось тайной. Стоит ли вообще воспринимать всерьез присутствие двух монахов-иезуитов из свиты Дмитрия, к тому же запертых где-то вне пределов Москвы и ободряемых одними туманными обещаниями «императора» о содействии распространению римской веры? Политик Лжедмитрий все-таки был выше католика Лжедмитрия.

Русские люди времен Смуты, как ни странно, во многом были

похожи на нас. Чего им хотелось? Ясного государственного порядка, нарушенного воцарением Бориса Годунова и особенно голодом, «межениной» начала века, благочестиво воспринятыми как наказание за собственные грехи и «за безумное молчание всего мира» перед грехами царей. Им, людям Московского государства, хотелось вернуть прежнюю жизнь. В ней не было того, что явилось в новой, годуновской стране — осуждения Романовых без вины, появления под Москвой разбойников, воюющих с полками дворянских сотен и убивающих высших сановников. Это только самые зримые признаки разливавшегося нестроения. Но главное, людям, как всегда, хотелось правды. И они соблазнились легким ответом, явлением на свет царевича Дмитрия, который олицетворял саму преемственность с понятным прошлым и грозил покончить с выборным царем Борисом Годуновым, отодвинувшим от царской власти Рюриковичей.

Но на лжи жизнь не построить, и история Лжедмитрия в очередной раз подтверждает это. Некоторые детали облика Дмитрия-правителя выдают присутствие в его жизни такой лжи. Современники совсем неспроста подчеркивали его стремление опередить всех в искусстве управления, дипломатии, войны и даже охоты. В неожиданных решениях Лжедмитрия, в особенной настойчивости в достижении целей угадывается желание уйти от неопределенности и скрыть свою тайну. Дмитрию всегда нужно было опережать тех тугодумов, которые с опаской посматривали на него, размышляя, «истинный» он царь или «неистинный». Человеку, уверенному в своей правоте, не нужны никакие жесты и доказательства того, что ему принадлежит по праву. Лжедмитрий должен был чем-то компенсировать свою неуверенность.

Еще одно выдает лжеца — он всегда делает то, что от него ждут. Попав в созданную им же самим систему координат ложной жизни, он и других должен подчинить установленным новым правилам, о которых окружающие могут и не догадываться. Чего все ждали от Лжедмитрия, когда он вошел в столицу? Доказательств его происхождения… И он, надо отдать должное, с большим умом предоставил их. Молебен в Архангельском соборе в Кремле у гробов «отца» Ивана Грозного и «брата» Федора был первым символическим жестом. Затем в государстве узнали про сыновью любовь Дмитрия к матери — доживавшей свои дни в дальнем пошехонском монастыре старице Марфе, бывшей царице Марии Нагой. Пожалованы были все родственники — Романовы, Нагие, ранее предусмотрительно устраненные царем Борисом Годуновым от какого бы то ни было влияния на дела русского трона. И вот уже старая «тема» о происхождении Дмитрия почти

закрыта. Есть еще один штрих: помилован боярин князь Василий Шуйский, вопреки своей вечной осторожности высказавшийся об очевидной для него смерти царевича Дмитрия в Угличе в 1591 году. Кого было бояться сыну Ивана Грозного, если он сын Ивана Грозного, чтобы не расправиться с боярином, приговоренным к казни самой Боярской думой? Да, Лжедмитрий хотел, как он сам об этом говорил, следовать другому образцу — милостивого правителя, а не тирана для своих подданных. Но, оценивая последствия возможной громкой казни князя Василия Шуйского в начале своего царствования, не понял ли Дмитрий, что усмиренный враг лучше казненного за правду мученика, в которого немедленно бы превратили Шуйского?

История предусмотрела месть и для самых понимающих и умных современников царя Дмитрия Ивановича, всегда прекрасно видевших ложные основания претензий самозванца на власть, но никак этому не препятствовавших. Месть эта немедленно настигла бояр Голицыных, превратившихся если не в прямых цареубийц, то в соучастников расправы с царевичем Федором Годуновым и его матерью — вдовой царицей Марией Григорьевной. Царица Мария Годунова была дочерью опричного убийцы Малюты Скуратова и повторила судьбу многих жертв своего отца. Справедливое наказание? Но кто звал в судьи Лжедмитрия и его усердных клевретов?

Не менее злым оказался урок и для короля Сигизмунда III, а особенно для воеводы Юрия Мнишка и его семьи. Удивительно было уже то, что самозванец не забыл о своих обещаниях немедленно, после того как воссел на русский трон. Так причудливо, как может быть только у влюбленного человека, мысль о Марине Мнишек была встроена в грандиозные планы исторического переустройства Московской империи. Лжедмитрий, вспоминавший о себе как о сыне Креза, искренне равнявший себя с Александром Македонским, не прельщался тем немногим, что могла дать ему свадьба с Мариной Мнишек, когда его задача состояла в обладании миром. Но Марина ему все-таки была нужна. Ни одна московская боярышня не могла быть принята при дворе других государей, а Лжедмитрий вряд ли хотел навеки затвориться в Москве. Он хотел открыть границы для подданных других стран, собирался учредить академию на манер краковской. Продолжились бы и поездки молодых дворян на учебу в другие страны, начатые еще при Борисе Годунове…

Так что же, еще одна утерянная возможность, еще одна потенциальная «развилка» русской истории? Но за то время, которое самозванец находился на русском троне, он так и не сумел внятно указать направление, по которому надо было пойти

Московскому государству. Вместо этого он оказался слишком занят самим собой.

Лжедмитрия иногда ставят даже в один ряд с Петром Великим: по размаху замысла и совпадению некоторых деталей императорского «проекта». «Птенцы гнезда Дмитриева» тоже не заставили себя ждать. Вспомним весьма достойных, в чем-то даже выдающихся людей, впервые приближенных к трону и пожалованных царем Дмитрием Ивановичем: князь Иван Хворостинин, мечник князь Михаил Скопин-Шуйский, стольник князь Дмитрий Пожарский. С такими приближенными действительно можно было добиться многого, но для этого надо было строить новую страну и быть, как Петр I, архитектором нового государства, а если надо, то и обычным подмастерьем на этом строительстве. Самозванец же остался сыном своего века. В лучшем случае он тоже иногда действовал собственным примером, а в худшем брался за привычный царям кнут. По свидетельству нунция Клавдия Рангони, *«он сравнивал москвитян с конем, который подчиняется опытному седоку»*[7]. Хорошо известно, что этот седок слетел и разбился насмерть, после него осталась только «вздыбленная» Русь, и все это не имеет ничего общего с образом Медного Всадника.

В отличие от Петровской эпохи, в Смуту начала XVII века выиграла «старина» во главе с боярином князем Василием Шуйским, а не «новизна» царя Дмитрия. Дмитрий был не ленив, он поддерживал сколько мог свой «преобразовательный» порыв, продолжая игру. Однако все, что он делал, проходило незримую «экспертизу» неизощренных умов московских бояр, дворян, стрельцов, посадских людей и обычных мужиков. Шанса Лжедмитрию не было предоставлено, и вина в этом полностью лежала на нем, так как самозваный царь был обречен на вечное добывание доказательств собственной состоятельности на троне. В отличие от Петра I он трудился для себя, а этого не могли не почувствовать его приближенные и обычная толпа с ее ненасытной «топкой» народных ожиданий. Рядом с Кремлем уже собиралась боярская оппозиция, сопротивлявшаяся навязываемому обновлению России по «литовским» образцам. И что бы дальше ни происходило, никому не удалось переломить упрямое стремление возвратиться к тому порядку, как «при прежних государех бывало».

Самодержец был источником не только власти, он был всем в Московском государстве. Сакральное значение царской власти означало принятие любых действий царя и великого князя всея Руси и переносилось на его наследников. Лжедмитрий назвался таким законным наследником царя Ивана Грозного, и это

объясняет осуществленное им восхождение к царскому трону. С царским скипетром и державой он мог быть кем угодно, его власть ограничивалась только «миром», общие действия которого тоже считались оправданными от Бога. Народ в той драме про самозванца, как известно, до поры «безмолвствовал». Лжедмитрий нарушил своими новшествами привычное соотношение власти в Московском государстве, и «мир» совершил свой переворот. Однако и московский «мир» нельзя оправдать, потому что убит был венчанный царь. Те, кто пошли потом воевать за царя Дмитрия вместе с Иваном Болотниковым, кто собрались в столице второго самозванца в Тушине, тоже думали о справедливости. У них была идея восстановления нарушенного равновесия между «царем» и «миром». На деле все превратилось в бесконечные бунты, убийства и грабежи именем царя Дмитрия Ивановича. Пока не пришло время земского подвига с освобождением Москвы и избранием на царский престол царя Михаила Федоровича в 1613 году. Но это уже другая история…

Императорская затея самозванца на сто лет оказалась забытой, само имя — «Расстрига» — стало нарицательным для обозначения «злодейства» и «воровства». Неуспокоенный прах Лжедмитрия, развеянный оскорбленными москвичами выстрелом из пушки в сторону Запада, обречен теперь вечно витать в нашей истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пролог. Лжедмитрий

[1] *Ervin C. Brody.* The Demetrius Legend and Its Literary Treatment in the Age of the Baroque. Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1972; *Мериме П., Кумберленд Р. и др.* Русская Смута: Сб. М., 2006.

[2] Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею (далее — РИБ). СПб., 1872. Т. 1. Стб. 16.

[3] Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России. СПб., 1893. С. 67. См. также: *Севастьянова А. А.* Джером Горсей и «гнездо Феникса»: русский опыт англичанина и поэтический феномен Англии конца XVI — начала XVII в. // Времена и судьбы. Сб. статей в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2006. С. 131–132.

[4] Попытка С. Ф. Платонова восполнить их недостаток с помощью изучения топографии Угличского кремля тоже не увенчалась большим успехом. См.: *Платонов С. Ф.* О топографии угличского «Кремля» в XVI–XVII веках (1901) // Статьи по русской истории (1883–1902). СПб., 1903. С. 225–230. Доклад С. Ф. Платонова, с использованием материалов, полученных от ярославского краеведа и историка И. А. Тихомирова, был сделан на Первом областном археологическом съезде в Ярославле в 1901 г.

[5] Точнее, колокол был «наказан» урезанием «уха», после чего стал называться «корноухим». Ссыльный колокол вернут из Тобольска в Углич в 1892 г., правда, не без споров об его подлинности, так как есть свидетельства документов, что он расплавился в тобольском пожаре 1677 г. См.: *Лобашков А. М.* История ссыльного колокола (Литературная обработка Н. Б. Трофимовой). Ярославль, 1988; *Кулагин А. В., Кулагин В. А.* История Углича. Углич: Историко-музыкальный музей «Угличские звоны», 2005.

[6] См.: *Гречухин В.* Лики четвертого Рима. Ярославль, 2004. С. 103–107.

[7] *Шамурин Ю.* Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич // Культурные сокровища России. М., 1912. Вып. 1. С. 83.

[8] Угличский летописец / Подг. текста Я. Е. Смирнов. Ярославль, 1996. С. 47–48 (Приложение к журналу «Ярославская старина»).

[9] *Зимин А. А.* В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России. М., 1986. С. 117, 271.

[10] Угличский летописец… С. 49. Памятник, составленный в конце XVIII в., имел в своей основе разные летописцы. С. Ф.

Платонов даже отказывался рассматривать его известия, «пока историческая критика не оправдает в нем того, что нам представляется полным баснословием» (см. там же. С. 10). В этом случае вполне возможно, что автор «Угличского летописца» ошибается, когда пишет об отправке царевича Дмитрия из Москвы год спустя после смерти царя Ивана Грозного. Интереснее то, что он называет точный день отправки царевича, 21 мая, и связывает его с памятью «царя Константина и христолюбивыя матерее его Елены». Соименный храм существовал в Угличском кремле, возможно, что источник этих сведений содержался в церковной летописи.

[11] См.: *Успенский Ф. Б.* «…А прямое имя ему Уар» // Родина. 2004. № 12. С. 34; *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.

[12] См.: *Павлов А. П.* Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605). СПб., 1992. С. 44.

[13] По словам С. Б. Веселовского, «следственное дело достаточно определенно характеризует положение Михаила Битяговского при дворе царевича. Употребляя тогдашнее выражение, можно сказать, что царевич и его двор были „приказаны“ Михаилу Битяговскому». Чтобы совместить известные факты, С. Б. Веселовскому пришлось сделать предположение, что «незадолго до смерти царевича в Углич было прислано неизвестное нам лицо с поручением собрать посошных людей, „под город под гуляй“. Потом он якобы бежал из Углича и подал челобитную с оправданием своего побега, текст которой читается в составе „Следственного дела“». См.: *Веселовский С. Б.* Отзыв о труде В. К. Клейна «Угличское следственное дело о смерти царевича Димитрия 15 мая 1591 г.» // *Веселовский С. Б.* Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М., 1978. С. 166, 170.

[14] А. А. Зимин первым пересмотрел старое убеждение и писал о том, что дьяк М. Битяговский был прислан для сбора людей с дворцовых владений. См.: *Зимин А. А.* В канун грозных потрясений… С. 172–173; Десятни по Владимиру и Мещере 1590 и 1615 гг. М., 1910. С. 11 (Отд. отт.).

[15] Новый летописец // Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). М., 1965. Т. 14. С. 41.

[16] Дело о смерти царевича Дмитрия / Предисл. А. Белова // О Димитрии Самозванце. Критические очерки А. С. Суворина. СПб., 1906. С. 211. Кроме публикации А. М. Белова есть еще фототипическая публикация В. К. Клейна, уточнившего порядок расположения листов дела. См.: *Клейн В.* Угличское следственное

дело о смерти царевича Димитрия 15 мая 1591 г. Ч. 1. Дипломатическое исследование подлинника. Ч. 2. Фототипическое воспроизведение подлинника и его транскрипция. М., 1913.

[17] Дело о смерти царевича Дмитрия… С. 214.

[18] См.: *Беляев И. С.* Следственное дело об убиении Димитрия царевича в Угличе 15 мая 1591 г. Его разбор в связи с новооткрытым завещанием А. А. Нагого и группировкой свидетелей по алфавитному указателю. М., 1907. С. 8.

[19] Дело о смерти царевича Дмитрия… С. 190–191.

[20] См.: *Веселовский С. Б.* Отзыв о труде В. К. Клейна… С. 162, 168.

[21] *Беляев И. С.* Следственное дело об убиении Димитрия царевича в Угличе… С. 29.

[22] Дело о смерти царевича Дмитрия… С. 197. Угличский Алексеевский монастырь находится совсем недалеко от городского кремля. Даже приняв во внимание, что сначала игумен Савватий отослал проведать о случившемся слуг, много времени для того, чтобы ему прийти от Алексеевского монастыря в Спасскую церковь, не требовалось.

[23] Новый летописец… С. 42.

[24] Малоизвестные отзывы угличан о смерти царевича Дмитрия С. Д. Шереметев осторожно пытался связать с версией о том, что «царевич Дмитрий» спасался где-то на Севере: *Шереметев С. Д.* От Углича к Морю Студеному // Старина и новизна. Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещения в память имп. Александра III. Кн. 7. СПб., 1904. С. 200–202. См. также: *Козляков В. Н.* Василий Шуйский. М., 2007 (серия «ЖЗЛ»). С. 274. Благодарю А. В. Антонова за указание на документы Поместного приказа, подтверждающие факт возвращения угличан из ссылки.

[25] *Горсей Джером.* Записки о России XVI — начала XVII в. / Вступ. ст., пер. и коммент. А. А. Севастьяновой. М., 1990. С. 27–29, 130, 204–205.

[26] Афанасий Нагой был отправлен в Ярославль, традиционное тогда место для ссылки, скорее всего, «в опале», постигшей род Нагих после смерти Ивана Грозного. До этого Афанасий Нагой был хорошо известен своим участием в дипломатических делах, и его знакомство с Джеромом Горсеем вполне вероятно. См.: *Шереметев С. Д.* По поводу родословия Нагих // Известия Русского генеалогического общества. 1900. Вып. 1. С. 3–6; *Мордовина С. П., Станиславский А. Л.* Состав особого двора Ивана IV в период «великого княжения» Симеона Бекбулатовича // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977. С. 179–180;

Павлов Л. П. Государев двор… С. 27, 44; *Виноградов Л.* Судьба резидента. Афанасий Нагой, дипломат и шпион // Родина. 2004. № 12. С. 71–74.

[27] Так считали, например, автор самого подробного исследования и публикации «Угличского следственного дела» В. К. Клейн и солидаризировавшийся с ним рецензент его труда, выдающийся исследователь эпохи Московского царства XVI–XVII вв. Степан Борисович Веселовский. Показательно и мнение Сергея Федоровича Платонова, с доверием высказавшегося о «составе следственного дела». См.: *Веселовский С. Б.* Отзыв о труде В. К. Клейна… С. 179; *Платонов С. Ф.* Москва и Запад. Борис Годунов / Предисл. А. Л. Хорошкевич. М., 1999. С. 234. Этой версии придерживался в своих биографических работах о Борисе Годунове и Григории Отрепьеве Руслан Григорьевич Скрынников. См.: *Скрынников Р. Г.* Борис Годунов. М., 1978. С. 82; *Он же.* Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1987. С. 11–16.

[28] См.: *Зимин А. А.* В канун грозных потрясений… С. 165–166; *Кобрин В. Б.* Гробница в Московском Кремле // *он же.* Кому ты опасен, историк? М., 1992. С. 83–130. Владимир Борисович Кобрин отдал предпочтение художественной версии событий (что редко для историков), впервые высказанной Алексеем Константиновичем Толстым в трагедии «Царь Федор Иоаннович», и посчитал «виновницей» смерти царевича «мамку» Василису Волохову, по сути, не уберегшую Дмитрия. Но и он признает свое предположение о том, что она действовала по наущению Бориса Годунова, всего лишь одной из возможных версий.

[29] *Платонов С. Ф.* Москва и Запад. Борис Годунов. С. 234–242; *Кобрин В. Б.* Гробница в Московском Кремле… С. 110–125.

[30] «Беды» Загряжских и Чепчуговых заключались в том, что они были разосланы на дальние воеводства в 1590-х гг. (Кольский острог, Вологда, Устюг Великий). Было ли это обычным административным поручением или опалой, неизвестно. Вся остальная история, рассказанная «Новым летописцем», выглядит безвкусным историческим детективом. Только вера в написанное слово у людей Московского государства была сильнее: Новый летописец… С. 40–41; *Павлов А. П.* Государев двор… С. 240.

[31] Пискаревский летописец // ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 196.

[32] Угличский летописец… С. 50.

[33] *Платонов С. Ф.* Москва и Запад. Борис Годунов… С. 240–241.

[34] *Шереметев С. Д.* Царевна Феодосия Федоровна. 1592–1594 гг. // Старина и новизна. СПб., 1902. Кн. 5. С. 235–309.

[35] Там же. С. 244.

[36] С. Ф. Платонов писал, что «уверенность в преступности Бориса» рождалась «в людях прямолинейных, не склонных учитывать все частности обстановки или же не знавших эти частности. Позднейший исследователь, если вдумается в обстоятельства тех лет, непременно эти частности учтет» (Там же. С. 243).

[37] Грамота датирована 23 августа 1605 г. См.: *Козляков В. Н.* Обзор памятников деловой письменности XVI–XVII вв. в фондах Государственного архива Ярославской области (собрание Ярославской губернской ученой архивной комиссии) // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Л., 1990. Т. 43. С. 410–411.

[38] *Миллер Г. Ф.* Опыт новейшей истории о России // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1761. Т. 1. С. 3–64.

[39] См. подробнее: *Каменский А. Б.* Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // *Миллер Г. Ф.* Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 389–391.

[40] Цит. по: *Кокс У.* Путешествие Уильяма Кокса. 1778 г. / Пер., предисл. и примеч. Н. А. Белозерской // Русская старина. 1877. Т. 18. № 2. С. 309–324.

[41] Цит. по электронной публикации на сайте Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5770.

[42] *Бантыш-Каменский Н. Н.* Переписка между Россиею и Польшею в правление самозванца Лжедмитрия, Гришки Отрепьева // Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее — ЧОИДР). 1861. Кн. 1. Отд. 2. С. 53–79.

[43] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1843. Т. 11. Стб. 119–120.

[44] А. С. Суворин писал: «Говорят, что XI том Карамзина был написан в том же смысле, то есть Самозванец являлся сыном Грозного, но Карамзин вследствие каких-то влияний отказался от этого взгляда и переделал этот том в существующий теперь вид. В частных разговорах между людьми, занимавшимися историей, мысль эта дебатировалась, но поддерживать ее открыто при прежней цензуре было невозможно». О Димитрии Самозванце… С. 119). См. также: *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы. Лжедмитрий I. Киев, 1993. С. 15.

[45] Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. М., 1866. Ч. 2. С. 273.

[46] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 11. Стб. 177.

[47] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 26–27.

[48] «Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха. Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени. К тому же главные сцены уже напечатаны или искажены в чужих подражаниях. Раскрыв наудачу исторический роман г. Булгарина, нашел я, что и у него о появлении Самозванца приходит объявить царю кн. В. Шуйский. У меня Борис Годунов говорит наедине с Басмановым об уничтожении местничества, — у г. Булгарина также. Все это драматический вымысел, а не историческое сказание». *Пушкин А. С.* Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения // *Пушкин А. С.* Собр. соч. В 10 т. Т. 6. М., 1962 (http://rvb.ru/pushkin/01text/07criticism/02misc/1031.htm).

[49] *Яковлев А. И.* «Безумное молчание». Причины Смуты по взглядам русских современников // Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 651–678.

[50] *Бутурлин Д. П.* История Смутного времени в России. СПб., 1839. Т. 1. С. 149–278.

[51] См.: *Калитин П. В., Кулагин А. В.* Об источниках пушкинской заметки «Мнение митрополита Платона…» // Временник Пушкинской комиссии. СПб.: Наука, 1995. Вып. 26. С. 157–166.

[52] *Соловьев С. М.* Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. История России с древнейших времен. Т. 7–8. М., 1989. С. 390–394.

[53] Там же. С. 679.

[54] *Костомаров Н. И.* Кто был первый Лжедимитрий? СПб., 1864. С. 18.

[55] Там же. С. 48.

[56] Там же. С. 61, 63.

[57] См., напр.: Был ли Лжедмитрий Гришка Отрепьев? Возражение г. Костомарову на сочинение его «Кто был первый Лжедимитрий». СПб., 1865.

[58] *Костомаров Н. И.* Смутное время Московского государства в начале XVII столетия // *Костомаров Н. И.* Собрание сочинений. СПб., 1904. Кн. 2. Т. 4 (Переиздано без ссылок на источники: *Костомаров Н. И.* Смутное время. М., 1994; *он же.* Смутное время. Московское государство в начале XVII столетия. М., 2008); *он же.* Названый Димитрий // Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3. С. 609–631 (Репринтное

издание 1990 г.).

[59] *Костомаров Н. И.* Названый Димитрий… С. 630.

[60] Доклад Амвросия Добротворского о книге острожской печати 1594 г. с записью, где упоминался «Григорий царевич московский», был представлен впервые в Общество истории и древностей российских в 1852 г., но тогда не был напечатан. Первая публикация этого материала была осуществлена им в 1856 г., еще несколько раз он обращался к ней в 1860-е гг. См.: *Добротворский Л.* Записки Русского археологического общества. СПб., 1856. Т. 8. С. 56–73; *Соколов Е. И.* Библиотека императорского Общества истории и древностей российских. М., 1905. Вып. 2. С. 408; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения. Киев, 1993. Ч. 1. С. 56, 62–63.

[61] *Иловайский Д. И.* Смутное время Московского государства. М., 1894. С. 1, 3.

[62] *Левитский Н.* Лжедмитрий как пропагандист католичества в Москве. М., 1886; *Иконников В. С.* Новые исследования по истории Смутного времени Московского государства. Киев, 1889; *он же.* Димитрий Самозванец и Сигизмунд III // Чтения в Обществе истории Нестора-Летописца. Киев, 1890. Вып. 4. Отд. 2. С. 143–159.

[63] Rome et Démétrius d'après des documents nouveaux… par le P. Pierling. S.J. Paris, 1878.

[64] *Baudouin de Courtenay, Jan Niecisiaw.* Strona jçzykowa oryginahi polskiego listu «Dymitra Samozwanca» do papieza Klemensa VIII z dnia 24 kwietnia roku 1604 // Krakow: Akademia Umiejçtnosci, 1899. Опубликовано в Польской национальной цифровой библиотеке: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=12111&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=en.

[65] *Бильбасов В.* Письмо Лжедимитрия Клименту VIII // Русская старина, 1898. Т. 94. № 5. С. 301–311.

[66] *Пташицкий С. Л.* Письмо первого Самозванца к папе Клименту VIII от 24-го апреля 1604 года. С восемью автотипическими снимками. СПб., 1899.

[67] *Пирлинг П.* Россия и папский престол // Русская старина. 1901. № 12. С. 621–633.

[68] Wer War Pseudodemetrius I / von Eugen Scepkin // Archiv für Slavischen Philologie. Berlin, 1898. Bd. 20. S. 224–335; 1899. Bd. 21. S. 99-169, 558–606; 1900. Bd. 22. S. 321–432. См. также: Книга г. Щепкина о Самозванце // О Димитрии Самозванце. Критические очерки А. С. Суворина. СПб., 1906. С. 124–149.

[69] *Hirschberg A.* Dymitr Samozwaniec. Lwôw, 1898; *Гиршберг А.* Марина Мнишек. М., 1908. С. 11–13.

[70] См.: *Бестужев-Рюмин К. Н.* Обзор событий (1584–1913) // Журнал Министерства народного просвещения. 1887. Июль — август. Т. 252.

[71] Свои письма С. Д. Шереметев не посчитал возможным издать, больше ценя отзывы К. Н. Бестужева-Рюмина. Лишь недавно часть писем С. Д. Шереметева о Смуте была опубликована Л. И. Шохиным. См.: Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени. СПб., 1898; «Любительская страсть к загадочным людям». Письма С. Д. Шереметева К. Н. Бестужеву-Рюмину о Смутном времени / Публ. Л. И. Шохина // Исторический архив. 2002. № 1. С. 145–157.

[72] «Любительская страсть к загадочным людям»… С. 147. С. Д. Шереметев и в дальнейшем был увлечен поиском доказательств «подлинности Расстриги».

[73] Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном времени… С. 59.

[74] В своем увлечении А. С. Суворин доходил до националистических крайностей, отмечая «его чисто русское честолюбие, любовь к русской славе, русской гордости» (О Димитрии Самозванце). С. 60, 64–66.

[75] *Платонов С. Ф.* Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888; Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею (далее — РИБ). СПб., 1891. Т. 13.

[76] *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). Переизд. М., 1937. С. 190. Историк допускал обе версии — то, что Лжедмитрий мог быть и не быть Отрепьевым, замечая, что «истина от нас пока скрыта». См.: *Платонов С. Ф.* Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия // Статьи по русской истории. СПб., 1912. С. 276.

[77] *Ключевский В. О.* Курс русской истории. Ч. 3 // *он же.* Сочинения. В 9 т. М., 1988. Т. 3. С. 30.

[78] *Пирлинг П.* Из смутного времени. Статьи и заметки. СПб., 1902. С. 38.

[79] *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. М., 1912. С. 7–12, 495, 504.

[80] Материалы по Смутному времени на Руси XVII в., собранные проф. В. Н. Александренко // Старина и новизна. М., 1911. Кн. 14. С. 185–453.

[81] Сборник Имп. Русского исторического общества (далее — Сборник РИО). М., 1912. Т. 137.

[82] *Клейн В.* Угличское следственное дело… См. также: *Веселовский С. Б.* Отзыв о труде В. К. Клейна… С. 156–189.

[83] Акты времени Лжедмитрия I (1603–1606) / Под ред. Н. В. Рождественского // ЧОИДР 1918. Кн. 1.

[84] *Полиевктов М. А.* Лжедимитрий I // Люди Смутного времени. М., 1905. С. 10–16.

[85] *Васенко Пл.* Лжедимитрий 1-й // Русский биографический словарь: Т. 10. Лабзина — Ляшенко. СПб., 1914. С. 367–401.

[86] Александр Евгеньевич Пресняков в очерке, предваряющем издание биографий самых известных людей времени Смуты начала XVII в., писал: «Все историки более или менее согласились в том, что в деле появления Самозванца активную роль сыграло московское боярство, враждебное Борису». См.: Люди Смутного времени… С. 9.

[87] Логика подобного сравнения ведома только самому М. Н. Покровскому: «Но буржуазные историки, которым хотелось скрыть, что называемое ими „смутным“ время было восстанием народной массы против ее угнетателей, хотелось дать искусственное объяснение для позднейших историков, стали рассказывать, что будто новый царь Лжедимитрий, или Названный Димитрий, как его называли, выдвигался именно польскими помещиками и католической церковью. Этим они хотели унизить его, уменьшить его значение, как будто это был какой-то иностранец, которого иностранцы привели в Москву Так угнетатели народа и те, кто старался оправдать их черные дела, поступали всегда и после: и в самое последнее время, когда народ поднялся на последнюю борьбу за свою свободу, в 1917 г., буржуазные газеты тоже рассказывали, что это дело устроили немцы, что это все подкуплено, устроено на иностранные деньги и т. д. Как видите, всегда и во все времена происходит одно и то же. Стремятся не только поработить опять восстающий за свою свободу народ, но и всячески опозорить и загрязнить то, за что он действительно боролся». См.: *Покровский М. Н.* Русская история в самом сжатом очерке. 10-е изд. М.; Л., 1931. Ч. 1 и 2. С. 66–67.

[88] См.: *Дубровский А. М.* Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005. С. 330–331; *Токарев В.* Возвращение на пьедестал: тема русской Смуты в социокультурном контексте 1930-х годов // День народного единства: Биография праздника. М., 2009. С. 303–332.

[89] *Платонов С. Ф.* Москва и Запад. Борис Годунов… С. 234, 237, 270.

[90] Продолжение цитаты: «В этих условиях начался новый этап крестьянской войны. Во главе восставших крестьян и холопов стал талантливый полководец, выдающийся вождь народных масс — Иван Исаевич Болотников». Очерки истории СССР. Период

феодализма. Конец XV — начало XVII в. М., 1955. С. 13. Однако тогда же вышли в свет академические издания «Временника» Ивана Тимофеева и «Сказания» Авраамия Палицына, подготовленные О. А. Державиной; до сих пор они остаются лучшими публикациями литературных памятников времен Смуты. См.: Временник Ивана Тимофеева. Репринтное воспроизведение издания 1951 г. СПб., 2004; Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.

[91] См.: *Зимин А. А.* Некоторые вопросы истории крестьянской войны в России в начале XVII в. // Вопросы истории. 1958. № 3. С. 97-113; О крестьянской войне в Русском государстве в начале XVII в. (Обзор дискуссии) // Вопросы истории. 1961. № 5. С. 102–119.

[92] *Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л.* «Повесть как отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Л., 1974. Т. 28. С. 231–254; *Корецкий В. И.* Формирование крепостного права и Первая крестьянская война в России. М., 1975. С. 236–257 (Гл. 6. Попытка восстановления Юрьева дня в России Лжедмитрием I); *Назаров В. Д.* Из истории внутренней политики России начала XVII в. // История СССР. 1967. № 4. С. 90—100; *Станиславский А. Л.* К истории второй «окружной» грамоты Шуйского // Археографический ежегодник за 1962 год. М., 1963. С. 134–137; *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. М., 1973; *он же.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978.

[93] Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX веков. М., 1967.

[94] Филиппу Барбуру наконец-то удалось разыскать акварельный портрет московского «царевича» из Дармштадтской библиотеки, о котором ранее было известно лишь по упоминаниям в журнальной печати XIX в. См.: *Barbour Ph. L.* Dimitry Called the Pretender Tsar and Great Prince of All Russia. L.; Melbourne, 1967. См.: *Корецкий В. И., Станиславский А. Л.* Американский историк о Лжедмитрии I // История СССР. 1969. № 2. С. 238–244.

[95] В целом Г. В. Вернадский склонялся более к традиционному взгляду на самозванца, не называя его при этом Отрепьевым. *Вернадский Г. В.* Московское царство. Тверь; Москва, 1997. С. 208–214.

[96] *Czerska Danuta.* Dymitr Samozwaniec. Wroclaw, 1995, 2004.

[97] *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба в Русском

государстве в начале XVII века. Л., 1985. С. 324–326; *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы. Лжедмитрии I.

[98] *Скрынников Р. Г.* Самозванцы в России в начале XVII столетия. Григорий Отрепьев. С. 212. Позднее работы Р. Г. Скрынникова неоднократно переиздавались. См., напр.: *он же.* Три Лжедмитрия. М., 2003.

[99] *Станиславский А. Л.* Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990. С. 6–24.

[100] *Скрынников Р. Г.* Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988.

[101] См.: *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы… С. 165–166.

[102] См.: *Ульяновский В. И.* Лжедмитрии I и Украина: Указатель архивных источников и материалов. Киев, 1991; *он же.* Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения. Киев, 1993. Ч. 1–2.

[103] *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы… С. 231; *Ульяновский В. И.* Православная церковь и Лжедмитрий I // Архив русской истории. Научный исторический журнал. М., 1993. Вып. 3. С. 29–62.

[104] *Кобрин В. Б.* Смутное время — утраченные возможности // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала XX в… М., 1991. С. 172–176.

[105] *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы; *Andrusiewicz A.* Dzieje wielkiej smuty. Katowice, 1999; *Czerska Danuta.* Dymitr Samozwaniec; *Dunning Chester S. L.* Russia's First Civil War. The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty. The Pennsylvania State University Press, 2001; *Maureen Perrie.* Pretenders and Popular Monarchism in Early Modern Russia: The False Tsars of the Time of Troubles. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

[106] *Успенский Б. А.* Царь и самозванец. Самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982; *он же.* Свадьба Лжедмитрия (1997) // *Успенский Б. А.* Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 149–228.

[107] *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь. Лжедмитрии I, его государственные печати, наградные знаки и медали 1604–1606 гг. СПб., 2001.

[108] *Ульяновский В. И.* Смутное время. М., 2006. См. также источниковедческие работы о летописях и сказаниях начала XVII в.: *Бовина-Лебедева В. Г.* Новый летописец: история текста. СПб., 2004; *Корецкий В. И.* История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М., 1986; *Морозова Л. Е.* Смута начала XVII века глазами современников. М., 2000; *Солодкин Я. Г.* История позднего русского летописания. Учебное пособие. М.,

1997 и др.

[109] *Даннинг Ч.* Царь Дмитрий // Вопросы истории. 2007. № 1. С. 39–57. «Новейшие» историографические наблюдения Ч. Даннинга не учитывают, что историки слишком по-разному говорили о сходстве Лжедмитрия I и Петра I. После С. М. Соловьева, под влиянием которого историки задумались об этих аналогиях, сочувственно о Лжедмитрии как предшественнике Петра I написал И. А. Худяков в популярных очерках «Древняя Русь» (1867): «Лжедмитрии, воспитанный в Польше, под влиянием европейского образования, обещал быть Петром Великим, только столетием раньше». Правда, И. А. Худяков к тому времени лишь недавно закончил университет, писал свою книгу «для народа» и больше увлекался замыслами цареубийства, сломавшими ему жизнь. К. Н. Бестужеву-Рюмину Расстрига напоминал Петра «царственным видом и царственными приемами». А. Суворин, наоборот, писал о том, что Лжедмитрии «бил» своих бояр «палкою», как Петр Великий. См.: Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени… С. 59; *Суворин А.* О Димитрии Самозванце… С. 64; *Цамутали А.* 77. Очерки демократического направления в русской историографии 60–70-х гг. XIX в. Л., 1971. С. 131.

[110] *Радзинский Э.* Цари и самозванцы. Драмы истории. Распутин. Жизнь и смерть. М., 2008. С. 234. Очерк Эдварда Радзинского о Лжедмитрии выделяется на фоне других научно-популярных разысканий об этом герое точностью и глубиной постижения истории самозванца. К сожалению, чаще встречаются малоисторичные работы, в которых прослеживается стремление притянуть сегодняшние страсти к делам «давно минувших дней», чтобы через историю Лжедмитрия навести читателя на аллюзии с современными событиями. Некоторым трудам сопутствует дилетантская уверенность в возможности окончательного разрешения историографических споров. См., напр.: *Зарезин М.* В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории. М., 2007; *Таймасова Л.* Трагедия в Угличе. Что произошло 15 мая 1591 года? М., 2006.

Часть первая
ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ

[1] Пискаревский летописец… С. 205.

[2] *Любавский М. К.* Литовский канцлер Лев Сапега о событиях Смутного времени // ЧОИДР. 1901. Т. 2. С. 6.

[3] См.: Записки гетмана Жолкевского о Московской войне, изданные П. А. Мухановым. 2-е изд. СПб., 1871. Приложение. № 7. Стб. 17; *Sobieski W.* Perwszy protector Samozwarïca // Wactew Sobieski. Szkice Historyczne. Warszawa, 1904. S. 87–88.

[4] *Пирлинг П.* Новая постановка вопроса о Димитрии // *он же.* Из Смутного времени. СПб., 1902. С. 3.

[5] Смерть первого царевича Дмитрия действительно произошла во время богомольного «езда» царской семьи в Кирилло-Белозерский монастырь в мае — июне 1553 г. По летописным источникам, именно «мамка», не удержавшая на руках младенца и уронившая его в воду, была виновата в гибели несчастного царевича.

[6] *Пирлинг П.* Россия и папский престол // Русская старина. 1901. № 12. С. 621–624.

[7] Дневник Марины Мнишек. СПб., 1995. С. 25–28. В первоначальном донесении нунция Рангони в Рим в 1603 г. тоже говорилось о докторе (medico), спасшем царевича: *Pirling P.* Rome et Démétrius… P. 175.

[8] Автор «Угличского летописца» указывал на место погребения царевича Дмитрия «в печюре церковныя стены, в каменном гробе у южных врат». См.: Угличский летописец… С. 52.

[9] Об этом писал автор «Пискаревского летописца». См. подробнее: *Козляков В. Н.* Василий Шуйский. С. 29.

[10] Записки гетмана Жолкевского о Московской войне… Приложение № 2. Стб. 5–8. На польском языке документ опубликован в книге: Listy Stanisława Żółkiewskiego. 1584–1620. W Krakowie, 1868. С. 127–129.

[11] *Пирлинг* 77. Россия и папский престол… С. 624.

[12] Сборник РИО. Т. 137. С. 264.

[13] *Sobieski W.* Perwszy protector Samozwańca… S. 81–82.

[14] Записки гетмана Жолкевского о Московской войне… Приложение № 3. Стб. 9.

[15] Цит. по: *Пирлинг П.* Новая постановка вопроса о Димитрии… С. 6–7.

[16] Новый летописец… С. 61.

[17] См.: *Ульяновский В. И.* Смутное время… С. 29–30.

[18] См.: Сборник РИО. Т. 137. С. 280–281, 579–580; Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века. 1601–1608. Сб. документов. М., 2003. С. 331; *Козляков В. Н.* Марина Мнишек. М., 2005 (серия «ЖЗЛ»). С. 313–314.

[19] Патриарх Иов еще раз обратился с посланием к воеводе Константину Острожскому в июне 1606 г. после свержения царя Дмитрия Ивановича. В нем он ссылался на состоявшееся определение церковного собора, осудившего чернеца Григория «за ересь и чернокнижное звездовство». Речь шла о ссылке «на Белоозеро в Каменный монастырь в турму на смерть». См.: Сборник РИО. Т. 137. С. 756.

[20] В известии о Смирном Отрепьеве содержится какая-то путаница. Перед этим сказано, что дядя самозванца ничего не мог вразумительного сказать царю («аки мертв пред ним стояще и нечего не мог отвещати»), за что был отправлен на правеж и погиб («взочтоша на него дворцовые казны и повелеша его бити на правеже и убиша его до смерти»). Однако Смирной Елизарьевич Отрепьев умрет позднее, известны его служба в качестве посланника царя Василия Шуйского в Швецию в ноябре 1609 г., другие службы в Новгороде периода шведской оккупации, участие в посольстве от Новгорода к земскому ополчению кн. Дмитрия Михайловича Пожарского и Кузьмы Минина в Ярославле в 1612 г.; последней службой Смирного Отрепьева станет воеводство в Можайске в 122 (1613/14) г.: Новый летописец… С. 61; Разрядные книги 1598–1638 гг. С. 293; *Замятин Г. А.* Россия и Швеция в начале XVII в. Очерки политической и военной истории. СПб., 2008. С. 38, 74, 442, 443; *Кобзарева Е. И.* Шведская оккупация Новгорода в период Смуты XVII века. М., 2005. С. 216–226; *Селин А. А.* Новгородское общество эпохи Смуты. СПб., 2008.

[21] Сборник РИО. Т. 137. С. 242.

[22] Там же. С. 578–579.

[23] Там же. С. 176–177. Сообщение о ссылке Григория Отрепьева в заточение «на смерть» совпадает с тем, что ранее сообщал патриарх Иов князю Константину Острожскому с гонцом Афанасием Пальчиковым.

[24] См.: *Вовина-Лебедева В. Г.* «Новый летописец»: история текста. См. также: *Солодкин Я. Г.* Очерки по истории общерусского летописания конца XVI — первой трети XVII века. Нижневартовск, 2008. С. 141–193.

[25] Новый летописец… С. 59.

[26] Действительно, архимандрит Левкий был настоятелем суздальского Спасо-Евфимиева монастыря с 1587 по 1605 г. См.:

Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 665. В «Новом летописце» и «Ином сказании» использован общий источник — «Повесть, како отомсти…». В этом раннем литературном памятнике, авторство которого приписывается книгохранителю Троице-Сергиева монастыря иноку Стахию, впервые было рассказано о первых годах жизни Григория Отрепьева, об обстоятельствах его знакомства с вятским игуменом Трифоном и пребывании в суздальских монастырях. См.: *Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л.* «Повесть како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 28. Л., 1974. С. 234, 240.

[27] Архимандрит Пафнутий был настоятелем монастыря в 1595–1604 гг. (*Строев П. М.* Списки иерархов… Стб. 163).

[28] См.: *Веселовский С. Б.* Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 85, 179; *Павлов А. П.* Государев двор… С. 236.

[29] См.: *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… С. 53–54.

[30] Акты Археографической экспедиции (далее — ААЭ). Т. 2. № 32. С. 86–87.

[31] Сборник РИО. Т. 137. С. 177–178.

[32] Там же. С. 179.

[33] Сборник материалов по русской истории начала XVII века / Пер., введ. и примеч. И. М. Болдакова. СПб., 1896. С. 56. Это было еще одно издание С. Д. Шереметева, как известно, собиравшего источники, подтверждавшие его версию о подлинности истории спасенного царевича Дмитрия.

[34] Там же. С. 62–67.

[35] Там же. С. 71–74.

[36] См. описание дела в царском архиве, хранившемся в Посольском приказе: «Столпик, а в нем грамота образцовая чорная Иева патриарха Московского и всеа Русии, и митрополитов, и архиепископов, и епископов и всего освещенного собора, каковы грамоты посланы по городом на Украину к воеводам, что вор Гришка Розстрига идет к Москве, назвався царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии сыном, царевичем Дмитреем Углецким, и они б ево смуте не верили, а на верху грамоты роспись, в которые городы таковы грамоты посланы, сверху подраны». См.: Опись архива Посольского приказа 1626 года / Подг. к печати В. И. Гальцов. М., 1977. Ч. 1. С. 263; *Ульяновский В. И.* Смутное время… С. 25–28, 404–405.

[37] ААЭ. Т. 2. № 28. С. 28.

[38] *Забелин И. Е.* История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 630 (Репр. изд. 1990 г.)

[39] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 142.

[40] Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 105–108.

[41] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 142. Точный срок перемирия, заключенного в 1602 г., был 20 лет.

[42] См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 170.

[43] Новый летописец… С. 60.

[44] ААЭ. Т. 2. № 28. С. 79.

[45] Там же. № 64. С. 143.

[46] Там же. № 28. С. 79.

[47] И. О. Тюменцев относит контакты Григория Отрепьева с запорожцами к лету 1602 г., считая, что Лжедмитрий оказался в Сечи у «казаков-еретиков», приверженцев арианства. Представить, что печерские старцы специально ездили к запорожским казакам в Сечь для возвращения в монастырь одного московского грешника, все-таки очень трудно. В рассказе монаха Венедикта, скорее всего, упомянуто о событиях, происходивших в самом Киеве. См.: *Тюменцев И. О.* Лжедмитрий I и вольные казаки Днепра, Дона, Терека и Яика // Вестник Южного научного центра РАН. 2006. Т. 2. № 4. С. 81.

[48] *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время (7113–7121). М, 1907. С. 1.

[49] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 142.

[50] РИБ. Т. 13. С. VIII. Стб. 155, 797; *Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л.* «Повесть како отомсти»… С. 240, 245. См. также: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 224–225.

[51] РИБ. Т. 13. Стб. 797.

[52] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи. М., 2007. С. 179. Монахом Леонидом посчитал Лжеотрепьева Р. Г. Скрынников. См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 224–225; *он же.* Смута в России… С. 177–178; *он же.* Самозванцы в России… С. 102–103.

[53] См.: *Добротворский А.* Записки Русского археологического общества. СПб., 1856. Т. 8. С. 56–73. Как установил В. И. Ульяновский, книга, найденная А. Добротворским в 1851 г. в Загоровском Рождественском монастыре, была передана в церковно-археологический музей Киевской духовной академии. В 1920-е гг. она находилась в отделе печати музея Киево-Печерской лавры. См.: *Ульяновский В. И.* Лжедмитрий I и Украина… С. 8. Как любезно сообщил нам А. А. Булычев, недавно ему удалось найти эту книгу в фондах РГАДА. Выражаю А. А. Булычеву глубокую благодарность за сообщение об этой находке.

[54] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 142.

[55] См.: *Будрин Е.* Разбор вероучения социнианской секты // *он*

же. Антитринитарии XVI века. Казань, 1889. Вып. 3; *Пирлинг П.* Названный Дмитрий и польские ариане // Русская старина. 1908. № 4.

[56] ПСРЛ. М., 1975. Т. 32. С. 189.

[57] Новый летописец… С. 60–61.

[58] *Sobieski W.* Perwszy protector Samozwanca… S. 91.

[59] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 143.

[60] См.: *Кулиш 77. А.* Материалы для истории воссоединения Руси. М., 1877. С. 26.

[61] ПСРЛ. Т. 32. С. 189.

[62] См.: *Sobieski W.* Perwszy protector Samozwanca… S. 81

[63] *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 82.

[64] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 627.

[65] Там же. С. 624.

[66] *Pirling P.* Rome et Démétrius… P. 180; *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 625; *Геродот.* История в девяти книгах / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. С. 38.

[67] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 625–626.

[68] Сборник РИО. Т. 137. С. 264.

[69] *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 308.

[70] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 625–626.

[71] Там же. С. 624–625.

[72] См. подробнее: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 100–115.

[73] Польский текст более полный. Сохранился еще перевод на латинский язык, сделанный о. Каспаром Савицким. См.: *Пташицкий С. Л.* Письмо первого Самозванца к папе Клименту VIII. СПб., 1899.

[74] *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 34–35.

[75] *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 111. Описание приема у нунция Клавдия Рангони сохранилось в дневнике А. Велевицкого, датировавшего отъезд Лжедмитрия из Кракова воскресеньем 25 апреля 1604 г. См.: Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 44. Стб. 129–130.

[76] Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 4. Стб. 9–10.

[77] Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 4. Стб. 10.

[78] Там же. № 5. Стб. 11–14.

[79] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 632.

[80] *Hirschberg A.* Dymitr Samozwaniec… S. 55.

[81] Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 6. Стб. 13–14.

[82] Там же. Стб. 16.

[83] Там же. № 8. Стб. 19–22.

[84] См. об этом: *Sobieski W.* Perwszy protector Samozwanca… S. 94.

[85] Документ сохранился в архивном фонде «Дела о самозванцах», восходящем к коллекции Посольского приказа из собрания Московского главного архива Министерства иностранных дел (МГАМИД). Ныне этот фонд под названием «Дела о самозванцах и письма Лжедмитрия I» хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА. Ф. 149). Ассекурация Лжедмитрия I была опубликована в «Собрании государственных грамот и договоров» (далее — СГГиД) в 1819 г. Издатели использовали работу К. Армашенка, заново сверившего польский текст и его современный перевод, сделанный в Посольском приказе. Перевод К. Армашенка конца XVIII в., убравшего некоторые устаревшие выражения и дополнившего пропуски титулов, цитируется практически во всех трудах, посвященных Лжедмитрию I. В издании дипломатических документов о взаимоотношениях Московского государства с Речью Посполитой, подготовленном под редакцией С. А. Белокурова в 1912 г., текст был напечатан по архивному оригиналу. Ср.: СГГиД. Т. 2. № 76. С. 159–162; Сборник РИО. Т. 137. С. 200–201.

[86] Сборник РИО. Т. 137. С. 201–203.

[87] *Бутурлин Д. П.* История Смутного времени… Т. 1. Приложение № 6. С. 83–84. См. также текст в переводе конца XVIII в.: «Дмитрий Иванович, Божиею милостию, царевич великой России, Углицкий, Дмитровский, Городецкий и проч. и проч., князь от колена предков своих, всех государств, к Московской монархии принадлежащих, государь и дедич. Объявляем, кому о сем ведать надлежит, что мы ясновельможному господину Юрью из Великих Кончиц Мнишкови, воеводе Сандомирскому, Львовскому, Самборскому, Меденицкому и проч. старосте, жупникови жуп русских, за любовь, милость, доброжелательство и склонность, которую нам явил и являть не перестает, в вечныя времена дали мы ему и наследникам его Смоленское и Северское княжества в государстве нашем Московском со всем, что к оным княжествам принадлежит, с городами, замками, селами, подданными и со всеми обоего полу жителями, как о том в данном от нас его милости особливом привилии ясно изображено и написано, дали, подарили и записали. А для известных и важных причин и для самой нашей любви и доброжелательства к пресветлейшему королю полскому и всему королевству, в предбудущия вечныя времена, для согласия и миру между народом полским и московским, Смоленской земли другую половину с замками, городами, городками, уездами, селами,

реками, озерами, прудами (оставляя при его милости господине воеводе самой замок с городом Смоленском и со всем, что к половине онаго принадлежит) дали, подарили и записали, как о том в особом привилии изображено, королям полским и Речи Посполитой польской шесть городов в княжестве Северском со всем, что к оным принадлежит, с доходами и прибытками, и на все сие уже совершенный от нас привилии дан есть; и дабы о исполнении всего того его милость господин воевода был благонадежен, присягою телесною подтвердили мы. И из другова государства, близ Смоленской земли, еще много городов, городков, замков, земель и прибытков определяем ему, господину воеводе, даровать, присовокупить, записать в вечныя времена, как скоро нас Господь Бог на престоле предков наших посадит, дабы равные и неменшие, как с Смоленского, так и с Северскаго княжества, с городов, замков, городков, сел, боров, лесов, рек, озер, прудов всякие имел доходы, то мы ему обещаем и ручаем; и что уже мы однажды присягою подтвердили, то и ныне ни в чем неотменно и ненарушимо подтверждаем все вышеописанное его милости господину воеводе содержать и исполнить. А для болшаго уверения и важности сей лист наш, при подписании собственною рукою нашею, печатью утвердить повелели.

Дан в Самборе, июня 12 дня, 1604 года. Димитрий царевич». См.: СГГиД. Ч. 2. № 79. С. 165–166.

[88] *Бутурлин Д. П.* История Смутного времени… Т. 2. Приложение № 10. С. 72–73. Ошибочно приписано Лжедмитрию II.

[89] Расписка Лжедмитрия I в получении 4 тыс. злотых, выданная Юрию Мнишку 21 августа 1604 г., хранилась в Государственном историческом музее, но была утрачена. Сохранилась только ее фотокопия. См.: *Дракохруст Е. И.* Иконографические источники, освещающие польскую интервенцию начала XVII века // Труды Государственного исторического музея. 1941. Вып. 14. С. 36–37.

[90] *Борша Ст.* Поход московского царя Димитрия в Москву с Сендомирским воеводой Юрием Мнишком и другими лицами из рыцарства 1604 года // РИБ. Т. 1. СПб., 1872. Стб. 365.

[91] В июне — июле 1604 г. Лжедмитрий I еще из Самбора написал письма нунцию Рангони и папе Клименту VIII. Ему приходилось просить поддержки, так как не все в Речи Посполитой благосклонно смотрели на дело московского претендента. См.: *Pirling P.* Rome et Démétrius… P. 158–162.

[92] РИБ. Т. 13. Стб. 26. М. Ю. Зенченко конкретизировал это сообщение, связав его с походом казачьих отрядов с Дона к Цареву-Борисову, Белгороду и Курску. См.: *Зенченко М. Ю.* Южное

российское порубежье в конце XVI — начале XVII в. Опыт государственного строительства. М., 2008. С. 102.

[93] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 626.

[94] *Борша Ст.* Поход московского царя Димитрия… Стб. 366.

[95] Вопрос о численности войск Лжедмитрия I относится к числу дискуссионных. Точно определить состав войска самозванца невозможно. Известно лишь, что основу его составляли наемные войска польско-литовской шляхты и какая-то часть казаков общей численностью в две с половиной — три тысячи человек. В начале похода в Московское государство оно постоянно пополнялось за счет новых отрядов «черкас» (запорожских казаков), насчитывавших еще две-три тысячи человек. См.: *Зенченко М. Ю.* Южное российское порубежье… С. 99; *Панков А. И.* Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI — первая половина XVII века). Белгород, 2004. С. 112–113; *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 169; *Тюменцев И. О.* Лжедмитрий I и вольные казаки… С. 82–83; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… С. 86–87.

[96] См.: *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 84–85.

[97] См.: *Соловьев С. М.* Сочинения… Кн. 4. С. 401–402.

[98] СГГиД. Т. 2. № 80. С. 169–173.

[99] Начальная история похода самозванца в Московское государство многократно рассмотрена в исторической литературе, в том числе в недавнее время. См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 174–203; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 85–90; *Зенченко М. Ю.* Южное российское порубежье… С. 99-111.

[100] Разрядная книга 1475–1605. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 76–77.

[101] Там же. С. 77.

[102] См.: Сборник РИО. Т. 137. С. 178; *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 153–155, 171; *Тюменцев И. О.* Лжедмитрий и вольные казаки… С. 85.

[103] ААЭ. Т. 2. № 26. С. 76; РИБ. Т. 13. Стб. 27–28.

[104] См.: *Кулиш П. А.* Материалы для истории воссоединения Руси… С. 24–25; *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 153–154; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 79.

[105] Сборник РИО. Т. 137. С. 242.

[106] Новый летописец… С. 61. В. И. Ульяновский считает, что можно узнать о духовных переживаниях царя Бориса Годунова в этот момент, считая наиболее подходящим определением для них евангельские слова «да минует меня чаша сия». Однако подобные

реконструкции могут опираться только на тексты, написанные самим царем, а их нет. См.: *Ульяновский В. И.* Смутное время… С. 19–23.

[107] См.: *Коваленко Г. М.* Кандидат на престол. Из истории политических и культурных связей России и Швеции XI–XX веков. СПб., 1999. С. 41–46.

[108] «Погаными» называли язычников, мусульман и всех других, кто не исповедовал христианство. См.: Сборник РИО. Т. 137. С. 165.

[109] Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 63–72. *Белокуров С. А.* Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. 1. 1578–1613. С. 402–406.

[110] Разрядные книги 1598–1638 гг. С. 160.

[111] *Черепнин Л. В.* Земские соборы Русского государства… С. 148–149.

[112] Разрядные книги 1598–1638 гг… С. 166–167.

[113] Сборник РИО. Т. 137. С. 514.

[114] Р. Г. Скрынников считает, что «Борис Годунов не опасался вторжения», но войско после подготовки к отражению крымского вторжения весной 1604 г. должно было оставаться в боевой готовности. См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 180.

[115] Сборник РИО. Т. 137. С. 280.

[116] А. Л. Станиславский разыскал и опубликовал этот документ в 1970-х гг. См.: Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII в. и Роспись русского войска 1604 г. Указатель состава государева двора по фонду Разрядного приказа / Сост., подг. текста и вступ. ст. С. П. Мордовиной и А. Л. Станиславского. М., 1979. Ч. 2; *Станиславский А. Л.* Труды по истории государева двора в России… С. 111–116.

[117] Законодательные акты Русского государства… № 53. С. 72; *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты… С. 448, прим. 76; 454–455, прим. 115; *Станиславский А. Л.* Труды по истории государева двора в России XVI–XVII вв. М., 2004. С. 169, прим. 385.

[118] *Зенченко М. Ю.* Южное российское порубежье… С. 99–101.

[119] Новый летописец… С. 62.

[120] РИБ. Т. 13. Стб. 30–31.

[121] Новый летописец… С. 62.

[122] РИБ. Т 1. С. 376–385.

[123] См.: *Пирлинг П.* Поездка в Самбор // Русская старина. 1910. Кн. 2. С. 241–246; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… С. 81.

[124] Разрядная книга 1475–1605… С. 87. Кажется, составитель

разрядных книг пытался внушить мысль о том, что сама покойная царица Ирина Годунова оказала небесное заступничество.

[125] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 163.

[126] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии // О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 77.

[127] Новый летописец… С. 62; Разрядная книга 1475–1605… С. 87–88.

[128] РИБ. Т. 1. СПб., 1872. С. 13–16, 35, 39.

[129] См.: *Тихомиров М. Н.* Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 412–413.

[130] Новый летописец… С. 62.

[131] Новый летописец… С. 62–63; Разрядная книга 1475–1605… С. 88–90.

[132] *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты… С. 203.

[133] РИБ. Т. 1. Стб. 391–392.

[134] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 78.

[135] Новый летописец… С. 63.

[136] Позднее польско-литовские послы объяснили, что этот гонец попал со своими грамотами в момент смерти царя Бориса и, испугавшись перемен на русском престоле, связанных с присягой царю Дмитрию, уехал обратно в Московское государство, так и не исполнив своей миссии («ответу до патриархи сам брать не хотел»). См.: Сборник РИО. Т. 137. С. 582–583, 760.

[137] Акты исторические. Т. 2. № 38. С. 51; № 54. С. 65; № 55. С. 67–69.

[138] Жак Маржерет мог знать о диагнозе царских медиков, он записал в своих записках, что царь Борис «умер от апоплексии»: Вельский летописец… С. 241; Новый летописец… С. 63; Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 91; Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета… С. 193.

[139] Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 91.

[140] *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 239.

[141] ААЭ. Т. 2. № 32. С. 86–87.

[142] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 83.

[143] В описи архива Посольского приказа 1626 г. упоминается: «Свяска, а в ней записи целовальные царю Федору Ивановичю и царю Борису, и после царя Бориса царице Марьи и царевичю Федору всяким людем по чином, и записи шертовальные по чином иноземцом». См.: Опись архива Посольского приказа 1626 г. Ч. 1. С. 316.

[144] Митрополит Ростовский и Ярославский Кирилл, один из участников «наречения» царя Федора Борисовича, отправил известие об этом из Москвы 29 апреля 1605 г. См.: ААЭ. Т. 2.

№ 32. С. 86–89.

[145] СГГиД. Ч. 2. № 85. С. 192.

[146] ААЭ. № 31. С. 86.

[147] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 84–85.

[148] Цит по: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 156.

[149] См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 219–220.

[150] Сборник РИО. Т. 137. С. 584–585.

[151] Имя отца-иезуита Николая Чижовского в латинизированной форме звучало как Цировский (P. Nicolo Cyrowski). См.: *Wielewicki, Jan.* Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u św Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie). Kraków, 1999. T. 5. S. 91–92.

[152] *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 223–224.

[153] Цит. по: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 494.

[154] РИБ. Т. 13. Стб.48.

[155] Там же. С. 177–178.

[156] *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 175; *он же.* Россия и папский престол… С. 628. *Пыляев М. И.* Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление. СПб., 1896. С. 200–201.

[157] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 633.

[158] *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты… С. 449. См. также: Родословная Басмановых // Русская старина. 1901. № 11. С. 424–425.

[159] Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 91–93.

[160] *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время (7113–7121). М., 1907. С. 116.

[161] См.: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… 224–225.

[162] РИБ.Т. 13. Стб.40.

[163] Новый летописец… С. 64.

[164] Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 93.

[165] Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России… С. 72.

[166] Старина и новизна. Т. 14. С. 533.

[167] См. подробнее: *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 263–284.

[168] Отец Андрей Лавицкий писал об этой дороге к Орлу: «Мы так спешили, что когда вследствие лихорадки, а также от усталости и пыли, мы принуждены были сделать остановку в средине похода, мы остановились в некоем городе Орле по указанию Светлейшего». Нагнав спустя три дня войско царя

Дмитрия, они удивлялись переменам: «с такой скоростью» собирал он свое войско. См.: Старина и новизна. Т. 14. С. 534.

169 Сборник РИО. Т. 137. С. 587 («Потом в дорозе Михайло Солтыков Морозовы и Петр Босманов, оба два сенатори, маючи з собою со 200 чоловека, по них опять князь Василей Кгалицын и Шереметев, также сенатори, з многими иншими людьми, а потом и все войско добровольно ему, яко властному дедичному господару своему, крест целовали»).

170 Там же. С. 586–587.

171 «И тое Ростригину грамоту чли на Лобном месте, а в грамоте пишет: „От прироженово государя от царевича Дмитрея Ивановича Московского и всеа Русии патриарху Иеву, и митрополитом, и архиепископом, и епископом, и архимаритом, и игуменом, и всему освященному собору, да бояром, и окольничим, и дворяном, и стольником, и стряпчим, и князем, и детем боярским, и дьяком, и подьячим, и гостем, и торговым людем, черным и иноземцом“»: Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 94.

172 ААЭ.Т 2.№ 34. С. 89–91.

173 Иное сказание… Стб. 47.

174 *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени… С. 177.

175 ААЭ. Т. 2. № 67. С. 150, 154.

176 Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 94.

177 Новый летописец… С. 65.

178 *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 177; Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 95.

179 ААЭ. № 35, 36. С. 92.

180 Отец-иезуит Андрей Лавицкий писал в одном из своих писем в Ватикан о «внезапной кончине» жены Бориса Годунова, так как «ей и ее сыну была поднесена отрава». См.: Старина и новизна. Т. 14. С. 533.

181 «Те же стрельцы убойцы их розведоша по храминам порознь. Царицу же Марью те убойцы удавиша тово ж часа, царевича ж многие часы давиша, яко же не младости в те поры дал Бог ему мужество. Те же их злодеи убойцы ужасошася, яко един с четырмя боряшеся, един же от них злодей убойца взят его за тайные уды и раздави» (Новый летописец… С. 66). См.: *Соловьев С М.* Сочинения… Кн. 4. С. 413.

182 См.: *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 177; Новый летописец… С. 66.

183 РИБ.Т. 13. Стб. 50.

184 Временник Ивана Тимофеева / Подг. к печати, пер. и коммент. О. А. Державиной (репр. воспроизв. издания 1951 г.).

СПб., 2004. С. 85.

[185] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 166.

[186] Новый летописец… С. 66.

[187] ААЭ. Т. 2. № 37–38. С. 92–94.

[188] Разрядная книга 1475–1605… С. 97.

[189] Копия листа велижского подстаросты 26 июля 1605 г. // Краковский музей князей Чарторыжских. № 1654. Л. 160.

[190] Современная записка о первом самозванце // Летопись занятий Археографической комиссии. СПб., 1895. Вып. 10. Отд. П. С. 53.

[191] Старина и новизна. Т. 14. С. 539–540.

[192] Там же. С. 534.

[193] Новый летописец… С. 66; *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 177–178.

Часть вторая
ЦАРЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

[1] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 178.

[2] Новый летописец… С. 67.

[3] См.: *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 178.

[4] Поставление, а затем низвержение патриарха Игнатия и отправка его в Чудов монастырь в 1606 г. создали много конфессиональных затруднений. В 1611 г. Игнатий уехал из осажденной Москвы, воспользовавшись временным ослаблением ее блокады войсками Первого ополчения. Позднее перешел в униатскую церковь, умер около 1620 г. и был похоронен в Троицком монастыре в Вильно. На освященном соборе 1620 г. патриарх Игнатий был осужден за то, что допустил к причастию Лжедмитрия I и Марину Мнишек во время их венчания в Москве. Его извергли из сана и предали анафеме, однако это было сделано с нарушениями канонического церковного права. Позднее останки патриарха Игнатия пропали из виленского Троицкого монастыря после взятия города русскими войсками в 1655 г. См.: *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 328–368; *Булычев А. А.* История одной политической кампании XVII века. М., 2004. С. 70–107.

[5] *Арсении Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 179.

[6] См. грамоты митрополита Ярославского Кирилла от 19 апреля 1605 г.: ААЭ. Т. 2. № 31, 32. С. 86–89.

[7] Акты феодального землевладения и хозяйства / Сост. Л. В. Черепнин. М., 1961. Ч. 3. С. 104. См. также: *Ульяновский В.* Смутное время… С. 271–279.

[8] Новый летописец… С. 67; Сказание Авраамия Палицына // РИБ. Т. 13. Стб. 492–493.

[9] Вопрос о характере соборных заседаний 1605 г. специально разобран В. И. Ульяновским: *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 167–177.

[10] Станиславу Немоевскому стало известно об этом со слов секретаря царя Дмитрия Станислава Слоньского, с которым они находились вместе в ссылке в Ростове после переворота в Москве в 1606 г. См.: Записки Станислава Немоевского // *Титов А. А.* Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. М., 1907. Вып. 6. С. 115–117.

[11] Там же. С. 115–117.

[12] Новый летописец… С. 67.

[13] О деле Шуйских существует большая литература, хотя его датировка и многие детали по-прежнему остаются неясными. См.: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец. С. 212–213; *Скрынников Р. Г.* Социально-политическая борьба… С. 304–316.

[14] *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время… С. 6.

[15] Новый летописец… С. 67.

[16] Убедительную атрибуцию «императорской короны», использовавшейся при венчании царя Дмитрия Ивановича, произвел А. В. Лаврентьев. Полученная Борисом Годуновым в 1604 г. корона была изготовлена по его заказу, а следовательно, не может рассматриваться, как это сделано В. И. Ульяновским, в контексте вассальных отношений императорского дома Габсбургов и царей Ивана Грозного и Дмитрия Ивановича: *Лаврентьев А. В.* «Императорская корона» Лжедмитрия I и царские «шапки» кремлевской казны XVI — начала XVII в. // *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь. С. 174–201. Приложение А; *Ульяновский В.* Смутное время… С. 170–172.

[17] См. подробнее: *Успенский Б. А.* Царь и патриарх. Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 14–29, 140–141.

[18] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 179.

[19] Записки Станислава Немоевского… С. 118.

[20] Старина и новизна. Т. 14. С. 529.

[21] Там же. С. 543–545. К сожалению, составленная М. Твердохлебом рукопись «Путник Московский» остается неразысканной.

[22] См.: СГГиД. Т. 2. № 107. С. 231–232; Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 44. Стб. 137–142; *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 265–267.

[23] См.: *Хорошкевич А. Л.* Царский титул Ивана IV и боярский «мятеж» 1553 года // Отечественная история. 1994. № 3. С. 23–42.

[24] См.: *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 9–29.

[25] ААЭ. Т. 2. № 224. С. 283. См. также: *Ульяновский В.* Смутное время… С. 183–210.

[26] О политических взаимоотношениях этих государств см.: *Флоря Б. Н.* Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в конце XVI — начале XVII в. // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М, 1998. С. 49–53.

[27] См.: Акты времени Лжедмитрия 1-го (1603–1606) // ЧОИДР. 1918. Кн. 1; *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 116–150.

[28] Акты времени междуцарствия (1610 г. 17 июля — 1613 г.) /

Под ред. С. К. Богоявленского и И. С. Рябинина. М., 1915. С. 188.

[29] См. подробнее: *Орленко С. П.* Выходцы из Западной Европы в России XVII в. (Правовой статус и реальное положение). М., 2004; *Опарина Т. А.* Иноземцы в России XVI–XVII вв. М., 2007. Кн. 1.

[30] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 182.

[31] Старина и новизна. Т. 14. С. 531.

[32] Записки Станислава Немоевского… С. 118; *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 182–183.

[33] См.: *Соловьев С. М.* История России… С. 316–317.

[34] *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 151–154.

[35] *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 147.

[36] Записки Станислава Немоевского… С. 118.

[37] *Любавский М. К.* Литовский канцлер Лев Сапега… С. 4.

[38] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 101–102.

[39] Там же. С. 120.

[40] *Воскобойник Н. И.* Английский источник о правлении и гибели Лжедмитрия // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1991. С. 56.

[41] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 184.

[42] РИБ. Т. 1. Стб. 399–402.

[43] Сборник РИО. Т. 137. С. 232–233.

[44] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 168.

[45] *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 51–53.

[46] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 168.

[47] *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 53–54. См.: *Бабулин И.* Драбанты Лжедмитрия I // Рейтар. № 9 (6/2004). http://reitar-military.ru/mag.php?clause=140.

[48] РИБ. Т. 13. Стб. 78–79; Новый летописец… С. 68.

[49] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 167, 253.

[50] См. подробнее: *Эскин Ю. М.* Опыт жизнеописания боярина князя Козьмы-Дмитрия Михайловича Пожарского // День народного единства. Биография праздника. М., 2009. С. 130–133.

[51] По подсчетам В. И. Ульяновского, в Думе Лжедмитрия I было 43 боярина, из них только 18 «старых» бояр, имевших эти чины и раньше. Общая численность Боярской думы вместе с окольничими, думными дворянами и дьяками составляла примерно 70 человек. А. П. Павлов приводит сведения о 20 членах Боярской думы в конце правления Бориса Годунова, общее число лиц, имевших думские чины к июню 1605 г., составляло 38 человек. См.: *Павлов А. П.* Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове… С. 65–66; *Ульяновский В. И.* Российские самозванцы… С. 49–53; Правящая элита Русского государства IX

— начала XVIII в. (Очерки истории). СПб., 2006. С. 242–243, 310–311.

[52] См.: *Ульяновский В. И.* Православная церковь и Лжедмитрий I. С. 38–42.

[53] Источники по социально-экономической истории России XVI–XVIII вв. Из архива Московского Новодевичьего монастыря… С. 90; *Ульяновский В. И.* Православная церковь и Лжедмитрий I… С. 46.

[54] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 98–99.

[55] *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 116–150.

[56] См.: *Седов П. В.* Поместные и денежные оклады как источник по истории дворянства в Смуту // Архив русской истории. М., 1993. Вып. 3. С. 228–229; *Козляков В. Н.* Десятни служилых «городов» второй половины XVI — начала XVII века как исторический источник // Источниковедение: поиски и находки. Сборник научных трудов. Вып. 1. Воронеж, 2000. С. 42–45.

[57] *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время… С. 6.

[58] *Попов А.* Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 329.

[59] Сборник РИО. Т. 137. С. 233.

[60] *Панеях В. М.* Холопство в XVI — начале XVII века. Л., 1975. С. 196.

[61] Законодательные акты Русского государства… № 54. С. 73; № 55. С. 73–74.

[62] Иное сказание… Стб. 55–56.

[63] *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 55–56.

[64] СГГиД. Т. 2. № 131. С. 281.

[65] Записки Станислава Немоевского… С. 39.

[66] *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 53; *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 105; Новый летописец… С. 68; *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 121–124, 134–137. М. Ю. Зенченко признает, что Лжедмитрий вел военные приготовления весной 1606 г., но оспаривает «намерение Лжедмитрия отправиться с собранными войсками под Елец». См.: *Зенченко М. Ю.* Южное российское порубежье… С. 132–136.

[67] Иное сказание… Стб. 77–78.

[68] *Скрынников Р. Г.* Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. С. 157.

[69] Сборник РИО. Т. 137. С. 185–191.

[70] Там же. С. 190.

[71] Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России… С. 92–93.

[72] См.: Посольская книга по связям России с Англией 1614–

1617 гг. / Сост. Д. В. Лисейцев. М., 2006. С. 10–11.

[73] Акты исторические. Т. 2. № 56. С. 70.

[74] Краковский музей князей Чарторыжских. № 2101. Л. 1 об. — 2 об.; РИБ. Т. 1. Стб. 402–409; Сборник РИО. Т. 137. С. 215–220.

[75] РИБ.Т 1.С. 405–406.

[76] Краковский музей князей Чарторыжских. № 2101. Л. 7–10 об.; РИБ. Т. 1. Стб. 42–50; Сборник РИО. Т. 137. С. 750–754.

[77] СГГиД. Т. 2. № 105. С. 228–229.

[78] См. подробнее: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 284–290; *Козляков В. Н.* Марина Мнишек… С. 46–75.

[79] См.: РИБ. Т. 1. Стб. 72–76; Дневник Марины Мнишек… С. 31–32.

[80] РИБ. Т. 1. Ст. 51–72.

[81] СГГиД. Т. 2. № 110. С. 237–238.

[82] Дневник Марины Мнишек… С. 33.

[83] Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России… С. 108–109.

[84] См.: *Станиславский А. Л.* Труды по истории государева двора в России… С. 136–137.

[85] Сборник РИО. Т. 137. С. 229–232.

[86] Записки гетмана Жолкевского… С. 10. Иван Безобразов приехал в Краков 4 (14) января и уехал обратно, получив королевский ответ, 12 (22) января 1606 г., см.: Дневник Марины Мнишек… С. 34.

[87] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 168.

[88] *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 286.

[89] Новый летописец… С. 68; Разрядная книга 1475–1605. Т. 4. Ч. 2. С. 101–102; *Ульяновский В. И.* Россия в начале Смуты… Ч. 1. С. 284–288.

[90] Дневник Марины Мнишек… С. 36–37.

[91] См.: *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время… С. 8; Дневник Марины Мнишек… С. 37–39; *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 105–107. См. подробнее: *Козляков В. Н.* Марина Мнишек… С. 75–82.

[92] Дневник Марины Мнишек… С. 40–41.

[93] В записках Станислава Немоевского сохранилась «Речь к светлейшему Божьей милостью цесарю московскому всея Руси самодержцу, Димитрию Ивановичу, от имени ясновельможного его милости господина Юрия Мнишка, сендомирского воеводы, львовского, самборского, меденицкого и пр. и пр. старосты, по случаю проводов дочери его милости, а его величеству цесарю высоконареченной супруги, писанная в столичном городе Москве, 12 мая 1606 года». Последняя дата, видимо, просто указывает

день приезда Марины Мнишек в Москву, когда не было никакого приема в Кремле. Воевода Юрий Мнишек говорил свою речь царю Дмитрию только однажды, в следующий раз от имени Марины говорил гофмейстер ее двора Мартин Стадницкий. См.: Записки Станислава Немоевского… С. 34–37.

[94] Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego (Samozwańca), z okazyi jego zaślubin z Maryną Mniszchówna / Opracował i wstępem poprzedził Janusz Byliński. Wrocław, 2002.

[95] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 181; *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 57–58; Дневник Марины Мнишек… С. 46; Записки Станислава Немоевского… С. 31–34; *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 107–110; Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego… S. 30–32.

[96] *Воскобойник Н. И.* Английский источник о правлении и гибели Лжедмитрия. С. 58.

[97] Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 44. С. 167.

[98] Дневник Марины Мнишек… С. 46–47. См. также: История Димитрия, царя московского и Марины Мнишек, дочери сандомирского воеводы, царицы московской // Русский архив. 1906. № 5. С. 129–174; № 6. С. 177–222.

[99] Сборник РИО. Т. 137. С. 155.

[100] *Воскобойник Н. И.* Английский источник о правлении и гибели Лжедмитрия… С. 59.

[101] РИБ. Т. 1. Стб. 412; Дневник Марины Мнишек… С. 46–52; Записки Станислава Немоевского… С. 41–54; Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego… S. 32–41. В Национальной галерее в Будапеште сохранилась современная картина, изображающая этот прием послов Н. Олесницкого и А. Госевского, ее копия в 1876 г. была заказана для Исторического музея в Москве. См.: *Лаврентьев А. В.* Царевич — царь — цесарь… С. 156–158; *Ульяновский В. И.* Смутное время… С. 224–225 (цв. вклейка).

[102] См. подробнее: *Козляков В. Н.* Марина Мнишек… С. 88–98; *Ульяновский В. И.* Смутное время… С. 231–270 (глава 7).

[103] См. «Чин венчания» Марины Мнишек 8 (18) мая 1606 г.: «<…> а итти государыне и <…> избу к обрученью наперед <…> а перед государынею итти дружкам, а за ними протопопу с святою водою, да со крестом, в патрахели и в поручах саженых, а за государынею итти свахам всем и боярыням сидячим; а вести государыню под ручку воеводе, отцу ее, да княж Федорове княгине Ивановича Мстиславского. И пришед в столовую избу, протопопу благословить государыню на место крестом; а как изготовитца все, и итти к государю сказати про то дружке, бояром князю Дмитрею Ивановичю, да Григорью Федоровичю, да

рождественскому протопопу. И государь пойдет из хором в столовую ж избу, а перед государем итти поезду и дружкам всем да протопопу с святою водою и со крестом; а пришед, протопопу говорити „Достойно есть“ и благословить государя и государыню крестом; да говорит протопоп молитвы обручальные по чину, а дружки в те поры режут караваи и сыры и подносят ширинки. А как обрученье отойдет, и государю и государыне итти в Грановитую полату постелным крылцом; а путь слати сукна и бархаты из столовые избы от царского места до Грановитые полаты до царского места и до Пречистой, и в Пречистой вдвое. А в столовой у обрученья быти одному воеводе Сендомирскому да тем, которые в поезду; а воеводиным приятелем и литовским послом всем дожидатись государева выходу в Золотой полате, послати полавочники бархатные.

И как государыня придет в Грановитую полату к цесарскому престолу, и сядет государь; и в те поры, пришед к государыне, говорити речь тысетцкому боярину князю Василью Ивановичу: „А наяснейшая и великая государыня цесарева и великая княгиня Марья Юрьевная всеа Русии! Божьим праведным судом и за изволеньем наяснейшего и непобедимого самодержца великого государя Дмитрея Ивановича, Божьею милостию, цесаря и великого князя всеа Русии и многих государств государя и обладателя, его цесарское величество изволил вас наяснейшую великую государыню взяти себе в цесареву, а нам в <…> и, Божьею милостию, обручанье ваше цесарское ныне свершилось; и вам бы наяснейшей и великой государыне нашей, по Божьей милости и по изволению великого государя нашего, его цесарского величества, вступити на свой цесарский маестат и быти с ним, великим государем, на своих преславных государствах“.

А изговоря, протопопу благословить крестом на место; и как государыня сядет на своем цесарском месте, и в те поры велит государь итти литовским послом и воеводиным приятелем, по списку; взяти список у воеводы. А явить литовских послов Офонасью; и государь пожалует велит литовским послом сести по-прежнему, а воеводе сидети на старом месте, а бояром и околничим и дворяном всем сидети по местом, а поезду стоять.

А патриарху б со всем собором притти в церковь на третьем часу и пети молебны; а в навечерье того дни велети в соборной церкве, и по монастырем, и по всем церквам пети всенощное и празновати Троице. А чин в соборной церкве устроите: поставити серед церкви налой с поволокою, где стояти царскому чину, а поволока прежняя; да устроите чертожное место, зделати новое пошире старово, а у него 12 степеней, обалочи багрецом; да

поставити государю престол персицкой золот с каменьем, да колодка золотная, а с правую сторону поставить стул патриарху, а с левые государыне цесареве поставити стул болшой золотой, да колодочка золотная бархатна, или камчата. А от чертожного места слати сукна ж багрецовые и бархаты государю и государыне з золотом, а патриарху бархат черн; и поставити от чертожного места по обе стороны скамьи, где сидети властем; а послати полавочники государевы 2 на ряд с плетенки. А устраивати околничему Ивану Федоровичу Колычеву да думному дворянину Григорью Микулину, а с ними земским приказным людем и дьяком.

А как в соборной церкве уготоваетца, и государь пошлет на казенной двор по царский чин; а итти постелничему Семену Шапкину, да стряпчему князю Луке Львову, да протопопа Федора, да дву дьяконов благовещенских. И как царский чин принесут, и государь цесарь и великий князь цесарский чин велит приняти конюшему Михаилу Федоровичу Нагово и поднести к себе, и прикладываетца к животворящему кресту и целует коруну; а духовник говорит: „Достойно есть“. Потом пошлет с Михаилом же тот царский чин к государыне цесареве, и государыня сступит с своего места, ступени с три, и прикладываетца ко кресту и целует коруну, и, приложась, велит государь приняти крест, и коруну, и диадиму протопопу Федору и нести на главе, покрыв пеленою, ко Пречистой Богородице; и отпустите их в соборную церковь ко Пречистой Богородице з боярином с Михаилом Федоровичем, а блюдо нести диаку Федору Янову. А в то время, как несут, звонити во все колокола; и встретит чин царский патриарх у дверей, вышед ис церкви со всем собором, а принять у протопопа царский сан митрополитом Ноугородцкому да Ростовскому, и поднесут к патриарху, а патриарх поставит на налое. А проводя, боярин Михаиле Федорович пойдет ко государю и скажет, что уготовано. А в церкви у царского сану и у места оставите околничего Ивана Колычева, да думного дворянина Григорья Микулина, да диака Федора Янова.

И государь цесарь и великий князь Дмитрей Иванович всеа Русии, и государыня цесарева, и великая княгиня Марья Юрьевна всеа Русии пойдут в соборную церковь вместе, по ряду; а вести государя под правую руку воеводе Сендомирскому, а государыню вести под левую руку Мстиславской княгине. А перед государем итти столником и стряпчим, да Воеводиным приятелем и послом, а за ними поезд; а за поездом нести скифетр князю Василью Васильевичю Голицыну, яблоко нести Петру Федоровичу Басманову; а досталным бояром, и думным людем, и дворяном, и приказным людем и приятелем воеводиным итти за государем. А

протопоп Федор, отнесчи коруну, сняв с себя ризы, в патрахели идет ко Пречистой, перед государем и перед государыней кропит. А на крыльце, для береженья, быти головам стрелетцким двем человеком; а по пути уставливати народы: по праву от Грановитые полаты головы два человека, а с ними 10 человек сотников, да 200 человек стрелцов; а по леву от судных полат головы ж 2 человека, а с ними 10 человек сотников, да 100 человек стрелцов; а рыцарем и дробантам своими капитаны стоять по чину по обе стороны, да с ними стрелцы Посников приказ Огарева.

А как войдет государь и государыня в церковь, и пети многолетье государю, а государь прикладываетца к образом к Пречистой Богородице к чюдотворному образу да к чюдотворцам к Петру и к Ионе; а государыне итти за государем, а вести под руку воеводе да княж Федорове княгине Мстиславского, да перед нею ж итти дружкам, а позади итти свахам, а у образов и у чюдотворцов, где государыне прикладыватца, приступцы сделати колодочки, смотря по местом. А в церкве в те поры уставливают народы околничие да столники. А патриарх от себя пошлет архимарита, да игумена, да ключарей; и как государь и государыня, прикладывайся у образов, придет к патриаршу месту, и патриарх со всеми властми поклонитца государю и государыне, и благословит государя и государыню, и возведет государя и государыню на чертежное место; а вести государя под правую руку патриарху, а государыню под левую руку митрополиту Ноугородцкому. А власти сядут по скамьям, а бояре станут за государем у столпа по правую сторону, а по левую сторону стоять боярынем; а стоять у патриарха архидиякону да протодиакону, по правую сторону за государем, а боярынем по левую сторону у государыни, пониже чертожного места.

И, посидев, государю говорити речь патриарху; и патриарх благословит государя и государыню и говорит государю речь. И после речи велит патриарх 2 архимаритом Троетцкому да Володимерскому, да игумену Пахнутьевскому да Осифскому принести животворящей крест на другом, на златом блюде; а у них примут 2 архиепископа Смоленской да Резанской и поднесут к патриарху, и патриарх, поцеловав, благословит и положит на государыню цесареву; и архидиакон начнет малую октенью, и по октенье государыня преклонит главу, и патриарх возложит на верх главы государыни руку, и говорит молитву во услышание всем. И по молитве пошлет патриарх архимарита Володимерского да Спаского, да игуменов 2 Борисоглебского <…> да Угрешского, по барму, по диадиму; а у архимаритов приимати митрополит Крутитцкой, да архиепископ Суздалской, и принесут

к патриарху, и патриарх, приняв, целует и знамянует ими государыню цесареву, и государыня их целует; и патриарх возложит на государыню, и благословит крестом, и говорит молитву. И по молитве пошлет патриарх по царскую коруну архиепископов двух, архангелского, астраханского, да архимаритов двух, Симоновского да Ондрониковского; а у них примут митрополиты Ноугородцкой да Ростовской, и принесут к патриарху; и патриарх, прекрестив рукою, благословит государыню крестом и положит на нее. А свахам перед тем, как принесут коруну, сняти венец, в котором будет государыня; а в то время позакрыти покровцы низаными. И потом митрополиты, и архиепископы и епископы, вшед на место, благословляют государя и государыню. И после того государь, приняв государыню за десную руку, посадит и сам сядет; и, посидев мало, цесарь и цесарева и патриарх встанут, а архидиакон начнет октенью болшую; и по октеньи патриарх говорит молитву Пречистей. И по молитве цесарь и цесарева, и патриарх и власти сядут на своих местех, и архидиякон кличет на амбоне многолетье государю и государыне цесареве, и священники в олтаре поют многолетье по трижды. И по многолетье патриарх, встав со всеми властми, поздравляют государя и государыню; а после того здоровают государю и государыне бояре, и дворяне, и всякие люди.

А после совершения молебна, государь и государыня и патриарх сойдет с чертожного места и начнет обедню; а государь цесарь станет на своем цесарском месте, а государыня пойдет в придел Дмитрея Селунского, а с нею свахи и боярыни немногие, кому государь укажет. А после херувимской, как осеняют свещею, положит патриарх на государыню чепь злату Манамахову, а государю итти с государынею вместе. А как учнут лети кенаники, и в те поры постелничему Семену Шапкину послати перед царскими дверми ковер, а на верх ковра бархат золотной; а архидиакон и протодиакон зовут государыню цесареву на помазание и к причастию, и государыня пойдет к причастию, а государь пойдет с нею ж. И после совершения обедни, туго же, перед царскими дверми, быти венчанью, а венчати протопопу Федору, а патриарху и властем стояти на своем месте. А у государя и у государыни стоять тысятцкому, и дружкам, и свахам, а бояром и думным людем стояти за царским местом, а народ в те поры из церкви выслати; а с вином церковным стоять и наряжать Офонасей Александрович Нагово, а у государыни свахе, Ондрееве жене Александровича. А осыпати государя цесаря и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии боярину князю Федору Ивановичу Мстиславского, у Пречистые на рундуке, как пойдет из

дверей; а миса держати казначею Василью Головину, а золотые и денги носить казенному диаку Меншому Булгакову. А пути все слати сукны багрецы, а на них бархаты; а слать казначею Василью Петровичу Головину да казенным 3 диаком.

А как из дверей пойдет, и в дверех осыпати трижды, и итти к Грановитой полате в столовую избу, и у Грановитой полаты и у столовой осыпать везде по трижды; а литовских послов отпустить от Пречистые.

А пришед государь в столовую избу, посидит немного за столом до третьей естьы, а естьы подать приказные, а пойдет государь в свои хоромы; а поезду провожать до постелных хором, а воеводе Сендомирскому и тысятцкому до постели. А за столом быти воеводе, и приятелем ево, и бояром немногим. А болшого стола на первый день не будет, а быть болшим столом в Грановитой полате по три дни; сидеть воеводе, и послом, и приятелем воевотцким в кривом столе, а против их; и потчивать боярин Петр Федорович Басманов, да околничей князь Григорей Ромодановской, да думной дворянин Григорей Микулин, да приставы. А слугам воеводцким, и посолским, и жолнырем лутчим, выбрав человек до полутораста, посадити в Золотой полате; а потчивать их думным дворяном Иван да Таврило Пушкины, да дьяк Олексей Шапилов. А мусике на первый день не быть, а быть в Грановитой полате за болшим столом». См.: СГГиД. Ч. 2. № 138. С. 289–293.

[104] Интересный разбор конфессиональных затруднений в «браковенчании» Марины Мнишек содержится в исследованиях А. В. Карташова и Б. А. Успенского: *Карташов А. В.* Очерки по истории русской церкви. Т. 2. Репринт, воспроизв. М., 1991. С. 60–62; *Успенский Б. А.* Свадьба Лжедмитрия… С. 197–228. См. также: *Аронова А. А.* Свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек: европейский церемониальный спектакль на российской сцене // Пинакотека. 2005. № 20–21. С. 6–17.

[105] См.: Записки Станислава Немоевского… С. 56–60.

[106] Дневник Марины Мнишек… С. 53.

[107] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 182–183. См. также: *Пирлинг П.* Димитрий Самозванец… С. 350–352.

[108] *Успенский Б. А.* Свадьба Лжедмитрия… С. 209–215.

[109] *Петрей Петр.* История о Великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 304.

[110] *Воскобойник Я. Я.* Английский источник о правлении и гибели Лжедмитрия… С. 68.

[111] *Белокуров С. А.* Разрядные записи за Смутное время… С. 8.

[112] См.: Дневник Марины Мнишек… С. 53–55; Poselstwo od

Zygmunta III, krôla polskiego… S. 68.

[113] Записки Станислава Немоевского… С. 75.

[114] *Воскобойник Я. Я.* Английский источник о правлении и гибели Лжедмитрия… С. 56.

[115] Сб. РИО. Т. 137. С. 235.

[116] *Ульяновский В. Я.* Россия в начале Смуты… Ч. 2. С. 42–49.

[117] *Петрей Петр.* История о Великом княжестве Московском… С. 305.

[118] Записки Станислава Немоевского… С. 64–65.

[119] Дневник Марины Мнишек… С. 55.

[120] Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 44. С. 171–172.

[121] Новый летописец… С. 69.

[122] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 183; *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 62–66; Дневник Марины Мнишек… С. 55–56; Записки гетмана Жолкевского… Приложение № 44. С. 166–178; Записки Станислава Немоевского… С. 76–98; *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 115–117; Новый летописец… С. 68–69; *Петрей Петр.* История о великом княжестве московском… С. 309–312; РИБ. Т. 1. Стб. 419–426; Т. 13. Стб. 58–59, 825–829; Россия начала XVII века. Записки капитана Маржерета… С. 201–202; Poselstwo od Zygmunta III, krôla polskiego… S. 68–71.

[123] См.: Дневник Марины Мнишек… С. 56–60; Записки Станислава Немоевского… С. 81–97.

[124] *Масса Исаак.* Краткое известие о Московии… С. 122.

[125] По сведениям других авторов, холода наступили после похорон самозванца. См.: *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 172.

[126] *Арсений Елассонский.* Мемуары из русской истории… С. 183.

[127] См.: *Тюменцев Я. О.* Русские самозванцы 1606–1607 годов и народная религиозность // Средневековое православие от прихода до патриархата. Сб. научн. статей. Волгоград, 1998. Вып. 2. С. 225–226; *Булычев А. А.* Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005. С. 43–44.

Эпилог. Превращение в «Ростригу»

[1] *Сторожев В. Н.* Материалы для истории русского дворянства // ЧОИДР. 1909. Кн. 3. Отд. 1.

[2] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 632.

[3] *Маржерет Жак.* Состояние Российской империи… С. 173.

[4] *Буссов Конрад.* Московская хроника… С. 76.

[5] Повесть князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского // РИБ. Т. 13. Стб. 621–622.

[6] *Пирлинг П.* Россия и папский престол… С. 629–630.

[7] См.: *Кобрин В. Б.* Смутное время — утраченные возможности… С. 629.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЛЖЕДМИТРИЯ I — «ЦАРЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА»

Основные даты жизни царевича Дмитрия

1582, 19 октября — рождение царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и Марии Нагой.

1584, 18 марта — смерть Ивана Грозного, отправка царевича Дмитрия, его матери и родственников Нагих «на удел» в Углич.

1591, 15 мая — смерть царевича Дмитрия в Угличе.

Основные даты жизни и царствования Лжедмитрия — Григория Отрепьева

До 1595–1596 — дворянский недоросль в семье стрелецкого сотника Богдана Отрепьева; мог жить в Галиче или Угличе, где располагались земельные владения Отрепьевых.

После 1596 — жил в суздальских монастырях; возможно, был пострижен в монахи вятским игуменом Трифоном.

Ок. 1601–1602 — оказался в Чудовом монастыре; рукоположен в дьяконы, переписывал рукописи, служил у патриарха Иова.

1602, 24 февраля — уход Лжедмитрия I из Москвы вместе с Варлаамом Яцким и Мисаилом Повадиным, пребывание в новгород-северском Спасском монастыре.

19 апреля — уход из Новгорода-Северского в Речь Посполитую.

Май — пребывание в Киево-Печерском монастыре.

Лето — пребывание в Острожском Дерманском монастыре.

1602, осень — 1603, весна (до Пасхи) — жизнь в Гоще.

1603, лето — в Брагине, открыл свою историю князю Адаму Вишневецкому.

Лето — начало осени — знакомство с князем Константином Вишневецким и воеводой Юрием Мнишком.

Октябрь — донесение князя Адама Вишневецкого о московском «господарчике» королю Сигизмунду III.

8 ноября — донесение нунция Клавдия Рангони в Ватикан о «человеке из народа Московского», называвшем себя сыном Ивана

Грозного.

Зима — пребывание у князя Константина Вишневецкого и Юрия Мнишка.

1604, начало марта — приезд в Краков.

15 марта — тайная аудиенция у короля Сигизмунда III.

17 апреля — тайное принятие католической веры.

24 апреля — письмо Лжедмитрия римскому папе Клименту VIII, прием у нунция Клавдия Рангони, отъезд из Кракова.

25 апреля — письмо канцлеру Яну Замойскому.

25 мая — заключение договора с сандомирским воеводой Юрием Мнишком о возмещении расходов по организации похода в Московское государство и женитьбе на его дочери Марине Мнишек по достижении царского трона.

Лето — сбор войска для похода в Московское государство.

15 августа — первый смотр набранного войска, выступление из Самбора.

7 сентября — генеральный смотр войска в Глинянах. *17–19 октября* — пребывание в Киеве.

13 (23) октября — переправа через Днепр под Киевом.

Осень — сбор русского войска в поход против Лжедмитрия.

18 октября — переход на сторону «царевича Дмитрия» Монастыревского острога.

25 октября — переход на сторону «царевича Дмитрия» Чернигова.

11 ноября — начало осады Новгорода-Северского.

20 декабря — бой с армией боярина князя Ф. И. Мстиславского под Новгородом-Северским.

1605, 1 января — мятеж в лагере Лжедмитрия I, уход части войска в Речь Посполитую.

21 января — поражение в битве при Добрыничах, бегство в Птивль.

Февраль — апрель — расправа царского войска с Комарицкой волостью, неудачная осада Кром воеводами царя Бориса.

14 апреля — смерть царя Бориса Годунова.

14 апреля — 1 июня — царствование Федора Борисовича Годунова.

Май — переход войска под командованием князя В. В. Голицына под Кромами на сторону самозваного царевича Дмитрия.

Середина мая — поход Лжедмитрия I из Путивля на Кромы, Орел, Тулу и Серпухов.

1 июня — приезд с письмами от царевича Дмитрия Г. Г. Пушкина и Н. М. Плещеева. Восстание в Москве.

10 июня — смерть жены и сына Бориса Годунова.

20 июня — вступление в столицу войска Лжедмитрия I.

Конец июня — дело об «измене» Шуйских.

Июль — приезд в Москву старицы Марфы Нагой — матери царевича Дмитрия.

21 июля — венчание на царство царя Дмитрия Ивановича.

Ноябрь — посольство Афанасия Власьева в Речь Посполитую.

22 ноября — заключение брака *per procura* с Мариной Мнишек в Кракове.

1606, 1 февраля — приговор о беглых крестьянах и холопах.

Март — стрелецкий заговор.

2 мая — торжественный въезд в Москву Марины Мнишек.

3 мая — прием в Москве послов Речи Посполитой Николая Олесницкого и Александра Госевского.

8 мая — коронация Марины Мнишек.

17 мая — восстание в Москве, убийство Лжедмитрия I.

Иллюстрации

Лжедмитрий I. *Копия с портрета неизвестного художника. 1605.*

Царевич Димитрий. *Икона. XVII в.*

Нательный крестик царевича Дмитрия.

Частица мощей царевича Дмитрия и орешки, которыми он тешился в момент убийства.

Дворец царевича Дмитрия в Угличе.

Димитрий — царевич убиенный. *М. В. Нестеров. 1899.*

Убиение царевича Дмитрия. *Миниатюра из рукописного Жития. XIX в.*

Ссыльный набатный колокол Углича.

Слюдяной фонарь из Углича, *Начало XVII в.*

Горожане побивают убийц царевича Дмитрия камнями. *Миниатюра из рукописного Жития.*

Царь и великий князь Борис Федорович Годунов. *Портрет из «Титулярника» 1672 г.*

Патриарх Иов. *Портрет из «Титулярника» 1672 г.*

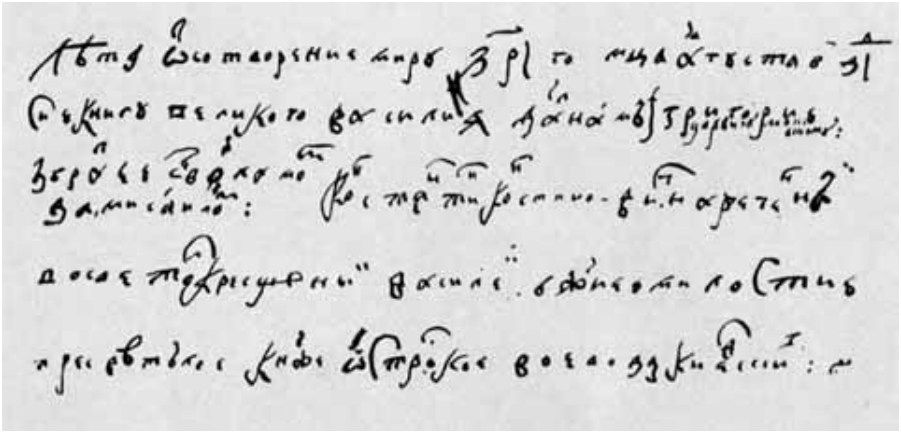
Чудов монастырь. *Фото конца XIX в.*

Благовещенский собор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.

Дмитрий-самозванец. *Н. В. Неврев.*

Спасо-Кукоцкий монастырь близ Суздаля.

На крестце в Китай-городе. *А. М. Васнецов. 1902.*



Запись на книге «О постничестве» святого Василия Великого. *14 августа 1602 г. Автограф самозванца (?).*

Григорий Отрепьев читает царский указ в корчме. *Гравюра М. Рашевского с рисунка А. Земцова.*

Киевский Печерский монастырь в XVII веке, *Гравюра Л. Тарасевича к изданию Киева-Печерского патерика, 1102.*

Юрий Мнишек. *Гравюра Л. Килиана.*

Замковая башня в Заложцах. *XV в.*

Канцлер Ян Замойский.

Князь Василий-Константин Острожский.

Замок князей Острожских в Остроге.

Король Сигизмунд III Ваза.

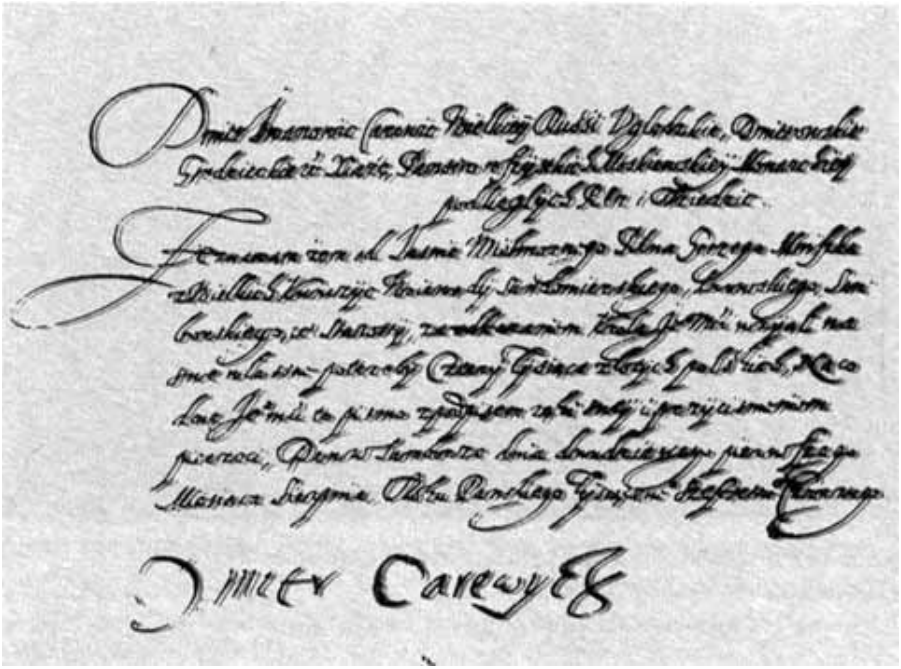
Дукат короля Сигизмунда III. *Лицевая и оборотная стороны.*

Краков. *Гравюра. Около 1600 г.*

Марина Мнишек.

Папа Климент VIII.

Папа Павел V.



Расписка Лжедмитрия на имя воеводы Юрия Мнишка о получении четырех тысяч злотых. *21 августа 1604 г. Ныне утеряна.*

Король Сигизмунд признает Лжедмитрия царевичем. *Гравюра с картины И. В. Неврева.*

Лжедмитрий I. *Портрет из Вишневецкаго замка. Неизвестный польский художник. 1604.*

Подпись и печать на ассекурации царевича Дмитрия воеводе Юрию Мнишку. *21 мая 1604 г.*

Царь Федор Борисович Годунов. *Миниатюра из рукописи XVII в.*

Григорий Отрепьев, *Миниатюра из рукописи XVII в. Лицо самозванца кем-то тщательно стерто.*

Русская боярская конница. *Гравюра 40-х гг. XVI в.*

Кресло Лжедмитрия I из Путивля.

Путивль. Изображение Христа, якобы оставшееся в городе со времен Лжедмитрия.

Польские гусары. 1605—*1606 гг. Фрагмент.*

Марина Мнишек. *Портрет из Вишневецкого замка. Неизвестный польский художник. 1604.*

Свадебная медаль Лжедмитрия I, выпущенная к церемонии венчания в Кракове. *1605.*

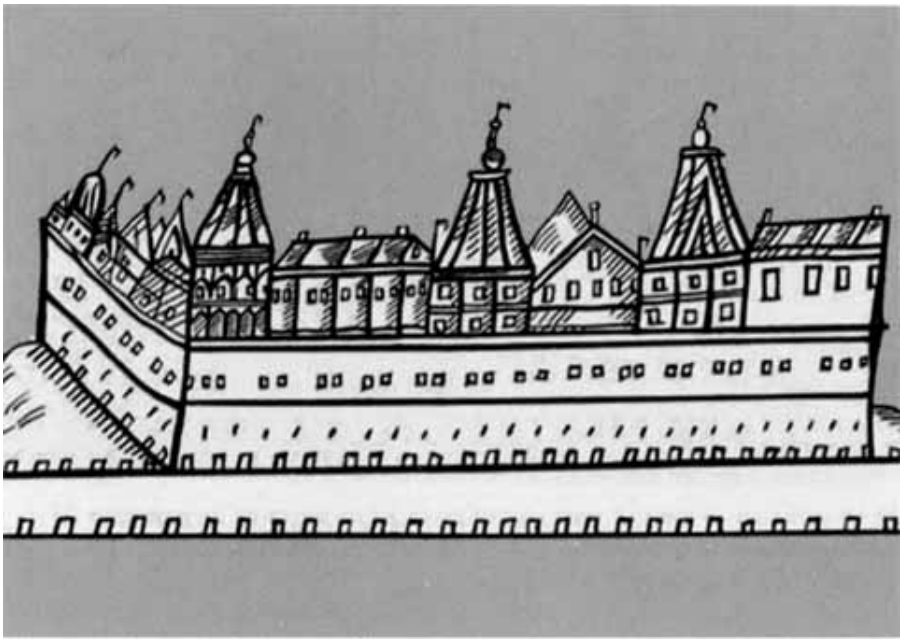
Думный дьяк Афанасий Власьев.

Венчание *per procura* Марины Мнишек в Кракове. *Картина из Вишневецкого замка.*

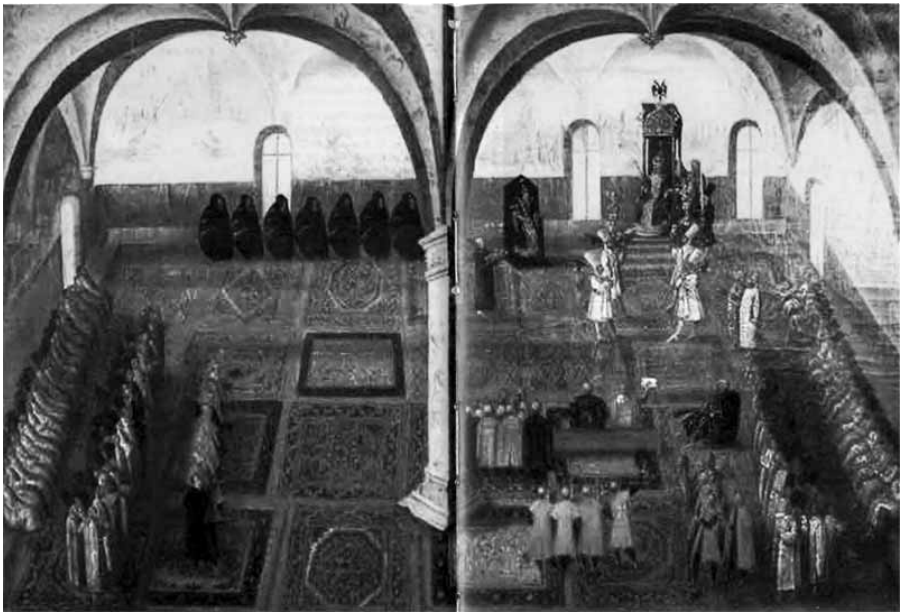
Патриарх Игнатии. *Портрет из «Титулярника» 1672 г.*

Малая («кормленная») печать Лжедмитрия I.

Димитрий, великий князь Московский. *Гравированный портрет 1606 г., сильно напоминающий портрет царя Федора Ивановича работы болонского мастера Франко, Дмитрий изображен с длинными усами, которых никогда не носил.*



Дворец Лжедмитрия в Москве. *Рисунок из книги Исаака Массы.*



Прием Лжедмитрием I посольства польского короля Сигизмунда III в Грановитой палате Московского Кремля 13 мая 1606 года. *Копия XIX в. с оригинала 1600-х гг.*

Свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек и венчание Марины Мнишек в Кремле. Шествие из царского дворца в Успенский собор. *Картина из Вишневецкого замка. Фрагмент.*

Венчание Марины Мнишек в Успенском соборе, *Картина из Вишневецкого замка. Фрагмент.*

Медаль с изображением Лжедмитрия I. *Москва, весна 1606 г.*

Лжедмитрий I. *Гравюра на меди. 1606.*

Копейка царя и великого князя Дмитрия Ивановича. *Лицевая и оборотная стороны.*

Царь Дмитрий Иванович, Марина Мнишек с сыном Иваном (родившимся от второго самозванца) и Юрий Мнишек (своего внука никогда не видевший). *Польская гравюра начала XIX в.*

Царь и великий князь Василий Иванович Шуйский. *Портрет из «Титулярника» 1672 г.*

Убийство Лжедмитрия. Царица Марфа обличает самозванца. *Литография по эскизам В. Бабушкина. Середина XIX в.*

Ночной совет в доме Шуйского 17 мая 1606 года. *Гравюра Флюгеля по рисунку А. Земцова. 1887.*

Последние минуты Дмитрия Самозванца. *К. Вениг. 1879.*

notes

Сноски

1

«Посошную рать» составляли крестьяне, монастырские служки и другие «охочие» люди, которых набирали во время войны с уездов по земельной раскладке. Название происходит от «сохи» — единицы земельного кадастра и налогообложения.

2

Канцлер говорил об этом в своей речи на сейме 1611 года: «Этот человек сначала занимался игрою в кости и другими излишествами, но потом, кажется, более с отчаяния, нежели вследствие набожности, сделался монахом и служил дьяконом у первого патриарха Московского Иова».

3

Имя доктора — Симеон — встречается лишь в одном из известий, собранных историографом XVIII века В. Н. Татищевым.

4

Василий — крестильное имя, по которому к князю обращались как к православному человеку, а Константин — отцовское, этим вторым именем его звали согласно правилам польской ономастики.

5

Позднее, в 1608 году, польско-литовские дипломаты Ст. Витовский и князь Я. Соколинский на посольстве в Москве пытались показать, что в Речи Посполитой вообще не было ничего известно об отсылке такого гонца к воеводе Константину Острожскому. В своих речах они намекали, что Афанасий Пальчиков сам, подобно многим другим выходцам из Московского государства, приезжавшим в то время в Киев, задержался по своей воле, веря в подлинность Дмитрия. Однако известно, что Константин Острожский отвечал на послание патриарха Иова и прислал ему в «почесть» хрустальный крест. Афанасий Пальчиков за свою службу позднее заплатил жизнью. В 1606 году, когда Волхов был захвачен восставшими болотниковцами, они устроили показательную казнь и распяли Афанасия Пальчикова «к городовой стене», где тот «стоял прикован до вечерни», после чего был сброшен с башни и убит. Родственники еще в 1634 году хорошо помнили, как «Афанасья Пальчикова царь Барис пасылал в Литву Растригу абличать». Его сыну Гордею Афанасьевичу Пальчикову — одному из воевод, захвативших отряд Ивана Заруцкого с Мариной Мнишек и ее сыном в 1614 году, — суждено было завершить историю самозванства.

6

От польского *orszak* — свита, кортеж.

7

От *«жупа»* — административно-территориальная единица в славянских землях.

8

Камка — цветная шелковая ткань с узорами.

9

Кармазин — сукно темно-красного цвета.

10

В оригинале: «плакал, как бобр» (польское идиоматическое выражение).

11

Ермолка — маленькая круглая шапочка без околыша, плотно прилегавшая к голове.

Шлык — конический головной убор.

13

Магерка — щегольская венгерская шапка из бархата или сукна с приколотым к ней пером.